

ЗАРУБЕЖНЫЕ Za-Za ЗАДВОРКИ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
БУМАЖНЫЙ ЖУРНАЛ/«БУМЖУР»**

№ 9(39), сентябрь 2017

В НОМЕРЕ:

Редакторская страничка	2
Елена Крюкова. Побег. Книга судеб. Роман. Фрагмент	3
Иосиф Гальперин. В беспробудных лесах. Стихи	76
Борис Левит-Броун. ...Чего же боле? (из жизни счастливого человека)	80
Владимир Алейников. Еще недавно. Большой мадригал.	129
Леонид Нетребо. Одесса на сырдарьинском берегу. Рассказ	137
Олег Абрамов. По касательной. Рассказ	143
Георгий Нипан. Среди дождя. Несколько историй про Алису и Гену.	166
Олег Ващаев. Жили на Выборгской стороне... Стихи	177
Гари Забелин. Глен Гулд. Повесть	181
Надежда Малышкина. Ангел и другие	215
Евгений Жироухов. Тяжёлый рок – или "хоррор", по-английски говоря (типа, «святочный рассказ»)	223
Александра Юнко. Особое предложение. Богатый мальчик.	233
Лариса Петрашевич. В моем недетском доме. (Дневник Кати.)	247

Редакторская страничка

Дорогие читатели!

Нынешний, сентябрьский номер журнала является собой как бы сценическую площадку для бенефиса Елены Крюковой – наши постоянные читатели знают её как поэта, прозаика (романиста, преимущественно). И как рецензента – и сегодня Елена будет знакомить вас практически со всеми публикациями сентябрьского номера. Она отнюдь не единственный рецензент «Зарубежных задворок», но самый восторженный, влюбленный в литературу.

Сегодня вы станете первыми читателями фрагмента еще не изданного романа Крюковой, знакомить вас практически со всеми журнальными публикациями сентябрьского номера. Она отнюдь не единственный рецензент «Зарубежных задворок», но самый восторженный, влюбленный в литературу.

И еще о Крюковой: только что пришла новость с Международного конкурса им. Дюка де Ришелье (Одесса — Германия) о том, что книга Крюковой Беллона, о детях Второй мировой войны завоевала на этом конкурсе почетную награду» Серебряный Дюк» в номинации «Авторская книга». Книга эта была впервые опубликована в нашем журнале Za-Za (два фрагмента: «Дети и ангелы», № 6, декабрь 2013, и «Двойра», № 18, декабрь 2015) и стала лауреатом премии им. И. А. Гончарова и дипломантом премии им. И. А. Бунина, а также финалистом литературной премии им. А. М. Горького (Москва). И вот теперь — «Серебряный Дюк!» Поздравляем Елену, Za-Za Verlag и всех наших читателей с этой радостью!

Евгения Жмурко

Елена Крюкова. Побег. Книга судеб. Роман. Фрагмент



Прозаик, поэт. Член Союза писателей России. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган, Московская консерватория). Окончила Литинститут им. Горького, семинар А. В. Жигулина (поэзия).

Публикации: "Новый мир", "Знамя", "Дружба народов", "Нева", "Бельские просторы", "День и Ночь", Za-Za, "Сибирские огни", "Юность" и др.

Книги (стихи и проза) в том числе романы "Юродивая", "Царские врата", "Пистолет", "Тень стрелы", "Врата смерти", "Ярмарка", "Dia de los muertos", "Тибетское Евангелие", "Русский Париж", "Старые фотографии", "Беллона", "Рай", "Безумие", "Солдат и Царь", "Евразия".

Работает с издательствами Za-Za Verlag (Дюссельдорф), "ЭКСМО", "Время", "Нобельпресс", "ЛИТЕО" (Москва), Ridero (Екатеринбург).

Лауреат премий им. Цветаевой ("Зимний собор", 2010), Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 2012), журнала "Нева" за лучший

роман 2012 года ("Врата смерти", № 9 2012), журнала Za-Za Verlag (Дюссельдорф, Германия, 2012), региональной премии им. А. М. Горького ("Серафим", 2014). Пятого и Седьмого Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" ("Старые фотографии", 2014, "Солдат и Царь", 2016), имени И. А. Гончарова ("Беллона", 2015), имени А. И. Куприна ("Семья", 2016), Международной Южно-Уральской лит. премии ("Солдат и Царь", 2016). Дипломант литературной премии им. И. А. Буниня ("Поклонение Луне", "Беллона", 2015), и им. генералиссимуса А. В. Суворова ("Солдат и Царь", 2016).

Живет в Нижнем Новгороде. Муж — художник Владимир Фуфачев. Автор и куратор арт-проектов в России и за рубежом, искусствовед. Выступает с концертами-спектаклями в залах Нижнего Новгорода и других городов России (моноспектакли "Ксения", "Русский Париж", "Коммуналка", "Империя Ч", "Старые фотографии", "Страсти по Магдалине", "Реквием для отца", "Русское Евангелие").

Тысячи книг написаны о Владимире Ленине, и с тысяч разных ракурсов рассмотрена его личность. Герой, злодей, гений всех времен и народов, исчадие ада; провозвестник нового мира и первый фашист, «призрак коммунизма» и жестокая реальность XX века, безумец, прикинувшийся мудрецом, и мудрец, которого боялись, как безумца; обещание светлого будущего и родитель концлагерей.

Елена Крюкова отважилась заглянуть в жизнь Ленина с иной стороны — и даже не с одной — она увидела его многослойно: и как несчастного больного (человеческая ипостась), и как личность, не принадлежащую самой себе (ипостась почти античного Рока), и как символ-знак времени (ипостась мистическая). Архетип романа — в его названии. Побег вождя из уютной усадьбы (вспоминается побег Льва Толстого из Ясной Поляны); побег-росток, что проклонулся из царского прошлого в неведомое кровавое будущее страны; бежит из Горок Ленин вместе с машинисткой Надей Аллилуевой; бежит юноша Иван из советского лагеря — тот самый Иван, что веселился крестьянским мальчиком на елке в усадьбе в Горках; бежит Надя Аллилуева в смерть — от той жизни, что оказалась ей не по зубам: не по нутру. Побег России из старины в новизну оказался не по зубам ее народу. «Миллионы, миллионы — за убитого Царя...» — написал поэт-лагерник Александр Тришатов. Елена Крюкова заглядывает не только в жизнь, но и в смерть Ленина, и это изображение самого главного побега любого человека — из бытия в небытие — попытка художника увидеть невидимое раньше.

Евгения Жмурко

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Молодая Надя и больной Ленин благополучно уходят из усадьбы; охрана думает, они пошли гулять. — Мужик на подводе предлагает подвезти их в деревню Федюково. — Убитый дневник Крупской. — Stalin строго беседует в усадьбе с нервным доктором Авербахом. — Мужик Епифан мудро и спокойно смотрит из дверей на Сталина и доктора. — Мужик Епифан сообщает Сталину и Авербаху, что Ленин и молодая Надя ушли на прогулку.

Она не помнила, как им удалось миновать охрану.

Может, она что-то такое бодрое, веселое говорила охранникам; может быть, вождь тоже пытался что-то говорить, и у него получалось. Может, часовые смотрели на нее молча; а может, что-то отвечали ей. Она все забыла. Сразу и навсегда.

Да и не нужно было ничего помнить.

Люди помнят только самое хорошее и яркое.

Или самое ужасное.

Нет, нет, твердила она себе, когда они шли мимо охраны, ужасное-то как раз и не помнят, забывают, — и тут ей довелось чуть оглянуться, слегка повернуть голову, будто бы кокетливо, а на деле сторожко и подозрительно, — она хотела неуловимым быстрым взглядом схватить и понять, будут ли их преследовать, остановят ли их на полу шаге, поймают ли и силком повернут обратно, — и тут она увидела широко открытые глаза ближнего часового; светлые, слишком светлые, как белесое утреннее небо, широко стоящие глаза, и широкие скулы, и широкий большой рот: рот улыбался, да, этот молоденький часовой улыбался ей. А может, вождю. А может, им обоим вместе.

И ее толкнуло изнутри. Вернуться! куда они сорвались! куда бредут! назад! Эти крики раздавались внутри нее, она слышала их будто издали, из-под гигантской выгнутой арки прозрачного осеннего неба. Небо вытекало из-под арки холодной светлой рекой и текло им в лица, текло мимо них, и важно было идти вдоль этой реки, по ее уже кем-то большим и важным проторенному пути, не потерять из виду этот светлый поток. Но здесь же нигде нет такой большой реки! Здесь рядом только узенькая, похожая на кривой восточный нож Пахра. На кого похож этот скуластый молодой солдат? Не вспоминать! идти вперед!

У человека есть только два пути — вперед или назад.

А если один — ну, так ему тогда повезло.

Ленин тяжело переставлял ноги, подволакивал правую ногу, и все-таки оншел, и это был прогресс в излечении паралича, и мысли у Нади в голове толкли однодневной сумасшедшей мошкой, да, он выздоровеет, да, он вкусит свободы и вдохнет вольный холодный ветер, и это она вылечит его, хотя она не знает, куда она ведет его, но не думать об этом, ни в коем случае не думать, это слишком страшно, об этом люди, когда делают это, то, что делает сейчас она, никогда не думают.

Ленин смотрел на нее из-под шляпы живым, смышенным глазом. Это значит, она шла слева.

Фетровая мягкая шляпа, у нас в Стране Советов таких не делают, смутно думала она, значит, английская. Как ее свитер. А у нее шляпа тоже английская? Или германская? Почему все хорошее — на жирном сытом Западе? Разве у них до революции не было отличных шуб? Отличных мягких свитеров? Твидовых костюмов? Шикарных габардиновых плащей?

"О чём ты думаешь! О шике! Нашла о чём думать! Теперь!"

Между ее лопаток втыкался чужой взгляд. Он прожигал горящую дыру в ее позвоночнике. Она, таща тяжелого вождя на согнутой руке, в другой руке легко неся тяжелую сумку, пошевелила лопатками, пытаясь вспугнуть, прогнать со спины, как будто голой, неодетой, пророгшей на ветру, этот назойливый долгий взгляд, это горячее сургучное пятно, — но напрасно, оно все пылало, это чужое живое клеймо, у нее на спине, а они все шли, медленно и важно, будто и в самом деле прогуливаясь по свободному, еще помнившему эхо охотничьих выстрелов Ильича, прозрачному лесу, и лес отсвечивал перламутром берез и алостью осеннего лиственного ковра под их тяжелыми, неповоротливыми ногами, — как же трудно людям обманывать людей! как трудно уходить от места, где жил, и вот ты ушел, и значит, не живешь уже здесь! и как трудно сбросить, скинуть с себя прочь эту пылающую мету!

Надя замедлила шаг. Ее ноги стали преступно легкими, ей чудилось, она без труда приподнялась и плывет над землей. Ильич упрямо смотрел вперед. Он всегда смотрел вперед. Посмотреть назад значило посмотреть на смерть; а он не хотел туда смотреть, в это черное земляное лицо, в эти глаза, доверху налитые тусклой, сухой и вечной пустотой.

Он и шагал вперед, вцепившись в Надину руку, повиснув на ее руке тяжеленной живой гирей.

И не остановить его было. Ни ей. Никому другому во всем свете.

Но она все-таки оглянулась еще раз.

Она хотела узнать. Вспомнить.

А в это время, пока она оглядывалась и искала глазами эти серые, холодные глаза, боец взял да и прикурил: держал меж сложенных ладоней немощный огонь самокрутки. И втягивал щеки, наслаждаясь дымом, напрасно и смешно согреваясь им на широком светлом холоду.

Пыланье между ее лопаток исчезло. Оно переместилось в ладони бойца. Они пошли дальше, и Ильич смешно и жутко вез по земле ногой, загребая носком бота палые листья. И Надя изо всех сил просила широкое небо, чтобы никто из солдат не вскинул винтовку, не выстрелил в воздух, предупреждая, для острастки.

Они сначала вошли в лес. Лес вдруг живо, весело и порывисто задышал вокруг них, зашуршал, зашевелился, затрещал сухими ветками, засвистел и загудел; было ощущение, что под ногами гудит еще помнящая летнее истомное тепло земля. Нет, земля уже забывала, какая она прежде была горячая. Холода наваливались всею прозрачной, ветреной голубизной нежного неба. А лес, непонятно почему, как летом, в былые времена, вдруг запел и засвиристел — то ли последними безумными птицами в наполовину нагих, тоскливых ветвях, то ли синим ветром в верхушках елей и берез.

Да, это пылкий, как небесный любовник, ветер налетел и стал колыхать, вертеть и гнуть вершины длинных тонких березок, кучно росших там и сям; березы сменялись мрачными черными пирамидами елей, если тут стояли как охранники, кого, что они охраняли? юность берез? царский перламутр драгоценного неба? Царя казнили, и жемчуга и перламутры русской короны уже давно лежали в мрачных сейфах Гохрана. Новая власть по-царски? нет, по-советски, четко и жестко распорядилась всеми лесами и полянами, всеми оврагами и лощинами, всеми полезными ископаемыми, месторождениями и рудниками, и еще как распорядится, все березы гребенками железными причешет, все сосны по ранжиру построит, всему живому напишет новый устав! Так Иосиф говорит. А он всегда знает, что говорит.

Они шли между гудящих на ветру берез, слушали этот живой тревожный гул, Надя ежилась, ее кожа покрывалась гусиными пупырышками под кольчей шерстью свитера; на Ильиче плохо, криво сидело, будто с чужого

плеча, небрежно расстегнутое пальто; и Надя радовалась и хвалила сама себя, что под жилетку она ухитрилась напялить на вождя еще и теплую душегрею. Душегрею эту связала вождю его сестра, Мария Ильинична. Серая, грубая овечья шерсть. И ее свитер такой же: жесткий и грубый. Что в Англии, что в России — безмозглые овцы везде одинаковы. А люди? Они везде смогут сделать мировую революцию?

"Но мы первые начали", — бормотали ее холодные губы, и ее глаза глядели в холодное небо.

Лес, свистящий и щелкающий вокруг них, пугающий их внезапным резким треском мертвых стволов под ветром и мертвых веток под их ногами, сам вывел их к проселочной дороге. Они медленно пошли по дороге, и Надя все удивлялась — как это за ними не бросились в погоню, как не разыскивают их по всему лесу с собаками, с ружьями. Ружья и собаки! Да ведь они же не дичь, и нет за ними охоты! Или есть? Уже есть?

Она поставила сумку на цветное слоеное тесто листвы, прижала палец к рту, делая знак Ильичу: тише! — и вытащила из сумки ягдташ и котомку. Ягдташ вскинула на плечи. Котому взяла в руку.

Пошли дальше, оставив пустую сумку на съедение ветру и лесу.

Чуть слышный шум возник поодаль, за их спинами. Надя быстро обернулась. Шум вскоре превратился в грохотанье. К ним, сзади, медленно подъезжала, потряхиваясь и уткой переваливаясь на ухабах дороги, глубокая, как кастрюля для борща, подвода. В подводе сидел мужик; его сивую жидкую бороденку трепал ветер, а синие глаза мужика из-под мрачных бровей двумя ледышками втыкались в пыль, в землю перед копытами сивого коня.

Мужик увидел их и хрюпло крикнул:

— Эгей! Посторонися!

Они послушно встали у обочины. Сивый конь, с сивым, беспорядочно и жалко мотающимся по ветру облезлым хвостом, подходил все ближе. Подвода тряслась пусто, гулко. Порожним ехал мужик. Поравнявшись с беглецами, мужик окинул их светлым, свежим синим взглядом из-под нависших седых надбровных кустов, ледяные иглы пронзили Надю насквозь, а Ленин глядел в сторону: он не глядел на дорогу, глядел внутрь себя.

— Тпру-у-у! — приказал коню мужик.

Спрятал с подводы. Надя бессмысленно шагнула назад.

И бежать было бессмысленно. И стоять тоже. Сейчас мужик узнает их обоих, прекрасно узнает Ленина, о том, как Ленин выглядит, не знает в СССР только слепой.

Мужик светло, бессмысленно и беззубо улыбнулся. По его изможденному, с впалыми щеками, морщинистому лицу было хорошо видно, что он голодный, бедный, и все терпит. Как то делали все такие мужики во все века. Не только сегодня. А всегда.

А что изменилось?

— Ай, подвезть? — участливо спросил мужик. — Видю, што утомилися! Из-даля видать, што устали!

Надя куснула нижнюю губу. Ее зубы блеснули на солнце.

Она не верила, что повезло; так не бывает. Сейчас все разрушится.

Но мужик смотрел весело, синё и ледяно, и хорошо видно было по его глазам и доброй беззубой улыбке, — ему невдомек было, кто они такие. Он видел просто двух усталых путников, старика и девушку, которых надо было подвезти куда-нибудь. А куда, они сейчас сами ему скажут.

Парочка молчала. Мужик покосился туда, сюда. Конь раз, другой цапнул копытом сухую солнечную землю. Тонко завилась в воздухе пыль.

— Ну дык што жа? Едем ай нет?

Надя дернула Ильича за рукав. Он воззрился на нее здоровым глазом. Другой глядел выпученно, остановленно; блестел, морозно-стеклянный.

— Да! да! едем! сейчас...

Она подтащила вождя к подводе. На подводу еще нужно было влезть. Надя с ужасом поняла, что Ленин на подводу забраться не сможет.

— Владимир Ильич... вы... вот так ухватитесь рукой...

Она показывала, как. Ленин смотрел радостно и бессмысленно. Его щеки странно горели, красно и пятнисто пылали, будто он захворал корью и покрылся густой красной сыпью.

Он не мог повторить ее жеста.

Конь смироно стоял, мотал головой. Потом опустил голову низко, к самым бабкам передних ног. Белый, сивый, старый конь. Где она видела его? В каком детском сне?

Мужик все понял. Подступил к Ленину. Быстро и бесцеремонно схватил его, как кота, поперек живота. Стал поднимать вверх, тянуть, и Ленин вытягивался вслед за его руками, пальто билось на ветру, но ноги в тяжелых башмаках не отрывались от земли. Тогда Надя наклонилась и, еле живая от ужаса и радости, еще не осознавая всей своей наглости и того, что она сейчас делает, ухватила вождя за обе ноги, за парализованную и за здоровую, и вместе с мужиком они наконец приподняли его, оторвали его от земли и усадили, а вернее сказать, уложили в подводу. Вождь не удержался в сидячем положении. Он бессильно, тут же, повалился на дно подводы, и странно и смиренно подложил здоровую левую руку себе под щеку, словно спать собирался, — и да, правда, вот уже закрыл глаза. Надя видела, как раздуваются его ноздри. Он дышал спокойно. Спал? О чем-то своем думал? Она еще не верила своему счастью. Ей казалось: внутри счастья таится подвох.

Мужик ловко запрыгнул на облучок.

— Ну дык куды вам-то?

Надя все еще стояла около подводы.

— А вам?

— Мене-то? А в Федюково!

— Нам тоже туда! — крикнула Надя, как на пожаре, будто бы мужик был глухой.

— Слыши, барышня, не ори ты так! Прыгай, што застыла, ровно зимня кулига! Она перелезла через облучок и ввалилась внутрь подводы, а как, опять не помнила. Помнить ничего не надо было. За нее все помнили руки, ноги, плечи, губы, ловившие ветер, незрячие глаза, что старались глядеть весело и беззастенчиво, и у них получалось.

Ленин лежал на разбросанном по дну подводы сене, с закрытыми глазами. Сено еще пахло июлем — терпко, перечно и пряно. Надя, толком не понимая, что она делает, улеглась рядом. Сено, как вино, ударило ей в голову. Мир стал медленно и важно, будто в медленном старом вальсе, кружиться вокруг нее. Она была веретеном, а мир был белой, сивой нитью. Мужик вытащил из-за голенища кнут, взмахнул кнутом и не ударил, а будто огладил им сивую, старую спину коня; конь встряхнул жиidenьким хвостом, лягнул синий воздух, коротко заржал и потянул подводу вперед.

Дорожная их котома валялась у Ленина в ногах.

Надя лежала в подводе, не снимая охотничий рюкзак, его ремень давил ей на плечи, ее лицо оказалось чуть выше головы вождя. Фетровая шляпа сползла с головы Ленина, лысина потно блестела на солнце. Надя обежала быстрыми, отчаянно глядящими глазами лицо, голову, руки, грудь спящего вождя. Почему он спит? Почему так вдруг, непонятно уснул? Что случилось

с ним? Зачем этот внезапный сон, и опасен ли он? Она поняла: теперь на себя одну она берет ответственность за него, за его жизнь. И вся затея с этим побегом должна была показаться ей чистым умалишением. Но почему-то не казалась; ей пока, именно сейчас, все казалось правильным и непогрешимым — все что они сделали и продолжали делать. От лица вождя тек еле уловимый жар, воздух дрожал горячим маревом, и сначала Надя показалось — это солнце прогрело холодную воздушную толщу, и можно стащить с вождя пальто, а ей развязать теплый шарф и тоже снять пальто и аккуратно, двумя другими мертвыми фигурами, уложить в телегу рядом; но скоро она поняла, что это не в воздухе теплеет — это от жарких, разгоряченных щек Ленина струится жадное тепло, и она протянула руку и осторожно коснулась кончиками пальцев щеки Ильича, потом его голого лба. Под ее пальцами скользила потная кожа. Ее руку обжег, как уголь, жар. Жар шел изнутри вождя, из его спокойно лежащего в подводе тела. Белый, закутанный в шерсть огонь в человечьем обличье. Она отдернула руку. Потом положила обе руки на его лоб. Лоб горел огромным белым углем, раскаленным в печи булыжником. Надя привстала на локте. Озирала дорогу. Дорога тряслась и кренилась у нее перед глазами, конь вышагивал мерно и медленно, и мужик не погонял его кнутом; кажется, мужик задремал, из стороны в сторону сильно и смешно моталась его русая лохматая башка. Ленин замычал и силился приподнять голову. Он не мог оторвать ее от пуха душистого сена. Надя просунула ему ладони под затылок и, как это часто бывало там, в усадьбе, чуть согнула его шею. Ее ладони опять изумились жару головы Ильича и превратились в сплошной ожог.

— Вам плохо... вы весь горите...

Он мычал. Потом сквозь мычание прорвалось связно, слышно:

— В пасть... в пасть ему не идите... сго-ри-те...

В какую пасть, к кому в пасть, она ничего не поняла, а уж слушала, через вздохи и хрипы, обрывистую речь — из его глотки словно вылетали тлеющие угли, летели и достигали ее рта и щек:

— Подложи... под-ло-жи дров!.. щедро кла-ди... не жа-лей... Жалость...
плохое чу... чу...

Он зацирикал, как воробей.

— Чу... чу... чи... чу...

— Чувство, — шепнула она ему, и ее жаркий шепот опалил ему влажное, красное лицо.

Он не услышал ее. Он слышал только себя.

— Рубите! Руби-те его на мел-ки-е ку-сочки... а то он... о-жи-вет...

Возница не слышал, как они тут возятся, на охапке сена, и что меж собой говорят. Он смотрел вперед. И конь шел вперед.

Ильич закашлял хрипло, тяжело.

Он бредит, тускло шептали губы Нади, это бред, и у него жар, он заболел, и куда я тяну его, надо бы поворачивать, что, если сейчас крикнуть мужику: поверни! назад, в усадьбу! — но конь, круто выгнув шею и чуть поматывая головой, и белесая грива печально моталась по ветру, упорно, упрямо шел и шел вперед.

(УБИТЫЙ ДНЕВНИК КРУПСКОЙ)

Сталин бесчестен. У него нет ни чести, ни совести. Я думаю, он не знает, что это такое. Ему это не врождено, и никто в него это не вложил, не воспитал в нем. Володя слишком деликатно относится к нему. Однако Володя

прекрасно видит, что его надо как можно быстрее смещать с поста, который он занимает. Иначе он перегрызет всех. У него хватка хищного дикого кота. Но ведь и Ильич не мышь! Вспоминаю всю историю с партийным завещанием Ильича. Мы все упрашивали Ильича написать самые важные слова, от которых будет зависеть судьба страны. Мы все обсуждали с Ильичом это завещание, и все знали, что примерно там будет. Ильич старался не слишком ранить Сталина. Это было трудно. И по головке нельзя погладить, и кулаком нельзя в лицо ударить. Я вызвала его к нам и вручила ему бумагу с этим письмом Ильича. На письме было начертано моей рукой: "ПИСЬМО К СЪЕЗДУ". Stalin не знал, что это я взяла руку Ильича в свою, окунала вместе с ним перо в чернильницу и так, водя его рукой, зажав его пальцы, держащие ручку, писала. Мы вместе писали это заглавие. И написали. Stalin ничего этого не знал. Но он весь побелел, когда пробежал письмо глазами. Сначала молчал. За его плечом стоял Мехлис, за Мехлисом стоял Сырцов. Они стояли, и Мехлис смотрел в затылок Stalinu, а Сырцов в затылок Мехлису. Потом Stalin взорвался. Он взорвался, как бомба! Я никогда не видела его в таком жутком состоянии. Я думала, он сошел с ума, и надо вызывать через барышню карету скорой помощи из института Склифосовского. У него лицо налилось кровью, он брызгал слюной, а мне чудилось, кровью. Он кричал в адрес Ильича бранные слова. Так бранятся извозчики. Такие слова изрыгают грузчики на пристанях. Это было чудовищно! Эта ругань, грязная, дикая. Среди русской ругани он вставлял непонятные слова. Сырцов мне потом сказал: Stalin rугался по-грузински. Грузинская площадная брань, я впервые услышала ее. Вот как он любил Ленина! А мы-то думали. С тех пор я все знала о том, кто такой этот Коба, тихоня с виду.

И я, страшно сказать, возненавидела его. А вы бы как хотели, чтобы я его за эту грязную страшную ругань полюбила нежной любовью? Подлец он, но хитрый подлец. Самый плохой вариант подлеца. Ничего не поделаешь. Связал их с Володей черт одной веревочкой. Кто веревочку разрежет? Что? Я знаю, кто и что. Но об этом надо пока молчать. А то беду накликаешь.

На заседании Центрального Комитета Каменев зачитал завещание Ильича. Когда он дочитал его до конца, все молчали. Я задыхалась. Меня душила моя грудная жаба. На горло мне тяжелым камнем лег мой проклятый зоб и давил, давил. Молчание висело надо всеми нами, оно пригибало нас к земле. Мы не могли посмотреть друг на друга. Я украдкой косилась. У Бажанова, у Каменева, у Радека горели щеки, будто они были мальчишки и набедокурили, и стыдились признаться в содеянном. Иосиф сидел перед трибуной. Он нарочно так уселся, чтобы выглядеть стыдно, жалко и позорно. Чтобы стать маленьким, уменьшиться, унизиться донельзя. Он и так был унижен. Ильич, как ни старался быть мягким, все-таки растоптал его. И все это прекрасно поняли. Радек наклонился к Троцкому и тихо сказал ему, но я все равно услышала: "Теперь все решено. Теперь никто вас не посмеет и пальцем тронуть". А Троцкий ему ответил, и его хриплый голос тоже явственно донесся до меня: "Еще как тронут. После смерти Ильича сразу же и тронут!" У меня подкатила к горлу тошнота. Должно быть, у меня поднялось кровяное давление.

Нет, никакого мира между партийцами не получилось. Володя не смог совершить чудо. Что происходит сейчас? А сейчас происходит форменный ужас. Все передрались. Все спят и видят себя на месте Ильича. Это так гадко, пошло. Stalin хочет, чтобы Володя умер. Я не боюсь так говорить. И его я не боюсь. Меня же все равно никто не слышит. Я пишу это все или говорю вслух? Я не знаю. Когда как. Если бы я так не делала, жаба задушила

бы меня. И меня положили бы в землю прежде Володи. Земля очень близко к нам обоим, я телом, кожей чувствую ее сырое дыхание. Если Володя поправится, Сталин умрет. Он умрет как политик. А если не станет Володи, Сталин тут же, в одну секунду, возьмет власть.

В феврале Сталин сочинил: мол, Ильич потребовал его к себе после того, как закончится Политбюро; Сталин взял мотор, поехал, а Ильич будто бы его попросил: Коба, привези мне яду. Яду! Вот так номер! Он сообщил об этом, когда все члены Политбюро еще сидели на местах. Никто не уходил. Все застыли, как ледяные фигуры на площадях в Рождество. А Сталин улыбался. Вернее даже, не улыбался, а с трудом сстроил печальную рожу, но улыбка прорезала его гримасу нарочитой печали, улыбка ломилась наружу, и все, и я в том числе, поняли: про яд, это он сам придумал, это всегда было его мечтой, умертвить Ильича. Чтобы не было Ильича на земле! У Ильича власть! А у Кобы ее нет! Значит, надо ее взять! Я помню, я еще подумала: так убивают царей, королей. Ядом, надущенным шарфом, подушкой, ножом в ночи. Значит, это дворцовый переворот готовится? Кто бы думал иначе! Я переводила глаза с лица на лицо. Бледный Каменев. Зиновьев растерянно кусает губы. У Троцкого лик безумца. Такими рисовали юродивых на иконах: растрепанные волосы, вытаращенные глаза. Радек то и дело поправляет круглые очки. А Сталин все стоит на трибуне и молча склится. Мне хотелось подбежать к трибуне, встать на цыпочки и дать ему кулаком по губам. По зубам.

Сталин стоял и молчал, он ждал. Ждал, что кто-нибудь первый не выдержит и что-нибудь скажет. Он ждал чужих голосов. Голоса могли согласиться с ним, а могли и возмущенно заорать, захрипеть: вон! Вон с трибуны, вон из нашей партийной жизни! Всякое быть могло. И все ждали: Сталин — людей, люди — Сталина. Кто кого перемолчит.

И тут вскинулся Троцкий. Он крикнул: товарищи, да вы же все с ума сошли! Мы же все тут сошли с ума! И речи быть не может о том, чтобы эту просьбу выполнить! Врачи дают нам надежду! Ильич пошел на поправку! Нет, нет и еще раз нет! Сталин сделался мрачным. Он пошатнулся, как пьяный. И так же невнятно, мрачно, как вусмерть пьяный, басом сказал: это мы, все мы хотим так думать. На это надеяться. А старик мучится. Он хочет отмучиться! Неужели вам всем непонятно! Вы все как дети малые! Троцкий опять заорал: да это чистой воды безумие, яд! А вдруг он в тяжелую минуту и вправду примет его! Шаг бесповоротный! А врачи... врачи... Троцкий хотел похвалить врачей, сказать, что они стараются изо всех сил вытащить Ильича из болезни, и, глядишь, вытащат, — но Коба стоял, как из меди вылитый, на трибуне, все не сходил с нее и все так страшно, бесконечно улыбался.

И я с ужасом ощутила на своем лице, что я, как дрессированная обезьяна, повторила эту его ледянную улыбку.

Вопрос о яде закрыли. Сталин тяжело сошел с трибуны.

Он все понял. Понял, что я все скажу Володе. И что Володя теперь навек отвернется от него.

Жизнь, увы, такая пошлая и глупая штука. Даже там, где, казалось бы, единомышленники и соратники должны крепко держаться друг за друга, в верхних этажах с таким трудом, с такой кровью взятой власти, все передрались и перепапались, как голодные котята под грязным крыльцом. А если Ильич и правда попросил у Кобы яду? У Кобы! Не у меня! Хотя я ему самый близкий человек! Самый верный, вернее собаки! Я его дыхание наизусть знаю, каждый его стон, каждый хрип! А тут — этот грузинский хитрю-

га, неудавшийся батюшка. А что? Ленин знает, что он жесток. Что именно он, и только он, сможет выполнить эту ужасную просьбу про яд.

Вранье, кругом вранье! Не верю я в то, что Володя мог попросить этого партийного таракана о легкой смерти! Володя борец. Он боролся всегда. И здесь, на земле, он будет бороться с болезнью до последнего вздоха. Я сто раз хотела выспросить у Ильича: говорил ли он со Сталиным о яде? И всякий раз клала ладонь себе на губы. Зато этого хищного кота я не преминула об этом спросить. Он сначала отмолчался. Он очень любит молчать. При этом у него шевелятся усы, и под усами опять возникает эта жуткая, вместе жестокая и сладкая улыбка. Потом говорит мне: Надежда Константиновна, а вы знаете, с кем я тут недавно встречался на даче? Я помотала головой: нет, не знаю, откуда мне знать! Улыбка разлилась по его лицу, раздвинула его смуглые, в осинах, щеки, и на щеках вспрыгнули две ямочки, ну просто как у ребенка, сплошное умиление. С товарищем Дзержинским и с товарищем Каменевым, вот с кем! И еще шире разулыбался. Я стою, ничего не понимаю. Говорю: ну и что, встречались на даче, что тут такого удивительного? А он мне: так я же самого хорошего грузинского вина купил! Мне из-под полы — в Елисеевском — раздобыли! Такое не пивали и грузинские цари, вот какое! Саперави пятнадцатилетней выдержки, темно-лиловое, вах, цвета сливы! Я рассердилась, говорю, при чем тут слива, и вообще, при чем тут вино, замолчите, или давайте о другом, о делах! Он как с цепи сорвался. Из него слова посыпались, как изюм из дырявого мешка, впору ладони подставлять. Я не все запомнила, но кое-что впечаталось в память. Самое высшее в жизни, самое великое, немыслимое удовольствие, вы думаете, это любовь, да вы и любви-то не испытали, вы за широкой грудью Ильича отсиделись, все жмурили свои рыбьи глазенки, а самое чудовищное наслаждение вы и не знаете, и не знали никогда и не узнаете никогда, а это знаете что? это выцепить зорким оком своего заклятого врага, вражину, понять, что это твой главный враг, а главный враг это так: жизнь или смерть, пан или пропал, так вот, определить главного врага, старательно, не торопясь, тщательно все подготовить к борьбе, а главное, подготовить себя, свой разум и свое терпение, ведь борьба может быть долгой, она может затянуться, у тебя может не получиться все с первого раза, но ты упорен, а он ничего не знает, так вот, надо идти к намеченной цели, а цель твоя — уничтожить врага, ну разве не понятно? и вот ты делаешь все, все, слышите, все, чтобы его не было на свете! не было! раз — и выключили лампочку! или разбили, какая разница! света больше нет! какое счастье! так я и говорю, идти к цели, все приготовить как надо, и в надлежащий момент отомстить беспощадно и умело, одни ударом, и понять, что все получилось, все удалось! и зевнуть, и потянуться сладко, и выпить бокальчик лилового, синего саперави, и знаете что? и пойти спать. Как это спать, растерянно спросила я, когда он замолчал, почему это спать? Он расхохотался. Да, спать, представьте себе! Спать! Мягкая подушечка, сладкая перина!

Я выслушала это все и ужаснулась. Как я не рехнулась после этой звериной речи? Но разве можно живого, разумного человека назвать зверем? С виду Коба такой же, как все остальные люди. А копни глубже, еще и лучше многих. Он революционер со стажем, опытный подпольщик. Без него революция многое бы потеряла. А что она приобрела в его лице? И как мне надо было отвечать на эти наглые рассуждения о враге и мщении? Я спросила его: это я враг? меня надо убить? так? Я за словом в карман никогда не лезла. Я не играла в сопливую деликатность. Большевики пламенны, они не распускают сопли. Лицо у Иосифа стало каменное, усы отвердели, он втянул живот, как волк перед прыжком. Красивый грузин! Я внезапно представ-

вила, как они с этой его молоденькой женкой барахтаются в постели. Если Коба хороший любовник, девчонке повезло! Я никогда не ставила постель во главу угла. В супружестве есть много всего другого, что важнее плотского сочетания мужчины и женщины. Через триста, через пятьсот, через тысячу лет люди забудут, что такое семья, муж, жена. Будут другие отношения полов. Может, детей будут зачинять в мензурке. Сталин раскрыл рот, усы его брезгливо дрогнули, и из его рта до меня донеслись иные слова — будто железом скребли по железу. Не обольщайтесь! Вы не враг. Вы мелкая рыбешка. Если надо, мы вас поймаем, зажарим и съедим. Если вы не нужны окажетесь — живите, плавайте, радуйтесь жизни. Той, что у вас еще осталась. На один хамок. Враг наш другой. Он — посильнее вас будет. Да? Да! Я стояла, как оплеванная, и я догадалась, кто же этот враг. Почему я смолчала тогда? Почему не крикнула ему в лицо: подлец! Почему не ударила его по его котячьей усатой морде, ведь я уже сжала руку в кулак! Чего я испугалась? Того, что вместо Ильича он убьет меня? Да лучше бы так. Я не держусь за жизнь. Хотя нет, что я вру, держусь, и каждый держится. И старик, и ребенок. Все без исключения. Вот здесь, в усадьбе, до того, как мы привезли сюда Ильича, жили дети. Был барский дом, стал детский. Какие-то дети жили тут постоянно, каких-то привозили на время, отдохнуть, подлечиться. И взрослых привозили, в санаторию. Лес чудесный, если зима мягкая, природа лучше Кавказа. Около Пахры источники, ключи, из-под земли бьет полезная и вкусная вода. Детишки все болезни тут вылечивали! И Ильич вылечится. Я знаю. Враг! Это ты враг, Коба. Мы еще поглядим, кто кого. Ты считаешь меня никчемной жабой, толстой глупой бабенкой? да? да? А я другая. Я умнее тебя. Это я расправлюсь с тобой, а не ты со мной. Только бы Володичка выкарабкался!

А детишек сюда привозили со смертельными болячками. С открытой формой чахотки, с туберкулезом костей, с полиомиелитом, с последствиями менингита. Доктор Авербах рассказывал: таких везли, ну просто жалких, с грузовиков и из моторов сгружали скелетики. И что? Откармливали здесь! На свежем воздухе они гуляли! Ели сколько влезет, с добавкой, каждый день салаты, сплошные витамины! И снова воздух, воздух! Кислород великая вещь. И поправлялись. Не все, но многие. Кого-то смерть забирала. Люди должны есть, и смерть должна есть. Ей тоже нужна пища.

Володя, ты у меня как младенец. Я слежу за твоей едой, за твоим питьем, за лекарствами, чтобы их вовремя тебе дали, за тем, мокрый ты или сухой, страдаешь ты или радуешься. И, если тебе хорошо, хорошо и мне. Так все просто. Сажусь за стол, закрываю глаза, кладу руки на колени, а они сами сползают и падают, и висят вдоль тела. Моего тела для меня слишком много. Я не привыкла к себе к такой, слишком большой и оплывшей. Я стесняюсь себя на людях. Те, кто знал меня раньше, тихо ахают: Надежда Константиновна, как вы изменились! Передо мной всегда мысленно стоит зеркало в человеческий рост. И я вижу там себя. Свое отражение. Ужас, смех и слезы. Театр комедии, ярмарочная потеха. Нет, это не я. Володя, ты помнишь один, какая я была. Да ты, когда смотришь на меня с подушек, и видишь меня такой: былой. В глазах у тебя бегают искры. Я так их люблю, эти мелкие яркие искорки. От них может возгореться валежник, если ты на него будешь долго, прищурясь, глядеть.

Я все понимаю. Я все поняла. Как все оно было на самом деле. Зимою Ильичу было очень плохо. Слишком плохо; он скрывал от всех нас, он нам пытался улыбаться, но он сам уже приготовился к уходу. Он не думал о том, чтобы убить себя. Ни о каком яде он и не помышлял; но он думал о том, что вот порог близок. Так любой думал бы на его месте! А в марте его снова

парализовало. Мозг плохо снабжался кровью. Доктор Авербах выкладывал передо мною на стол выписки и заключения, но я не могла читать, все прыгало перед глазами, буквы разлетались в стороны, как блохи. А Stalin воспрянул. Он ждал кончины вождя. И он вел себя так, как если бы Ильич уже умер. Это было дико, гадко. Но Ильич не сдался! Он остался жить. Ильич обманул Кобу! И вот лето, и вот осень, и вот приближается зима, а Володичка неуклонно поправляется, он двигается уже гораздо гибче, уверенней, он все понимает, что ему говорят, и сам уже говорит хорошо, все лучше и лучше, конечно, бывают дни, когда ему трудно связать слова во фразы, но день ото дня речь возвращается к нему, возвращаются силы! И это видят все, не только я! Как жаль, что я атеистка, и мне за Володино выздоровление некого благодарить!

Так что, уважаемый Иосиф Виссарионович, яд ваш не понадобился — и, надеюсь, не понадобится больше никогда. Идите лучше пейте вашу восточную кислятину, ваше любимое саперави, на веранде вашей любимой дачи! И отправитесь этим кислым вином, и пусть вас вырвет на клумбу с георгинами! Я знаю, у вас под рукой есть отравители. Есть знакомые фармацевты; за небольшую мзду они изготавливают вам чего хотите, яд постращнее ядов Борджа и Медичи. Но мы все очень хорошо, неусыпно следим за Ильичом. У дверей его спальни всегда стоят верные люди. Мы не погнушаемся отдать приказ, чтобы всех, кто входит к Ильичу, перед дверью обыскивали. Это не унижение! Это правильная охрана. Врачи говорят сейчас, что больной выздоравливает непременно! А Stalin шипит мне на ухо: нет, Надя, дура, слышишь, нет никакой надежды на выздоровление! Каков наглец, оспаривать лучших докторов Советской страны!

И все же я боюсь. Я знаю Кобу. Он не любит сидеть и ждать. Он должен действовать. А его действие непредсказуемо. Он чувствует: судьба его висит на тонкой гнилой веревке. Ветер оборвет веревку, или ее ножом перережут люди, это уже неважно. И неважно, есть у него сообщники или он будет действовать один. Он не остановится. Мы думаем, он ползет, а он сломя голову бежит. Мы думаем, он бежит — а он мертв застыл. Он хороший стратег, и тактик тоже блестящий. Для него не существует времени. Вернее, время лежит у него на ладони; он умеет им распоряжаться. Он знает, как ножичком отрезать от него кусок за куском. А потом склеивать разорванное, отрезанное. Склевывать слюной, слезами, кровью. Самый прочный клей, смеется он, держит намертво.

Одно движение его руки! Шевеленье толстого пальца! Да что там: один вздрог его густого уса! И люди бегут, и исполняют приказ. Хотя, бедные, сами не знают, кто приказ тот отдал. У Кобы сто слуг, сеть агентов. Он собаку съел на организации агентуры. Какое там священство! Он бы в охранке служил при царе, точно.

Володя, милый мой Володя! Неужели ты когда-нибудь закроешь глаза и больше их не откроешь! Если тебя все-таки отравят, я непременно потребую вскрытия! С исследованием тканей и крови на присутствие ядовитых веществ! Уж в этом-то они все, все, и власть и врачи, мне не откажут! Я знаю, твоё тело будут бальзамировать. Накачивать химическими веществами и душистыми снадобьями, чтобы сохранить надолго. Может быть, навсегда. Они все так хотят. Stalin мне уже сто раз об этом говорил. А я ничего не отвечала. Молчала. И его это бесило. Володя! Они сожгут твои внутренние органы. Все твои потроха: желудок, почки, кишечник, печень, селезенку. Самое страшное, они сожгут твоё сердце. Людоеды! Уж лучше бы это сердце вождя съели! А что, вон в церкви паства идет вкушать из рук обманного бородатого попа тело Христа и кровь Христа! А ты, Володичка, ты лучше

Христа. Сильнее Христа! Он бродил по дорогам с учениками и бормотал свои благостные проповеди, а ты — перевернул мир! Весь мир! И всю Вселенную еще перевернешь! Мир будет идти по твоим стопам! Потому что просто не за кем больше идти! Поэтому прежде огня, куда бросят твои бедные внутренности, прежде этого костра я потребую анализа. И, если только там, в твоих мышцах, в веществе твоего мозга или в твоей крови, найдут хоть каплю яда — берегись, Иосиф! Тебе от пули не отвертеться. Я сама потребую твоей казни! Я!

Пусть врачи разводят руками. Пусть Коба их всех подкупит. Пусть он даже вопит, что Ильич выманил яд у докторов и сам его выпил. Политика, медицина, семья! История, страна, земля! Но есть еще бессмертие. Громкое словцо, да! Зато точное. Ильич бессмертен. Я хожу и все время повторяю это себе: Ильич бессмертен, Ильич бессмертен! А чем я еще могу себя утешить? Я часто чувствую себя, будто я стою одна на пустыре, а вокруг меня высокий, высоченный забор. Такой мощный заплот из мощных широких досок, как в Сибири. В Шушенском я такие заплотовидала. Через него ни почем не переберешься. Ни зверь не перелезет, ни человек. Только птица и перелетит. Только птица одна.

И вот я стою, а вокруг меня этот могучий страшный заплот, а за заплотом, я знаю это, кольцом стоит охрана. Все вооружены. Они все меня сторожат. От врага меня берегут? Так любят? Так ценят? Или мир берегут от меня? Потому что я, жена вождя, знаю правду? Ту, которую никогда никому не расскажут?

Стою и слышу: далеко, в широком небе, раздается выстрел. Охотник выстрелил в летящую утку? Или кого-то виновного, несчастного там, за этим чудовищным забором, расстреляли? Выстрел один. Не стреляют больше. Эй вы, там! Не стреляйте! Не стреляйте! Не стреляйте, братцы! Не стреляй...

Сталин стоял, расставив короткие ноги, между гладких белых колонн. Он прикатил в усадьбу слишком рано. Так рано он сюда еще никогда не приезжал.

Перед Сталиным стоял доктор Авербах. Ноги Авербаха, в блестящих, тщательно надраенных черных башмаках, стояли рядом, носки и пятки башмаков плотно прижимались друг к дружке.

Гундосый голос врача гулко отдавался в залитом солнцем зале, обвивал колонны и вылетал в настежь открытую огромную форточку.

— Что я могу сказать о восстановлении речи? Понимание речи, обращенной к больному, к вящей радости медиков, восстановилось в полном объеме. Владимир Ильич внимательно выслушивает все газетные статьи, что ему читают вслух. Читает Надежда Константиновна, иногда приходят и читают Марья Игнатьевна, Марья Ильинишна, Лидия Александровна и... хм-м-м... Надежда...

— Сэр-геевна, — подсказал Stalin, чуть усмехнувшись.

— Сергеевна. Владимиру Ильичу читают газетные и журнальные статьи, газетные передовицы, письма и телеграммы. Телеграмм приходит очень много, и секретари сортируют их, читают только самые важные и неотложные. Газету подносят к лицу Владимира Ильича, чтобы он мог прочитать газетные тексты и сам выбрать, что надлежит прочитать ему вслух. Тогда он указывает на эту статью пальцем или даже произносит название статьи. Надо отметить, что в газетах встречаются статьи, содержание которых огорчило бы Владимира Ильича. Надежда Константиновна распорядилась,

чтобы такие статьи больному не прочитывали. Огорчение, даже самомалейшее, может плохо повлиять на мозговую деятельность.

Врач умолк. Сталин водил зрачками по усатому, бородатому лицу врача. Благородное лицо; опытный офтальмолог, и хвалят его; из бывших, из дворян? или еврей местечковый? речь чистая, без южного акцента. Ишь, благородства полные штаны! А ведь все они понимают: под Богом ходят. То бишь под ним, под Кобой.

Сталин чуть шире расставил ноги. Врач стрельнул глазами туда, сюда и перевел взгляд на носки сталинских сапог. Они были щедро намазаны ваксой и тоже радостно блестели.

— Обувь в па-рядке, га-лава в па-рядке.

— Что вы сказали, Иосиф Виссарионович?

Сталин поморщился.

— Пра-далжайте да-клад!

Под колоннами, под белыми наростами фигурного льда старой лепнины снова зазвучал негромкий, в нос, голос Авербаха.

— Если Владимира Ильича интересует какая-либо статья, он просит подать ему газету и прочитывает статью сам. Он прекрасно различает цифры. Может с точностью установить дату выпуска газеты, отличает старые газеты от новых. Если ему подают старую газету, он сердито бросает ее на пол и требует свежую, сего дня.

Сталин остановил Авербаха жестом сурово поднятой ладонью вверх короткopalой руки.

— Как он га-варит сей-час?

Авербах загундосил так, будто бы его и не прерывали. Будто он был простиженный пономарь, и гудел бесконечные церковные часы. Стихи, псалмы, молитвы или диагнозы, или просьбы, или история болезни, или заключение консилиума, или песня революции, или передовица, или рецептурная латынь, или надежда, или приговор — все одно.

— Свободная речь пострадала больше всего. Сильнее всего, так полагаю, в мозгу больного задеты речевые центры, те, что формируют и направляют свободное высказывание, изъявление свободной мысли. Словарный запас больного ограничен, увы, несколькими ключевыми словами и рядом второстепенных; этот ряд расширяется и, смею надеяться, будет еще расширяться. Надежда Константиновна каждый день занимается с мужем речевыми упражнениями. Многократное повторение слов и фонем благоприятно сказалось на восстановлении речи. Речь вождя...

Речь врача остановил далекий крик. Кричали в парке или на балконе усадьбы. А может, в доме; никто из них не разобрал, откуда донесся крик.

— Пра-далжайте!

— Кричат, — робко сказал Авербах и вскинул глаза. Его зрачки прыгали, будто их колыхал нистагм. — Может, помочь нужна? Может, распорядиться?

Сталин сморщил нос. Оспины забегали по его лицу, как малые козявки.

— Рас-парядитесь лучше, чтобы у ва-ждя к ста-лу всэгда были свэжие фрукты! Осень, из Бухары и Ха-резма дыни вагонами вэ-зут!

Авербах выпрямился. При слове "дыни" у него раздулись ноздри.

— Есть распорядиться насчет дынь, — по-военному вычеканил он. — Владимир Ильич уже превосходно произносит многосложные слова. По нашим подсчетам, его словарный запас на сегодня составляет чуть больше двух тысяч слов. Это обнадеживает. Там, где две тысячи, там и три, и четыре, и, вы знаете, движение вперед безгранично.

— Да, я знаю э-то, — важно подтвердил Stalin.

Но в этом важном кивке таилась злая и веселая насмешка.

И врач это понял.

— Больной уже хорошо читает. Он с удовольствием рассматривает рисунки и различает, что изображено на рисунке. Ему сначала показывают рисунок, а потом раскладывают перед ним набор предметов, среди которых есть тот, что на рисунке; и Владимир Ильич безошибочно выбирает его среди других. При этом радуется и смеется, как дитя! Поскольку при параличе пострадала, вы знаете, правая половина тела, и правой рукой вождь писать больше не может, мы начали учить его писать левой рукой. В обучении письму левой рукой он делает несомненные успехи. Он уже быстро пишет левой рукой буквы и слова. Видите, мы постепенно ликвидируем печальные последствия паралича конечностей. Кора головного мозга, пострадавшую от кровоизлияния, мы питаем всеми необходимыми витаминами. Владимир Ильич получает рыбий жир, коровье масло, тертую морковку...

— Тер-таю мар-ковку! — передразнил врача Stalin и даже высунул язык. — Што вы мнэ пра мар-ковку! Как ра-ботает у него мозг? На-сколько мозг па-страдал? И не врете ли вы мнэ тут всо пра вас-становление... пра выздара-вление? Может, это всо ваши выдумки? Усыпить бди-тельность ЦeKa?

Aвербах стал серый, цвета холстины, обтянувшей здесь стулья и кресла.

— Больной имел поражение височной области мозга, но частичное, частичное, час... Сейчас... Сейчас общее состояние организма удовлетворительное...

Stalin насмешливо глядел.

Зрачки Averbaha дергались. Он прикрыл веки. Веки дергались тоже.

Они оба, стоящие под белыми колоннами, вдруг показались врачу маленькими, крошечными, — два застывших друг против друга жука, и сейчас вздрогнут и поползут, расползутся в разные стороны. Или кто-то громадный, беззвучно смеющийся, со знаменем в мощном вздернутом кулаке, с густо-алым полотном, весело, туго, как красный парус, шарообразно надутым холодным ветром, пройдет, и раздавит всею тяжкой ступней, и жуки обратятся в два кровавых грязных пятна, а великан с красным гигантским знаменем, ничего не заметив, пойдет себе дальше, и у ног его будет вращаться, вихриться и гудеть ровным радостным гулом толпа, а он будет идти над толпой, поднимая ноги и ступая не глядя, и будет давить людей, как червей, как воюющих жуков, а они будут орать и захлебываться криком, и превращаться в эти алые и темные пятна, будто от пролитого мимо розетки варенья, на грязной скатерти осени, на белой скатерти зимы. И знамя будет реять, а люди — гибнуть. Люди привыкли гибнуть. Кому нужна отдельная жизнь отдельного человека, когда миры взрываются в пустоте, а планеты срываются с орбит? И все летит, катится прямо в ослепление, в безумие красного света?

Врач зажмурился. Stalin неприязненно подумал: какой нежный, слишком утонченный, он не выносит моего взгляда.

— Вождь может гава-рит?

— Да.

Глаза врача приоткрылись, Stalin глядел на плывущее мимо дрожащих век глазное яблоко, на косящий вниз и вбок, ищащий в пустоте спасения, робкий зрачок.

— Но, ка-гда я у нэво бываю, он же пач-ти нэ гава-рит!

— Что же... всякое бывает... день на день при этом заболевании, знаете, не приходится...

— Но ведь он мыс-лит?

— Да!

Врач прокричал это почти торжественно. Будто клялся у знамени.

— Мыслит, превас-ходно! Но па-чему та-гда он нэ может нар-малько гаварить? Как всэ мы? А?

Врачу нужно было тщательно подбирать слова, но у него совершенно не было на это времени.

— Он мыслит... но сказать свою мысль не может. Он видит глазами буквы и слова, но текст целиком прочесть не может. Это говорит о том, что в левом полушарии у Владимира Ильича...

И тут Сталин зевнул.

Он зевнул во весь рот, широко и с наслаждением его разевая, как сладко спавший и только что проснувшийся кот; Авербах видел, как в его пасти, между челюстями, в розовую трубочку заворачивается язык.

Врач замолк.

Сталин, зевая, простонал: "а-а-а-а!", закрыл рот, разгладил пальцами усы и тоже молчал.

Они стояли под белыми колоннами и молчали оба, и больше не раздавалось криков из голого парка усадьбы, и чьи-то ноги, будто маленькие, детские, быстро протопали над их головами: кто-то бегал по коридору второго этажа, веселился, а может, отчаялся и о помощи просил.

Врач не просил о помощи. Он находился здесь, чтобы оказывать помощь. Он знал: тут, при вожде, его могли расстрелять, вывести в парк и шлепнуть, среди милых печальных наших осин и серебряных берез, а могли и взвеличить, вознести на пьедестал. Косящие глаза будто ощупывали гранит пьедестала. Нет, монументом станет не он. Медикам не ставят памятников. Медики, они как могильщики: их вызывают тогда, когда надежда умирает.

— Значит, вы счи-таете, что никаким кан-силиумом па-ка и нэ пахнет?

— Нет, Иосиф Виссарионович.

— Вы так пал-ны ап-тилизма?

— Да, Иосиф Виссарионович.

— Ну я нэ знаю што сказать. — Сталин развел руками. Обшлага френча поползли вверх по волосатым рукам. — Вы выше всэх пах-вал.

— Спасибо.

Благодарность прозвучала натужно и неуместно.

— А гдэ же сам Вла-димир Ильич? Па-чиму ево нэт в ево комнате в столь ранний час?

Авербах оглянулся туда, сюда. Положил ладонь себе на лоб. Усилием воли подавил нистагм.

— Не могу сказать, Иосиф Виссарионович. Мы сейчас узнаем.

— Как это, ваш баль-ной ис-чезает из вашего поля зрэ-ния, а вы нэ в курсе, гдэ он? Непа-рядок.

Врач сделал шаг, другой, третий назад. Он пятился, а Сталин смотрел, как он пятится от него, как от гадюки, и издевательски улыбался, показывая желтые прокуренные зубы.

— Ну, у-знайте!

— Сейчас узнаем!

Врач повернулся к Сталину спиной, прошел между колонн, распахнул обе створки выкрашенной белой масляной краской двери, глубоко вздохнул и крикнул в дверной проем:

— Епифан!

Из полутьмы высунулась желтая взъерошенная борода, она торчала параллельно полу. Мужик косился на барина-лекаря, а врачебный барин тоже

странны косил глазами в сторону, в слепь окна, на деревянный лед паркета. Они странно и пугающе всё не могли встретиться глазами.

— Чево звали, дохтур?

— Епифан, скажи, где Владимир Ильич?

Мужик высоко вздернул плечами, потом медленно, будто нехотя опустил их. Рубаха стекала с его широких, как слега, плеч медленными частыми складками. Рубаха была торжественно-чистая, и пахла крахмалом и чуть — незабудками.

— Да оне с Надеждою Сергеевной погуляти пошли. В парк, так мыслю. А то и в лесок направилися. Пущай погуляют. Оно полезно, воздусями-то подышать. Уж больно денек хороший! Солнушко како, ровно весна возвернуласи! Пущай личики на солнушке погреются!

— В парк, — тихо повторил врач.

Сталин стоял далеко за ним. Так далеко, что Авербах уже не чувствовал его затылком и спиной; а чувствовал только легкое дыхание слабого предзимнего морозца, что лужи оковывает тонким, как плохая подкова, ледком; так далеко, что если оглянуться — и человека не увидишь, а только столб среди сосен и осин, а лишь черного мертвого таракана среди льдов и снегов, и забытая метель взлаивает и воет, и сверху наваливается чернь, а снизу синь, а посредине гибнет владыка зимней земли: но это не Ленин, у него еще нет имени, его еще не окрестили в ледяной купели. К кому оборачиваться? Кому кричать?

Он обернулся. Да не лицом к лицу. Душа, не гляди на Левиафана. От его взгляда лекарства нет. Stalin видел только сухой восточный, горбоносый профиль врача. Авербах слабо, робкой забитой жучкой взлянул в белоколонный, солнечный зал:

— В парке!

И опять отвернулся.

И стоял к Stalinу спиной.

И ничего не мог с собой поделать.

Не мог подойти. Не мог посмотреть.

Ноги отяжелели, как налитые расплавленной медью. Будто он сам себе сделал сноторвный укол.

Всеобъемлющим, вселенским нистагмом дергались перед ним колонны и шкапы, кресла и стены, подоконники и синие стекла, доиста, старательно вымытые мрачными уборщицами, отражавшие, с наглым чистым блеском, осень и небо.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Мужик привозит Надю и Ленина сначала в станционный домик, потом определяет на ночлег к сельской дурочке Федуре. — Ленин и Надя едят крапивные пустые щи в избе Федуры. — Вождя укладывают спать на лавку и укрывают шубой; Федуре и Наде не спится. — Рассказ Федуры о своей страшной жизни. — Ненависть Федуры к Ленину. — Ночью Надя держит руку Ленина в своей горячей руке. — Она говорит Ленину, что хочет увезти его на Кавказ.

Подвода, переваливаясь с боку на бок, трясясь и вздрогивая, подъезжала к станционному домику.

Это был старый, еще не снесенный, не срытый и не сожженный, еще живой ямщицкий домик. Маленькая хибарка у дороги; а за дорогой, в красно-золотом свете холодного заката, плыли в мареве, над умирающей землей,

соломенные крыши приземистых, как невзошедшие в Пасху от тайного гре-ха клеклые куличи, чернобревенных изб.

Надя сидела в подводе, держала руку лежащего вождя в руках. Мяла ее, сжимала, иногда наклонялась и грела ее дыханием. Глаза ее растерянно бегали. Они проехали в подводе много верст, ехали целый день, и вот вечерело, и больному ни в коем случае нельзя простужаться, а, судя по всему, он замерз. Она кусала губы. Спит или бредит, это одинаково опасно. Ее накажут. Казнят. Иосиф сам прикажет ее расстрелять. Она вообразила себе сердитого Иосифа, и против воли улыбка изогнула ее губы. Иосиф! Прикажет! А она прикажет ему: развернись и шагом марш! Или так: сам воспитывай сына! Или нет, не так: расстреляй меня вместе с ребенком!

Она, тихо и смешливо ужасаясь себе, подумала: а ведь в Москве, в ящике домашнего стола у нее лежит пистолет. Еще с царицынских времен, с войны. Как быть? Застрелить Иосифа, если он и вправду отдаст такой приказ? Ты не успеешь вытащить оружие из ящика, шептала она себе, тебя увезут в тюрьму прямо отсюда, из этого сельца, из этой избы, где вы сейчас будете вынуждены остановиться на ночлег.

Сивый мужик изредка косился на едущих в его подводе господ. Молчал. Равенство и братство, где они? Вот тебе господа, они и одеты-то по-инакому, и вот мужики и бабы, крестьяне; и господа ими всегда владали и будут владать, пусть не врут, что теперь все сравнялись, чай, не свекольная ботва на огороде. У них и деньги, и одежа, и ученость, и земля, да, земля-то вся до сих пор у них, — а у мужиков что? Конь подволок подводу к станционному крыльцу и стал. Ребристые бока коня часто подымались; он устал, хотел пить и есть.

Мужик соскочил с облучка, потер затекшие колени, размял пальцами икры под онучами.

— Пить-то хоцца ай нет? Хоцца, видать?

Надя не могла говорить; кивнула.

Мужик прошествовал в станционную хибару, вскоре вышел на крыльце, в руке держал кружку, другую обтирал мокрый рот и подбородок.

— Ух, сладка водиченька! Сладко посля путя! На-ка, милушка, испей. — Он спустился с крыльца и протянул кружку Наде. — А твой-то тятька хворай, видать? Што валяцца, башку не подымат? Ай муженек он табе?

Надя приняла кружку у мужика из рук и покраснела.

— Отец.

— Дык в гошпиталь тятю-то надоть свезти! А вы — в Федюково! Да к лешему то Федюково! Яму, отцу твому, щас чаю с медом надоть, да горчицы на тряпку насыпать да на спину яму, на спину! И в тулуп до ушей закутати, и штоб до костей пропотел! А вы — в путь-дорогу! куды вам шлея-то под хвост...

Мужик еще что-то говорил, такое же взгальное, ворчливое, Надя плохо слышала. У нее уши словно воском залепили. Она наклонилась над лежащим Ильичом, приподняла ему голову.

— Владимир... — Быстро, испуганно, покосившись на мужика, рядом стоящего, поправилась. — Отец... Отец... попейте... легче станет...

Поднесла кружку к губам больного, прислонила, чуть наклонила. Вода вылилась на подбородок и потекла по рубахе, по жилетке, брызнула за отворот душегрейки.

— Стрекоза... Стрекозу отгоните... кыш, кыш!.. пошла, пошла вон...

— Бредит, — тихо сказала Надя, держа кружку в вытянутой руке.

Сивый мужик пожал плечами.

— Дык верно все, болесть свое береть! А откудова сами-то будете?

Надя не могла соврать.

— Из Горок.

Мужик хлопнул себя ладонями по ляжкам.

— Эка! Из Горок! Да там жа... там Ленин живеть! Сам Ленин, однако! не
хто-нибудь замухрыстай...

— Ленин — в усадьбе барской живет, — с трудом выговорила Надя. — А мы
— жилье поблизости снимаем.

Она, от смущения чуть не захлебнувшись, быстро выпила всю воду из
кружки.

— Аха, ясно дельце. А сами-то дохтура, што ль, будете? вид у вас очено
дохтурский у обоех.

— Да. Доктора.

— А што ж, ежели дохтура, тятю-то свово не подлечили, допрежь путя?
Путь, он вить долог да заковырист! всяко может в путю проистечь! можно,
вишь, в путю и померети... всяко оно быват...

Наде спину будто кипятком из этой вот кружки окатили.

— Пожалуйста, — жалобно, жалобнее плачущего ребенка, попросила она,
— устройте нас в какую-нибудь избу... на ночлег...

Мужик огляделся. Ветер уронил ему сивую жиеньку, как пламя тощень-
кой свечонки, серо-желтую прядь на изморщенный лоб. Конь стоял спокой-
но, головою не тряс, землю копытом не ковырял. Издалека ветер наносил
запах дыма, и дым пах смолой, блинами и мокрым лыком. Заметно холода-
ло, и Надя дрожала.

— Эка, милушка, ну ты и трясеши. Табе тожа б надо подлечить. Водкой
растерети...

— Водкой, нет, не надо водкой, — бормотала Надя.

Мужик взял у нее из рук кружку, отнес в хибару; вернулся, взгромоздился
на облучок, чмокнул губами.

— Н-н-но-о-о-о, старичонка!

Конь потянул подводу вперед даже и без кнута.

Наде показалось, они через миг-другой пристали, как лодка с колесами, к
чужому крыльцу. И только остановились — из-за подводы выскочила баба,
старая не старая, молодая не молодая, без времени и без стыда, замахала
руками, как мельница, перед мордой коня, перед мужиком, выставившим
вперед острые колени в туго-натужо перевязанных веревкой онучах; бабен-
ка стала мотаться перед телегой, как язык огня, и Надя со страхом глядела:
понева темная, вишневая, рубаха желто-солнечная, поверх рубахи напяле-
на пуповиха — дырявая, да красными крестами вся расшита, — все когда-
то нарядное, да теперь такое поистрепанное, что впору чучело в те тряпки
одеть да на огороде, на задах, птиц пугать выставить.

Ветер мотал и вертел цветные лохмотья. Бабенка раскинула руки и пошла,
как мужик, вприсядку.

— Эх, радуга! Да ты в полнебушка! Мене не надоть мясца, надоть хлебуш-
ка! Эх ты мамушка родная, не пущай в избу сватов! Пыду замуж за солдата,
ждати двадцать пять годов! И-и-и-и-йих! Йа-а-а-а!

Вскочила и завертелась, быстрей веретена. Резко стала — и упала, и юбки
задрались, и Надя глядела на задранные кверху тощие голые ноги, на кост-
лявые грязные, босые ступни и тяжелые, лошадиные мослы коленей.

Помочь, вылезть из подводы, подхватить бабу под мышки, кто она, зачем
она так страшно пляшет, но Надю опередил сивый мужик, он слез наземь,
подбежал к бабенке в желтой рубахе, ловко поднял ее с земли и сердито,
но несильно, а вроде бы шутя, наподдал ей по тощему заду.

— Эй! Ты! Федура! Не шуткой ты так, гостев напугашь! Гостев табе привез!
А гости те, дивися, не простыя, гости те дохтура знатныя! Приветиши, ай
нет? Да чую, чую, што приветиши! ты ж у нас приветлива!
Бабенка воззрилась на Надю.

Подхватила края поневы себе в кулаки — присела — и ну давай мести по-
невой пыльную холодную землю, подметать, словно метлой. И так, поневой
землю подметая, приближалась к подводе и к застыло сидящей Наде.

— Ах ты батя, ты мой батя, ко мене не подлязай! Я залезу на полати — са-
мовар в мене кидай!

— Федурка! Фатит блажить-та!

Надя уже слишком близко видела широко расставленные, под коровьим уп-
рямо скошенным лбом, бешеные сливовые, коровы глаза бабы, ее разду-
тые ноздри, ее раскрытые губы — в улыбке недоставало зубов, ветер вле-
тал ей в щербатый рот.

— Хочу и блажу! А што ето, ты грозилси гостями, Макар, а тут сидить одна-
едина гостюшк?! што ето, обозналси ты?! али у табе в глазенках двоит-
си?! негоже, Макарка, негоже! И навроде сметливай ты мужик! а вот пута-
еssi в цифирях, все никак человеков не сочтешь! а ты по головам, по голо-
венкам щитай-то! как, навроде, скотов! и у тя получитси!

— Ты, — осердился мужик, — загляни-ка унтурь подводы, слепышка!

Бабенка поднеслась всем тощим бешеным телом, будто ее ветром поддуло,
к краю телеги — и заглянула, и охнула, и даже, как мальчионка, сквозь тру-
бочкой сложенные губы свистнула:

— Фью-у-у-у-у! Да тута труп валяется! Што с собою мертвяков возишь, Ма-
карка! вот то воистину негоже! Мертвяк, и уже смердить! Фу-у-у-у! — Она
прижала к носу ладонь. — Кати с им прямехонько на погост! Што по дярев-
не раскатывашь! И попа, попа не забудь с собой прихватить! Девка-то вон
ни жива ни мертвяка сидить! Инеем ты, што лъ, матушка, уж вся покрылася?!

— Баба обернула к Наде лицо, и Надя ужаснулась. Сливы-глаза преврати-
лись в два озера огня, по щекам бежали дикие морщины, и волосы надо
лбом бабы шевелились. Все разом поднялись. Надя сообразила, что их
взметнул ветер. Но все равно страшно было; и бесповоротно все. — Инеем,
дочушка! Морозом окаянным! Лёдом, язви, лёдом! Чёрта дочь ты, вот каво
дочь! А пошла ты прочь! Каво жалаю, привечаю! Кому жалаю, тому налью
чаю! Чаю, чаю накачаю, кофею нагрохаю! Повезуть дружка в солдаты —
заревлю, заохаю!

— Заткнися! — страшно заорал мужик.

Баба бросила голосить частушки. Вся опала, волосы повисли, понева об-
висла, босые ноги застыли в пыли.

— Да я што... да вы не стесняйтесь... давай ко мене, в избу... у мене щас
никогошеньки... одна щас я... одна как перст... давай, дочка, помогну табе
из телеги-то батьку твово вытащити...

Надя и бабенка бестолково толкались возле подводы, мужик отодвинул их
плечом.

— Уйди, бабы.

Сивый мужик наклонился и ловко, будто отец — дитятю, подхватил Ильича:
одною рукой под мышки, другой под колени, и приподнял так легко, будто
вождь ничего не весит, совсем ничегошеньки. И так, на руках, понес Лени-
на к крыльцу избы, и взошел с ним на крыльцо, и открыл дверь ногой, и
внес его в избу. Дверь глядела на Надю и на безумную бабенку черным
пустым квадратом. И Наде казалось: за этим квадратом и впрямь не изба
никакая, с человечьей утварью, с самоварами, чугунами, печью и лавками,
а — пустота.

Надя подхватила котому. Ягдташ прижался к ее спине.
Они покорно, как побитые собаки, вошли следом за мужиком Макаром, что нес Ленина на руках, в избу Федуры, и Надя огляделась, опять потерянно и потрясенно, и не увидела в избе ничего, кроме голой лавки и громадной русской печи, — ничего, ни столов, ни стульев, ни чугунков, ни кастрюль, ни чашек и ложек, ни ухватов и кочерег, ни серпов, висящих на стене на гвозде, ни сундуков и ларей, где хранились бы мешки с мукою и собранные по лету тыквы, ни связок лука и чеснока на стенах, ни ходиков, чьи гирьки медленно дотягивались бы до половицы и отмечали прошедшие трудовые полдня, а потом и весь день, — пустота и тишина. Бревна сруба и белизна печи. Лавка и тусклое окно. И горечь в воздухе.

— Скажите, пожалуйста, — спросила Надя, — а где тут у вас можно помыть руки?

И молчание, а потом громкий хриплый хохот был ей ответом.

Сивый мужик положил Ленина на лавку, и Ленин открыл глаза.
Федура, не стесняясь ничуть, прямо при них при всех стащила с себя расшитую алым крестами ветхую пуповину, потом выцветшую желтую рубаху — под ней оказалась исподняя сорочка, еще более ветхая, почти дотла источенная временем; через исподнее бесстыдно просвечивало Федурино худое тело. Она вся была похожа на оглоблю, лишь нарочно, для смеху, обряженную в бабьи одеяния.

Нет, здесь никто и ужина не готовит, мрачно думала Надя, никто на стол и чугуна горячих щей не поставит, мяса тут нет, и капусты нет, и свеклы нет, да нет и стола; а ведь Ильича надо накормить горячим, он открыл глаза, значит, он пришел в себя, значит, он сейчас даст знать о том, что он снова все видит, слышит и понимает, значит...

Она подошла к лавке, бросила котому, стащила ягдташ и наклонилась над вождем.

— Отец, — дрожащим голосом еле вымолвила она, — отец, как вы?

Пощупала его лоб. Лоб был мокрый и холодный. Жар ушел, упал в мышиный угол за голую лавку. Глаза вождя искали ее глаза, и не напрасно искали: нашли.

И Надя не могла оторвать своих глаз от его пристального, не тусклого, как в бреду, а снова ярко-горячего взгляда.

— Где... мы?

Надя взяла в обе руки и крепко сжала его руку.

И рука, как и лоб, была холодная и влажная.

— Мы?.. убежали...

Хотела сказать это весело и сильно, радостно, приободрить его, а вышло нежно и горько.

В избе все сильнее пахло полынью.

Будто бы час, другой назад тут варили горькую лечебную настойку.

— Убежали... — медленно, понимающе повторил больной.

Глаза под иссеребра-рыжими бровями замигали, будто хотели заплакать, судорожно задергались веки, и вдруг в глазах этих родилось веселье почти плясовое, бесшабашное, словно он слышал все безумные частушки, что выкрикивала на улице босая Федура, а сейчас их все, скопом — не глоткой, а глазами — повторил.

Сивый мужик огладил, как коня, беленую печь.

— Тепленька, — одобрительно выдохнул, — Федурка, знать, внове топила. Ты не бойся Федурки, — мужик положил чугунно тяжелую руку Наде на плечо, — она безвредна баба, ешшо и добреца какого табе сделать. Не печалуй, и насытить! у ей в печи завсегда чугун с крапивными щами хорошница. Сметанки нетути, ето правда што. И хлебца нетути. Да вот, на возьми, пожуй, — пошарил в кармане портов и вытащил на свет, как мышонка, серую горбушку, — пожуй, пожуй! Маненько крепше станешь, дочка. И дохтура свово, батюшку, понасыть. В щах размочишь! Они, чую, ешшо теплы. Мужик Макар снял руку с плеча Нади и подошел к печи. Сунул в ее зевло обе руки. Вынул черный страшный, огромный, с медвежью голову, чугун. До ноздрей Нади донесся травный, масляный дух. Чугун без крышки, и медленно плещется, переваливается в нем темно-зеленая жижка.

— Точно, крапивны. Таких бы щец и я похлебал, а, не отказался б!

— А где у нее тут посуда? — робко спросила Надя.

Сельская дурочка, как хитрая лиса, запрядала ушами, услыхала, о чем возница и девушка шепчутся. Подскочила сама к печи, взяла из рук у мужика чугун и поставила на пол. Капли щей выплеснулись на прогнившие половицы. Миг, и дурочка подскочила к печке, закинула руки кверху, шарила в темноте, вынула ящик, в нем стеклянно, звонко брякнули пустые бутыли; поставила перед лавкой, из-под лавки вытянула картофельный мешок, накрыла ящик, смешной, как походный, стол получился. Чугун со щами уже стоял на ящике, и Федура уж опять в зеве печки шарила, гремела деревянными щербатыми, обкусанными ложками в руке, будто на тех ложках жаркую кадриль играла.

— Ись, ись! Лопай, не ленись! Вся така наша жись!

Дурочка всунула ложки в руку Нади, в руку Ильича, протянула мужику.

— Встанемте... отец...

"Что, если он сейчас возьмет и меня отругает нещадно тут, при всех, за этого дурацкого "отца", — думалось ей потешно и горестно. Рука ее сама закинулась Ильичу за спину, она поднимала его с лавки, и он силился сам встать, и у него получилось встать быстро, гораздо быстрее, чем он вставал с постели в усадьбе: и глаза горели, и скулы вишнево румянились, и близкий запах пустых крапивных щей обвевал лицо слаше, пьянее дорогоого французского вина.

— Федурка! Чем заправила, ай? Постным маслицем?

— Игде то масличко, не видала-не слыхала я! в чугунок лила, да мимо-то попала я! Давай, налетай, с пылу-жару-ти хватай!

И первой дурочка запустила ложку во щи; и подносила ко рту, и громко втягивала в себе гущу, уродливо, утиным клювом, вытянув бледные губы. Ленин опасливо покосился на бабенку и окунул в щи ложку, и, неумело зачерпнув левой рукой, вылил темную гущу себе на штаны. Надя промакивала пятно носовым платком.

— Не огорчайтесь, отец... надо солью посыпать...

— Не поваляешь, не пойишь!

— Тихо ты, замолкни, лучше б молитовку прогундела...

— Да каки щас молитовки, Макарка! Щас одна молитовка: спаси-сохрань! и вся дребадань!

Надя аккуратно размачивала во щах серую мышиную горбушку. Ей чудилось: горбушку и вправду мыши погрызли, обкусали. Когда черствотина превращалась в податливую мягкость, она своею рукой подносила горбушку ко рту вождя. Он, не глядя, но чувствуя возле себя дух хлеба, послушно открывал рот. Жевал медленно, закрывая глаза от восторга. Улыбка рва-

лась с его губ, но он никак не мог улыбнуться. А Надя все равно понимала: он — улыбается.

Они, все четвером, двое мужчин и две женщины, хлебали крапивные щи, пока в чугунке не показалось, сквозь жижу, черное дно; и тут Надя сообразила, что крапива-то осенняя, не весенняя, значит, пользы в ней для организма никакой нет. Она вытерла Ильичу рот, усы своим платком, обшитым еще довоенными кружевами, и дурочка зацокала языком:

— Ах, ха-ха! Каково заботицца-то дочь! Небось, сляжеть темна ночь...

Ловко, незаметно упрятала полегчавший чугун обратно в печь. Сивый мужик сурово глядел на широкую длинную лавку, голую как зимняя земля.

— Федурка! А што, совсем уж ничаво нету, на што возлечь, штоб помягше? И чем принакрыцца?

— Снежок-от на погoste принакроить!

— Фу, греховодница. Хоть пук соломы со двора неси! И сабе на пол кинешь!

— А я на печи, всё на стол мечи!

— На печке-то гостюшку положи.

Вечер синими чернилами лился в бельмистое крохотное оконце, наливал тьмою избу, и для того, чтобы видеть лица и руки друг друга и не упасть во тьме, если кто захочет выйти вон по нужде, надо было зажечь что угодно: лампу, свечу, лучину. Макар озирался по сторонам.

— Свет, свет...

Махнул рукой, рукав мотнулся, запахло соленым, горьким потом.

— Што свет? всюду жа тьма, тьма...

— Да ничаво. Гостям-то хотя огарок запали!

Надя сидела на лавке рядом с Ильичом и держала его за руку.

Все это время, пока они ехали сюда и пребывали тут, в этой курной избе, больше похожей на баню по-черному, она держала его за руку, держала и нянчила его руку; и она так привыкла к тому, что из его существа постоянно перетекает в ее тело это слабое, живое тепло, что, когда она на время выпускала его руку, она тревожилась, смутно тосковала по этому великому чувству тепла, боялась, что кто-то другой возьмет и присвоит, и, нагло смеясь, похитит это тепло, уже по праву ей принадлежащее; по какому праву, спрашивала она себя, кто я такая, и кто он такой, я же все знаю, все понимаю, — но руки отказывались понимать то, что знала и лелеяла бедная голова, руки и тело соединились с чужим телом, и через это робкое, тихое тепло, что каждый миг текло и вливалось в нее, она сроднилась, накрепко и бесспорно связалась с этим человеком, которого боялось и которым восхищалось полземли; рука и рука, как просто, и, если бы они не сбежали, это было бы недосягаемо никогда, она никогда бы не испытала этого величайшего, пьянящего чувства родства, полной принадлежности, служения, связы, приращения, — счастья.

Они, все четверо, сидели перед ящиком с пустыми бутылками, прикрытым грязной, в ляпушках куриного помета и желтых иглах соломы, мешковиной, и молча смотрели на ящик. Поели, разомлели, ночь надвигалась, и говорить вроде было уж и не о чем. Надо было рано лечь и рано, по-крестьянски, заснуть.

Люди в усадьбе ложились поздно. Надя перепечатывала статьи — вождя, Иосифа, Троцкого, Зиновьева. Иногда вдали, будто в парке или на берегу Пахры, тарахтела еще одна пишмашинка — это усатая партийная косточка, Марья Гляссер, тоже колотила сухими деревянными пальцами по черным клавишам. По коридору звучали шаги: тяжелые — Епифана, маленькие и меленькие — его подсобного парнишки Ивана, нежные и осторожные — Маняши, сестры вождя. А потом кто-то еще шел, и будто и не шел, а полз.

Это шла мимо молчащих комнат, по сумраку коридора жена Ильича. Она выносила ночной горшок.

— Ну, я пойду, ить поздненько, — сивый мужик встал и затеребил на груди рубаху, — нашедши вы, гостечки, свой приют, а мне пора и честь знать, поехал восвояси. Ты, Федурка, тут их не притесняй-от! ладноть?

— Ах ты картофля гниленька! ето заместо спасиба-то?!

— Спаси Бог тя, Федура...

— Бог спасеть... езжай, заутра снову встренемси...

Мужик и бабенка троекратно расцеловались, и мужичий дух пота и давно не стиранных онуч исчез, улетел старым голубем за скрипучую дверь.

Федура встала с лавки, нашла слепыми пальцами на узком, устланном серой ватой подоконнике, и верно, огарочек; и рядом с ним сломанный коробок спичек, оклеенный синей жесткой бумагой; грубой толстой спичкой чиркнула раз, другой по коробку, огонь возжегся, свечной фитиль сначала затлев, потом счастливо, ярко вспыхнул, и огонь полетел из-под Федуриных пальцев вбок и ввысь.

Изба озарилась, тени стали пугающе, дико ходить по углам, над печкой осветилась и закачалась кружевная паутина, Надины глаза расширились и засверкали, как два отглаженных резцом ювелира черных агата, в бороде вождя вспыхивали золотые нити, по стене, по выпуклостям черных бревен, пробежал крупный черный таракан, медленно пошевеливая длинными страшными усами, Наде стало страшно и весело, будто сейчас кто-то, в этом мраке, целуемом бродячим и бешеным светом, расскажет им страшную сказку — о красавице и косматом чудище, о горьких, полынных слезах чудовища, что на горе себе полюбило светлую царевну. А может, я им такую сказку сама расскажу? вот сейчас, вот прямо сейчас и расскажу!

Она стала опять ребенком. Время отмоталось назад, потом застыло ледяным веретеном. Пряжа годов тоже замерзла, ледяной ее ком отсверкивал густой, иглистой щеткой инея.

— Ты, дохтур, прилягнешь? я тебе свою шубешку подо спинку подложу.

Ленин еле сидел, качался. Опьянел от зеленых пустых щей.

Пока дурочка ходила за своею шубой, Надя опять взяла руку вождя.

И опять потекло тепло, единственное оправдание ее маленькой жизни на такой большой и великой, где-то в водоемах тьмы весело катящейся земле. Шубенка, обтерханная и косматая, была принесена, расстелена на лавке наподобие раскатанного желтого теста, Ленин лег на лавку, Надя стащила с него теплые боты и прикрыла ему ноги в теплых носках мохнатой бараньей полой, а бабенка села на пол у ног Нади, и тут Надя, при неверном, мечущемся красно-желтом пламени огарка, хорошенъко рассмотрела ее. Сквозь дыры исподней сорочки светилось худое тело, виднелись обвислые, как козье вымя, груди. Мелькал тяжелый, крупный медный крест — такие нательные кресты носили или дородные купцы, или лесные разбойники. Просто-олосая, и щеки ввалились, и сухая кожа обтянула скулы, и при повороте головы, в безумном ночном свете, то могильный бледный, серебряный череп глядел из тьмы, то молодой и озорной лик лихо, как мужик, хвативший домашнего вина целый стакан, только что оттанцевавшей на деревенской гулянке "барыню", бойкой и румянной девки. Отчего она спятила? И когда, теперь или года назад? И спятила ли? Может, безумец, безумка умнее нас всех?

Она не помнила, не понимала, кто первый начал беседу. Вроде бы никто и беседовать не собирался; у всех слипались глаза, все хотели спать. Надя даже забыла, что они совершили побег из усадьбы, и что за ними может быть снаряжена погоня, и что их найдут и накажут; ее глаза безотрывно

смотрели на колеблющееся в избяном мраке рыжее свечное пламя, и пламя это лизало ее тоску и слизывало ее, оно прогоняло любую тревогу, и прошлую и будущую, любую боль; рука и рука, крепко сжать, нежно переплести пальцы, и быть спокойной и счастливой, и знать, что тот, другой, рядом, счастлив и свободен, вот что главное. И пламя, это пламя. Как хорошо при свече! Никакая электрическая лампа со свечой не сравнится. С ее живой тревогой и живым, если ладонью коснуться, ожогом. Свеча, живой огонь. Никогда не умрет.

Вождь видел и слышал, и Надя тоже слышала и видела, и, если бы ее спросили: повтори! — она бы сейчас повторила все, до слова; но слова улетали и исчезали, и прилетали снова, как огненные птицы, и счастье тоже улетало вместе с ними, а взамен являлось мученье, его никто не просил приходить, но оно уже было тут, оно тряслось и мотало за плечи, оно запускало крючья пальцев под ребра и искало сердце, и находило, и крепко сжимало, — и сердце это снова была живая рука, и сердце — рука другая, и на самом деле они переплели, прижали друг к дружке не ладони, а бьющиеся сердца, а голос рядом, снизу, с рассохшегося, прогнившего пола, все доносился, то разгорался, то гас, то вспыхивал опять, и пламя бедного огарка разрасталось неимоверно и все заполоняло собой, а потом опять сжималось до размеров золотого обручального кольца на безымянном пальце Нади, а она и забыла про то, что у нее есть муж, забыла про усадьбу и работу, забыла про Москву и сына, забыла про мир, а раньше мир писали вот так, через букву і и с твердым знаком: МИРЪ, она сама именно так его еще так недавно в гимназических тетрадках скрипучим пером выводила, — и та, что была одною из нищих дочерей этого огромного яростного Mira, сидела перед ними на холодном полу, в виду громадной теплой русской печи, и всею собой, не только голосом и хрипом, изъясняла им всю свою жизнь.

Ты... крестьянка?

А кто ж? А то ж! Ясно дело, христвянка! Верую во Христа-Бога! А вы тута явилиси, не запылилиси, не спросилиси, жалаем ли мы вас али нет, да заслонили нам весь свет!

Да ведь рево...лю-ция... тебе же все... дала?

Дала, дала! Как бы не так! Все дала, эк куды ты загнул-от, дохтур! Не дала, дрянь она така, а отняла! Все тута красные знамены на палки вздели. С ими по улицам понеслиси. И зачали все стреляти! Стреляли, стреляли... добро бы в животину, хоща и я ё жаль тожа, животину... а прямо в людёв стреляли, им во лбы, в потроха... в серца! Што, ну што дала мне революцья твоя?! Слезы, слезыньки мои, вот што! Слезами я всю земличку умыла. И земличка солена вся стала, вот как я, грешна душа, ревела ревмя... У мяня тожа была семья! Сем'я я, одно слово, семеро нас всех было. Семеро, слышь! Вся моя семья выбита. Вся — выжжена, ровно же как пустырь! А за пустырем — лес да монастырь... и тама отпоють нас всех, вскорости, вить скоро мы все помрем... да, да, и ты, дохтурчик, соколик, не надейси, што вечно жити будешь! Што тако в самделе ета сама твоя революцья, я на своей шкурке узнала! Весь ённыи ужас спознала! Не-е-е-ет, теперича мене никто не омманеть, што слобода, што земля народу, и как ето тама все орали-то, как?.. мир людям, да, сплошной мир людям, войны не будет никакой боле, и всем, кто голодует, всем и каждому — корка хлеба! Хлеба кус голодному, ты слышишь!.. Навроде-б-то все верно. Золотые навроде слова! А што тако слова, не-е-е-т, я хорошо узнала! Слова, ето мусор площадной.

Слова, ето слюни, когда плюются и чертыхаются! Нет! Хужей! Все слова, што нам новы люди, кто зачал нову власть, с высот кричали-вопили, все — ложью оказались! Мужа мово, христвянина, стрельнули, а он пахать на поле шел, лошадь гнал, лошадушку нашу... в телеге плуг вез... так и его стрельнули, и лошадку застрелили, а кто?! я тому сама хотела зенки выцарапати! Он ране у нас в дяревне — урядником служил! Да каково стрельнул! В спину! Муж шел за телегой, а красный етот пес подкралси — и из винтовки меж лопаток мужу моёму лупанул! А я-то стояла у межи и все видала. Увидала и в межу упала. Вся землею попачкаласи. Рожей прямо в грязь! И землю кусаю, ем! И рвать мене, вырывает из мене все нутренности мои! А муж мой родный лежить, навзничь свалилси. Ликом в небеса глядить. А етот, красный сучонок, подбредать к лошадке нашей... и ей в ухо стрелять... Я встала на коленки, воплю ему с межи: зачем?! зачем?! А он мене в грязну рожу глядить нахально и так язычишкой частить, и ржет-смеется: ты, мол, контра церковна, и мужнишка твой контра, при церкве всю жизнью моталиси, то ты милостынку клянчила, то мужнишка твой с попышкой денежку делили! А муж мой... был до революции вашей говняной церковным старостой... и да, икон тута у нас в избе было множество, а иконостас каков... видали бы вы... золото аж на пол текло, воском с окладов капало... старинной, ешшо староверской...

Бо-женьки ника-ко-го нет...

А-хах! ты, дохтур, што, всурьев так считашь?.. нет... не-е-е-е-ет, есь... Есь Бог! Есь! И ныне, и присно, и вовеки веков, амень! И никто Ево с Ево небесного трона не скинеть! Не расстрелять... Это мы все тута, дурнопятые, можем бицца-стреляцца... а Он — надо смертью летить... И Он, Он видал, как моя дочушка малая, моя сама младшенька, от голоду — сгибаласи... вот тута, да, тута, на етой самой лавчонке... на какой ты щас валяешься, дохтуришка... А мои два старших сына — сами себя убили. Ну да! да! один красивый, другой за царя, вот и вся тебе красна заря! Повздорили крепко. Гневливо друг на дружечку орали. Глотки — надорвали... А посля один со стены охотничко ружжо отцово как сорветь... а другой — из кобуры — наган выхватыват... И прямо тут, в избе, друг в друженьку нацелилиси... и — жахнули... Я скотине корму в те поры задавала. Слыхаю из избы грохот. Бегу со всех ног! Дверь пред собой пихаю... и вваливаюси... и вижу... оба — в лужах красных — лежать... и кровушка-ти из-под их течеть, течеть... под ноженьки мене, под мои, все в навозе, сапоги... Я — ну растаскивати их, оживить пыталиси, перевязати ранушки, по щекам била, целовала... Господи Божечка, как же я их целовала!.. Будьто поцалуюшками теми можно было воскресити их, бедненьких моих... И что?! Што зыришь-то, будьто я вранье тута балакаю?! Правду я говорю! Чисту правду! Таку чисту, што ангелы на небеси плачут, глядя на таку Божью чистоту... Видал ты мать, у коей сыны в ее родной избе сами кончили друг друга?! Нет?! Так вот — гляди! Ето я и есь!

Тихо... тихо...

Што ты мяня останавливалашь?! Што жалаю, то и калякаю! А сестра моя, единокровна сестренушка, где она, спросишь?! А и нетути яё! Под пытки взяли яё в Чеку твою! Под ножи лягла, под кипяток! Пытали яё, допытывалиси, где у нас тут, в избенке, золотишко хранитси... в подполе, али в саде закрыто... али на сеновале, в сене заховано... Все перевернули, все штыками истыкали... не нашли — сестреночку забрали... А я тогда на рынок укатила — кольцо мое обручально с руки торговати; и не уследила, захапали яё, милашечку... Прихожу, мене соседушки вopять: беги да беги в Чеку, Федурка, там сеструху твою пытают, так кричить, болезна, што за озером

слыхать! Я понесласи. Землички под собой не чуяла... Подбегаю к Чеке етой проклятой, и верно, слышу такой истошной крик, што душенька моя из груди сама вся вынаетси... Волки, кричу, на крыльце взбегаю, в дверь пятками, кулаками колочу, волки вы хищны, дики, не люди вы!.. бросьте, киньте пытати сестреночку мою!.. Дверь не отворили мене. Я так весь белый день тама на крыльце и проваляласи... И лишь ввечеру... ввечеру дверь затрещала, и предо мной кинули тело... тельце сестренки моей, вместе с ей, миленькой, мы грудь нашей матки сосали... я ей рубашонки на локтях штопала... в лапту в саде играли...

В... лап... ту?

А иди ты, дохтур, в криво дышло! Я сестреночку мою под плечики подцепила... и так яё по улице широкой поволокла... а пяточки яё по земле волоклися... и все камнями изранилися, мертвые пяточки... А я все плакала, так уж плакала, не унять жгучих слезынек было, и все повторяла: потерпи, потерпи на мене, сестренушка, больно табе, верю, больненько, да скоро в избу придем, тама уж я табе обмою, обряжу... И дотащила! И обмыла всю, и грудку и животик! От крови отмыла! И обрядила! Как на праздник двунадесятый! Што глядишь круглыми зенками?! Што моргашь?! На лавке вот самой етой лежала она, а я на яё и монисто нарядно нацепила, на шейку ей лебедину надела. Лежить. Ровно спить. Солнце в окно вдарило — монисто как все играти зачало! Оно старо монисто было, ешшо маткино. Деньга серебряна, золота, меж монетов редки яхонты да речны перлы вшиты. А матка моя, спросишь, где?! Да догадайся сам, коли догадливай!

Не-до-га... да...

А ты, а ты догадайси! Выметнулиси из дяревни красны... явилиси белы. Белы поцарили чуток, убегли; снову явилиси красны. И, когда красны вдруго-рядъ явилиси, они к нам на двор пошто-то к первеньким заявилиси. Ну а как жа, мы жа у самой околицы. Дале только лес, поля... всё зимня земля... И то, осень тогды стояла, поздня осень, заморозки уж землицу подковали, и снега тверды, крупнитчаты посыпались из туч. Они, красны, всходить на крыльце. А матка моя стара, как назло, все на печи лежала-лежала, а тута с печи слезла да на двор из избы выкатилася — сучке нашей корку в миску кинути. Вот стоить матка с етою коркой в руке на крыльце... а тута конны подмахивають к воротам... а ворот-то уж и нет, ночью сорвали... и въезжають на двор прямехонько... и кто впереду у их на коне ихал, вынимать из чехла пистоль — и сперва сучку нашу стрелил, а посля — матку... Я в избе стряпала, у печи стояла; только визг собачий и услыхала. Выбегаю — а обе лежать... обе... Я воплю: маточка моя! старенька моя! на кого ж ты мяня бросила! в етом мире снежном, в етом мире лютом! Он, красный-то, собаке в бок попал, под ребра... а маточку мою — аккурат в лоб застрелил... Я уж себя посля тешила: если в лоб, промеж глаз, так и не мучиласи она, стало быть, особо долгонько... можа, и вовсе не мучиласи... и даже не сознала, што с ей тако люди вытворили...

Люди... люди...

Да! Люди! Люди, гады! Люди, черти! Люди, хуже чертей! Черти в аду — грешников за грехи наказывают; а люди людей тута, на земле, за што?! И кто все ето содеял с нами?! Кто — сотворил?! Ага! Знаю теперича, кто! Все знаю! не отвертесси! Ленин — вот кто! Ленин, гаденыш, приблуда! Царем захотел на земле стать! Да только царь-то ить от Господа Бога, а Ленин от сатаны! Ох, встретясь он мене на дороженьке моей, своими бы руками, да, да, вот етими, што землю век нюхали, на земле работали, задушила бы плюгавчика!

Надя выпрямилась и застыла. Ее глаза продолжали глядеть на бабу, сидящую на выскобленном дожелта полу, и не видели ничего. Она вся перелилась в свой слух, и только слышала, и ужасалась, и молчала.

Она дрожала. Все крепче сжимала руку вождя.

Дурочка подняла перед своим искривленным болью лицом два кулака, потрясла ими. В ночи, прорезанной языками бедного огня, грозила сильному, неведомому.

— Дрянь така, на царей руку поднял. Гореть яму в геенне огненнай!

Надя, дрожа, медленно перевела невидящий взгляд с дурочки на вождя.

Он почуял, поймал ее взгляд.

Его глаза бегали туда-сюда, будто он что-то тут такое драгоценное потерял, в этой голой страшной избе, и ищет взором, и не может найти, и руки его не шевелятся, и ноги не идут, и он опять беспомощно смотрит на Надю: помоги! отыщи, обнаружь!

Он поднял левую руку и прижал к уху. Надя поняла: он хотел заткнуть уши, не желал больше слышать этой кровавой, лютой исповеди.

— Ленин далеко. Он... важный начальник. — Она старалась говорить на дурочкином языке, чтобы ей было понятно. — До него... не доберешься. А многие, знаете, любят его. И уважают его.

— За што тако яво, змеючину таку, уважают?

— Он, — Надя глотала, а слюна исчезла, рот пересох, — указал нам всем, всему народу... путь к лучшей жизни... к счастью...

— Ко щастью! — люто передразнила речь Нади дурочка. — К какому такому щастью?! И где оно?! Укажи мене, где! И я туды — сломя башку помчуси! Не-е-е-е-ет! вместо щастья — кровушки нам вдосталь дал напицца! вот и щастье оно тута все! Ищи яво свищи!

— Он всей земле, — Надя думала: вот сейчас наклонится дурочка, во мраке за печью пошарит, и вынет под сполохи ночного пламени топор, и над ними занесет, она ловкая, она ухватистая крестьянка, рубить-колоть умеет, а что ей терять, у нее же всех убили, вот теперь и она сама убьет, убьет и не охнет, а они, как они смогут сопротивляться? да никак! только глаза растрещат! последнего взора последним огнем на лезвие топора уставятся! и ничего не смогут сделать за один миг! Смерть, это же миг, и только! Ничего не успеешь ни сделать, ни подумать! — ...всей земле... всей... свет показал!

Дурочка выпучила на Надю глаза. Волосы мотались у нее вдоль щек вьюжными прядями.

— Какой такой ешшо свет? Свет! Эка удумала! На ходу, девка, подметки рвешь! Это и я тебе свет могу показати! Вон! — Она тряхнула белыми волосами и насмешливо указала пальцем на бьющийся в брюхе печи огонь. — Рази ж то не свет? Ешшо какой свет! И светить! И грееть! Сказки все ето, про свет! Но клюнули людишки... клюнули на сказку дедкину... и пошли! Побрели... За етим вшивым кобелем побрели! За омманщиком!

— Вы его не знаете, — заледенелыми губами вымолвила Надя, — зачем так говорите?

— Задушила бы сучонка всё одно!

Дурочка сказала это твердо, непреложно.

Ленин мертвое смотрел в затянутый паутиной потолок.

С матицы упал на пол клок пыли и под дуновением тепла из печи пополз по полу, как мышь.

— А где у вас вся обстановка? столы, стулья? горшки?

Надя спросила так, чтобы перебить страшную речь, голос, хрипящий о не-возвратном.

Дурочка огляделась. Она напомнила сейчас Наде крыску, что выползла из дыры в подполе и озирается в безлюдной избе: ни хозяев, ни запасов, пыль и запустение, и чудом выживший после огненного лета, печальный сверчок на стене.

— Все посожгли.

— Кто?

— А красны и посожгли. В печке. Все мебеля посожгли. И все сундуки. И всю одёжу, што от бабок моих мене осталаси в придано. И все наследны иконы. А горшки поразбили все. Веселилися так. Выходили на двор и швыряли горшки глиняны об камень. А чугуны в колодце утопили. Етот, — кивнула на пашть печи, — со щами што, соседушка милости ради дала.

Надя слушала голос дурочки и глядела на Ильича.

Дурочка изловила ее взгляд, как ловят в воздухе шальную стрекозу.

— А ты што ето на няво так взирашь?! а?.. Так глядишь, дочка, будьто любишь яво, как... не человека, не-е-е-ет!.. как больнова кобеля... Ты так-то яво не люби! Не люби так! Он жа табе кто? тятя? вот и люби яво, как тятьку, а не как блуднова пса. Вылечицца он! Вылечицца! Не страдай! А не вылечицца — похоронишь! Вон, как я своих всех склонила! И ничаво! Живу, хлеб жую! Да и хлеб-то щас не жую! Забыли зубки хлебушек! Крапиву, лебеду — помнятъ! Знаютъ! Да брось ты трястиси, как в лихоманке! Мерзло? так подтоплю! Дрова есь, вон на дворе последний шкапенок разломатый! Ты на печи лягай, а я — на полу умощуси! мене на дощечках привычней! а ты гостьюшка, табе тепленько штобы надоть!

Надя вздрогнула, повела плечами. Она, и верно, замерзла.

— Давайте лучше я на полу. Мне не холодно.

— Да как жа не холодно, когда у табе зуб на зуб не попадать!

Бабенка, топоча по половицам босыми пятками, выбежала и быстро вернулась в избу, с охапкой дров в руках. Да и не настоящие дрова это были, а и правда растерзанный, расколотый на доски и дощечки старый шкап. Присела на корточки у печи, откинула чугунную дверцу; на дверце, Надя разглядела, была выкована античная квадрига, и богиня в колеснице стояла гордо, вздергивая кнут над спинами лошадей.

Дурочка напихала дров в печь, шваркнула спичкой, огонь занялся быстро — шкапные доски сухие были, в укрытии лежали, от дождей упаслись.

Пламя из печи наново озарило избу — и вовремя: огарок доторел, медленно потухал и наконец потух. Запахло воском, мылом и горелым свиным салом. Ленин, лежа на лавке, закрыл глаза. Потеплело, и сильнее запахло сырой овечьей шерстью. Надя подняла с пола пальто вождя и укрыла его.

Дурочка щурилась. Ладонью отбросила волосы со лба.

— А сама по полу-ти на чем лягешь? А, у тя польто тожа есь...

— Да. Есть. Сейчас печка растопится, прогорит, и станет тепло.

— Без тя знаю.

— Простите, если что не так.

— Бог простить. — Подумала немного. Брови свела в ниточку. — Бог-то простить, Он всех прощевать, а люди-то Яво простять али нет, за то, што Он со всеми нами исделал?

Обратилась лицом к печи. Перекрестилась на печь.

— Ека, ека я лукавлю! Да кто жа ето Господа поносить-то! я, я поношу! наказанья мене нету страшного! Господи! — Упала перед печью на колени. — Накажи жа Ты сам мяня! У жгут мокрай скрути! И выжми, выжми! Штобы с

мяня кровушка наземь капала! Штобы я сама-самесенька сполна все муки приняла, каки Ты послал, любезнай, всей семыишке моей!
Огонь горел, дрова трещали.

Дурочка вынесла из угла старую одежду, кинула перед Надей.

Надя расстелила на полу чужой зипун. Рукава разбросались по половицам. Зипун лежал перед нею внизу, как живой. Как чье-то выжатое, как тряпка, и распятое тело. Нет; как кожа, с кого-то живьем содранная, с мученика нового.

Он весь в пятнах крови. Воротник, рукава. Подол. Подкладка. В него она, дурочка, завернула свою убитую мать!

— Што головой-та трясеши, как бешена индюшка?.. ну тиха, тиха... успокойси... не надоть так... не надоть...

Она с трудом уловила, осознала, что дурочка обняла ее за плечи и судорожно гладит шершавой ладонью по растрепанной голове.

Смоляные волосы Нади давно вылезли из гладкой утренней прически, развились по спине.

— На-ка табе гребешок... вошек вычесши...

Дурочка совала ей в руку железный лошадиный гребень.

— У меня нет никаких вошек.

— Не серчай, ето я для посмеухи молвила. Утресь причешесси... а то растрепа, не хуже мене...

Огонь, рвущийся из печи, освещал мокрые щеки Нади, ее блестящие глаза, неподвижное лицо Ильича, лежащего на лавке неподвижно, с закрытыми глазами.

— А он што?.. можа, помёр уж?..

— Нет. Видите, дышит.

— Так он жа табе не отец!

Вещий вскрик дурочки хлестнул ее по лицу.

— Отец, — твердо, жестко сказала Надя.

Она отвернулась от Федуры. Быстро легла на расстеленный на полу, весь в засохшей крови, мертвый зипун.

Свернулась в клубок, как собака в морозы.

Она еще слышала, как возится и кряхтит дурочка, с трудом залезая на печь. Ее голову обняли горячие мысли, обвились вокруг ее лба, затылка и подожгли ее волосы, и она лежала в этом огненном венце, не в силах сорвать его, не в силах смириться со странной, как эта пустая изба при дороге, нежданной участью своею.

А почему эта несчастная бабенка дурочка? Она разумно рассуждает. Умная крестьянка, и так пострадала в революцию. Да в революцию все пострадали. Нет человека в России, который в революцию не пострадал.

Надя лежала, свернувшись в собачий клубок, на кровавой подстилке, у ног Ленина, рядом с лавкой, где он вытянул ноги, и впрямь как покойник; а она лежала у его ног и впрямь как собака, верная собака, свистни, и побежит, и запрыгает, и облизнет, и рядом побежит — на охоту, на прогулку и на смерть. Да, на смерть она тоже с ним пойдет! Мысли горели вокруг головы, и пламя заползло внутрь, под железный череп. Как холодно! Будто на дворе не осень, еще лиственная, ковровая, вчера еще золотая, а железный, в кандалах льда, каторжник-декабрь. Или лютый, расстрельный комиссар-февраль. С плетями поземок и ремнями ветров, навек валящими путника с ног. А они что, путники? Да. Путники. Надолго ли? Они не путники, а бег-

лецы. Они сбежали. Дрова в дурочкиной печи догорают. Надо бы еще подложить, да она уж спит на печи, храпит. А может, она для нас в печи последний шкап сожгла! для дорогих гостей!

Плохо топлена этой ночью печь. Дров мало. Дров нет. Самим им лечь в ту печь вместо дров? Иосиф говорил ей про Крым восемнадцатого года. Про киевскую Чрезвычайку девятнадцатого года. Про зверства в Тифлисе в году двадцатом. Вся кровь лилась вчера? Льется и сегодня. Все черепа разбивались кувалдами вчера? А нынче что, наступило все-таки оно, царство справедливости? И все благостно целуются на улицах, как в Пасху, а Пасхи нет, и Бога нет? Холодно. Холодно! Печь пустой, ледяной воздух не прогрела. Ее сердце не прогрело время, жалко бьется меж ребрами, хочет выпрыгнуть наружу. Ее сердце не вырезали из грудной клетки, ее мозг не вытек на камни мостовой из разбитой головы. Она жива. А могла из Царицына не вернуться. Ее не нашла казачья пуля, и топор ее не зарубил. Она не дрова. Нет, она не дрова! И ею нельзя растопить печь! А им — разве можно?

Им, великим Ильичом?

Она перевернулась на спину, выгнула спину, закинула руки за голову, потянулась, так сладко и беспечно, будто лежала не на ледяном полу в нищай избе, а на нежной травке на берегу летней Пахры. Летом она сопровождала Ильича в купальню. К началу августа он уже мог медленно ходить, подволакивая правую ногу, и даже улыбаться левым углом рта. Крупская водила его купаться. Когда-то, по словам его жены, он был отличным пловцом. Мог даже Волгу переплыть. Может, это вранье, легенды. Вождь пролетариата должен быть сильным и смелым. Отдых! Побег, это не отдых. Это быть все время настороже. Везде опасность. Надо срываться с места как можно скорее. Убегать отсюда. От этой бедной дурочки, Федурочки.

Она глядела на блестевшую, озаренную печным огнем лысину. Какой огромный череп. Какой огромный мозг. Он вмещает все: прошлое, будущее, кровь, ужас, великую волю.

Да что это за холод, что, на дворе уже снег пошел, что ли?! Не согреться. Не унять дрожь. Хоть руки в печку суй и там, над огнем, грей! Да что там: грей внутри огня. Огонь твою плоть сожжет! И пускай. Лишь бы душу не спалил.

Она подползла ближе к лавке. Ленин лежал тихо, не сопел, не хрюпал. Дышал ровно и спокойно. Свободно. Может, он уже свободен? А в оковах только она? В оковах вины. В кандалах ее преступления. Где они? Может, они вернулись в прошлое, и они оба крестьяне, и завтра утром рано вставать, задать корму скотине, погрузить плуг на подводу и отправиться на пашню, ведь надо успеть с осенней вспашкой до первых холодов, до заморозков. Если земля замерзнет, ее уже не вспашешь. Пашут только по живому; по теплому, по горячему. По кровавому.

Она вздела руку, нашла на лавке его руку и опять, как все это время, когда они убежали из усадьбы и бежали, и шли пешком, и ехали, и пребывали в чужой избе, взяла его руку в свою. Она это шептала, или это шептала дурочка с печи, бредила во сне, или это шептал резкий холодный ветер за окном, он гнул голые деревья и шуршал палой листвою по твердой, как огромный черный череп под седыми волосами старых трав, тревожной тоскливой земле?

— Отец... отец, слышите... Владимир Ильич... Новый год мы с вами встретим на юге... Я увезу вас на Кавказ... в Тифлис... там — счастье... там тепло, гранаты, мандарины... Там вам полегчает... Слышите, мы доберемся до Тифлиса... Юг пригреет нас... вам не нужна больше ваша страна... она... она вас измучила... она вам — голову кувалдой разбила... но я голову вам

склею, подлечу... вы будете опять думать, говорить, писать... вы — воскresнете... я воскрешу вас... воскрешу...

Она сама не знала, что бормотала.

— И если вас убьют... расстреляют!.. зарежут, повесят, разрубят на кусочки... я по кусочкам вас всего склею... соединю... вдуну жизнь в вас... воскрешу... Вы это знайте, я... воскрешу... поэтому смерти не бойтесь... а что ее бояться... она же просто тьфу... гниль... а вы умрете и воскresнете... я — воскрешу... я одна...

Из руки в руку перетекал счастливый ток великого тепла.

Надя держала Ильича за руку, пока у нее рука не затекла.

Но она все не отнимала своей руки, все сжимала руку вождя в своей руке. Руки склеились намертво, и Надя молча смеялась: по ее руке, от кисти до плеча, бежали щекотные мурашки, и рука немела, и уже ничего не чувствовала, зато сердце начинало чувствовать все больше и больше — и ночь за окном, и близкий страшный, стеной идущий красный снег, и красную зарю в полнеба, от нее не ускакать ни на коне, ни отъехать на свежем новейшем моторе, и сумасшедший гнев Иосифа, и круглые потрясенные глаза Крупской, и людское море голов в зале суда, и холод царицынского револьвера в руке, и цвиканье и свиристенье последних, перелетных птиц, и черную нищую, без зерен, пашню, и сухую траву, крутивую сиротским ветром, и всю эту землю, у которой было имя, и вот имя отняли, и обозвали по-другому, а она днем закрывает себе старый безумный лик красным знаменем и кричит из-под алои ткани: меня теперь вот как зовут! не перепутай, народ! — а ночами сдирает себя кусок красной тряпки и хохочет, и скалится, и слезы стекают из ее слепых от боли глаз в ее беззубый, дурочки деревенской, голодный рот. И хохочет, и пьяно шепчет она: ты, народ, не слушай никого из этих твоих владык, и вождя не слушай, они все постояльцы, они пришли и уйдут, а я, я останусь. И имя мое...

Ночь сама разорвала их руки. Надина омертвевшая рука упала рядом с нею самой на штапель испятнанной чужой кровью подкладки зипуна. Ее собственное пальто убитой безголовой, безрукой и безногой девчонкой валялось рядом. Надя уже спала. Она сжимала руку вождя до последнего мига, когда еще думала и ощущала. Потом сон укрыл ее от маковки до пят, и во сне она так и не вспомнила настоящее имя своей родной земли.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Утро в избе безумной Федуры. — Ленин хочет покаяться в содеянном. — Трудный разговор Нади и красного вождя о правде и смерти. — Доблестные красноармейцы обнаруживают Ленина и Надю в избе Федуры. — Арест Нади и бесславное возвращение Нади и больного Ленина в красную усадьбу.

Уже под утро вождь открыл глаза.

В подслеповатое, косое окно лилось кислое молоко осеннего рассвета.

Его пальто ночью сползло с его тела и завалилось под лавку.

Лежал в расстегнутом пиджаке, грудь под душегреем медленно подымалась.

Он заговорил.

Это было так в первый раз, что он вдохнул воздух и стал выдыхать его словами, и говорил так долго, с трудом, запинаясь, то громко, то тихо бормоча, косноязычно, но разобрать можно, — после того, как его полгода назад разбил весенний удар.

Надя проснулась немедленно. Ее зрачки слепо двигались внутри молочной полутишины. Потом глаза привыкли к сумраку, и она стала слышать голос. Привстала на полу. Сидела, рукой опервшись о половицу. Потом встала, подняла с пола свое пальто, накрыла им Ильича, подоткнула рукава ему под бока, чтобы теплее было ему, села на пол, как дурочка этой ночью, — и слушала.

Лохматая пола старой дурочки шубешки свисала с лавки до полу. Левая рука Ленина, его живые пальцы, возили по кольцам овечьей шерсти, щипали и дергали белые кудрявые пряди.

— Ост-ров... видел во сне остров... Холод-ное мо-ре... холодно... волны... Берег... на бе-ре-гу стоят... лю-ди... лю... ди!.. в одном белье... и все бо-ро-датые... все... свя-щен-ни-ки... а может, и не только... один боро-датый кричит... поги-бать бу-дем, братие!.. погибать... молитву читай... а у них руки свя-зы-ны... один кри... кричит... креститесь мысленно!.. мыс... ленно... ах...

Он втянул в себя воздух и захлебнулся. И закашлялся.

Надя вытерла ему губы и усы не платком — голою рукой.

Он смотрел в потолок. Потом закрыл глаза.

— Вот вам... ваш Бог!.. Ваш... вот Он! Вы... мелкие бу-кашки... лю-дишки... лю-буйтесь на Него!.. Что?!.. Что?!.. — Руки и ноги его стали дергаться. — Не видите Его?! Врете!.. ви-ди-те!.. Каков Он! Ваш Боженька!.. Хорош!.. Не спас вас! Нет!.. не спас!.. не... спас... хоть вы и про-си-ли... Про-сить... на-до лучше... горячее... к стопам — при-падать...

Он подтянул к лицу левую руку. Пытался схватить себя за бороденку.

— Где же ваша... ваша!.. ман-на небес-ная?! а? где? где?!.. где...

На печи завозилась дурочка.

— Владимир Ильич... хозяику разбудили... рано еще очень... спите...

У больного из-под усов, из криво раскрытоого, гневного рта слова рвались, трещали, как раздираемое надвое полотнище.

— Где?! где... где... Нету ни-ка-кой манны небесной! Нет никакого Бо-жень-ки!.. нет и не было!.. и не будет ни-ког-да!.. слышите!.. ни-ког-да...

Она решила соглашаться с ним во всем.

— Да, да... никогда...

Он дергал головой. Из угла его рта текла по бороде слюна.

— Ага!.. вы-ку-си-те!.. вас сейчас рас-стреля... ют... и — делу конец... ко-нец вам всем!.. Конец тебе, ста... старый мир! Хватит тебя лелеять!.. до-вольно!.. довольно ты... поцар...

— Тихо, тихо...

— Поцар-ство... вал... теперь — мы...

— Да, да, мы...

Надя поцеловала его мокрый, опять горячий лоб.

— Мо-ре... холодное!.. да рас-стрелять их всех... никчемных попишек... и — уто-пить... пить... пить... пусть как бревна... пла-вают...

— Да... плавают...

И тут произошло неожиданное. Ленин повернул голову и, глядя мимо Нади, на угол плохо и давно беленой печи, хрюплю выдавил:

— Хочу... пока-яться...

Надя сначала не поняла ничего.

— Что, что хотите? — Покосилась на печь. — Отец...

Он, не поворачивая голову, прижимаясь щекой к лохматому меху шубешки, скосил на Надю глаза. Она изумилась ясности и горечи взгляда. А еще то-му, что глаза Ленина стали гораздо меньше, чем обычно, странно малень-

кими, крошечными стали: будто вкатились под огромный лоб, глубоко внутрь огромного черепа ушли.

— Покаяться, — связно и быстро, как до удара, выдохнул он.

— Покаяться? В чем?

Но она уже хорошо поняла, в чем дело.

Какое чувство мучит его.

Левая рука вождя жестоко, желая вырвать ее из мездры с корнем, щипала овечью шерсть.

— В том, что я... сде-лал.

— А что вы сделали... отец?

Ленин силился встать. Оторвать голову от лавки.

Но Надя не помогала ему это сделать.

Она во все глаза глядела на него. Ему в лицо.

— Я... вино-ват... виноват!.. я все перевернул... но это я...

Она не шевелилась.

— Отом... отом... отомс... — Выговорил наконец. — Ото-мс-тил!

— Кому? — беззвучно спросили Надины губы.

— Думаете... царю?.. за то, что... брата... пове-сил?.. нет... — Он протянул это "нет", как давеча тянула дурочка. — Не-е-е-е-ет... нет-нет... царь... это вче-рашний день... тыфу на него... он, по сути... безвреден был... мы его убили... просто для... острастки... нет... месть — не ему... а...

Резко, шумно втянул ноздрями душный, кислый воздух избы.

— На... На...

Он повторял это так, будто что-то такое Наде протягивал, конфету, шоколадку, ее полакомить, побаловать, — но она уже угадала слово, и колючий дикий мороз процарапал когтями ее бедную, под всеми английскими шерстями потную спину.

— На... роду...

На роду, на роду написано, успокаивала, утешала себя она, это просто он хотел сказать, что ему это деяние, революция, на роду было написано, и вот он его осуществил, произвел на свет, смастерили, — но ложь самой себе моталась на утреннем заоконном ветру слабой и жалкой, этой лжи она не верила сама, она прекрасно все поняла: он хотел сказать и сказал — народа.

И, словно нарочно, чтобы она лучше поняла, единственno и непреложно, повторил:

— Народу!.. на-ро-ду...

— За что же? — неслышно спросила она.

И то, что он сказал в ответ, она не ожидала услышать.

— За то, что он... есть... просто — есть... он — ужасен... грязен... велик... страшен... мурлыки... муры-лыки... наползут и — съедят... съе... съе...

Она не ожидала — так быстро, крепко и цепко, он, всем телом дернувшись, схватил ее живою рукой за руку.

— Съедят! и косточки схрупают! Живого места... не оставят!.. а только — мокрое...

Так крепко сжимал ее руку, что Надя заплакала.

— Или мы — его... или он — нас...

Усы топорщились. Большой рот кривился в муке.

— Лучше мы — его!

Надя с трудом заставила себя согласно наклонить голову.

И тут же вскинула ее. Один вопрос мучил ее.

И она задала его — ему.

— Так перед кем же... отец... вы хотите покаяться?

Кривой рот под рыже-седыми усами внезапно криво, дико улыбнулся. Рот смеялся над ее непониманием. Над глупостью и тупостью ее смеялся.

— А вот перед ним!.. пе-ред... на-ро-дом...

— Что, выйти на Красную площадь? перед Кремлем? на булыжную мостовую? И что? Бить себя в грудь? Упасть... — Она ужасалась себе, но все равно выговаривала это, дерзкое и дикое. — На колени? Биться лбом о булыжник? Кричать: прости меня, прости, мой народ?!

Она едва не кричала. Так ей казалось.

На самом деле она говорила тихо, но очень отчетливо.

Говорила, как сухо, четко печатала на "Ундервуде". Впечатывала слова ему прямо в мозг.

— Да я... да я — и хотел так... вот именно так...

Свободной рукой она пригладила растрепанные в ночи волосы. Шпильки выпали из пучка и закатились куда-то — под лавку, в щели меж половицами.

— Когда?..

— Дав-но... дав-но... я хотел... меня — схватили... и в усадьбу, в усадьбу увезли... насилино... я в усадьбу — не хотел... не... хотел...

Опять вскинулся всем телом. Встать с лавки хотел — Надя видела это.

Но она будто застыла, ледяная площадная, в веселое убитое Рождество, фигура.

— Я уже... на площадь из Кремля вышел... вы — ничего не знаете... я — вышел... я — руки раскинул... меня уз-нали... лю-ди уз-на-ли... ко мне побе-жали... ринулись... окружили меня... как... как — волка... на... охоте!.. я плакал!.. пла-кал... я редко пла-чу... я — никогда не пла-чу... а тут — плакал... я!.. упал на колени... у... у... у трех до-рог!.. куда идти?!.. а черт его знает, куда!.. мы пришли!.. а вокруг — чертов этот народ!.. толпится... гогочет!.. скалится... он — больной... вы думаете, я болен?! я?! он — болен! он! а больных крыс сжигают!.. а больных собак — стреляют!.. а больных душой, ду... шой... знаете, куда отправляют?!.. знаете?!.. нет?! а я — знаю!.. Я... все знаю!.. И они... догадались... ко мне — под-бе-жали... схватили... а народ — стоял... и смотрел... смотрел!.. на меня!.. как меня, вождя... волокут... насилино!.. обратно в Кремль — дру-гие лю-ди... люди... люди!.. Люди!.. что вы сделали — со мной!.. Мой про-клятый народ... что ты сделал — со мной!.. Чудовищно!.. это чудо-вищно... это в голове не уклады... вается... Наденька...

Она услышала свое нежное имя и вздрогнула, и против воли быстро наклонилась и опять поцеловала его в пылающий громадный, как луна в ночи, лоб.

— Они меня волокут... эти... кремлевские... со-ратники... или солдаты... это одно и то же... все мы солда-ты... а народ ржет как... конь!.. пальцами на меня показывает... на-род... проклятье! я бы всех их там — на пло-щади — из пулемета приказал по-ко-сить!.. и я кричал: рас-стрелять!.. рас-стрелять!.. а тут врач бежит... проклятый врач... в белой ша... почке... пульс щупает мой... И вдруг... вдруг...

Весь, как большая, багром прибитая рыба, изгибался на широкой, плохо оструганной лавке.

— Все!.. замолча-ли...

Надина рука посинела. Ленин все сильнее сжимал пальцы левой руки. Она хотела вырвать руку — и не смогла.

— Молчат... Стоят... И мол-чат...

Птица села на карниз и клюнула стекло.

В избе стук отдался резко, громко.

Надя испугалась, что стекло треснуло.

Нет. Цело осталось.

— И вдруг один... один!.. один!.. из целой толпы!.. из все-го на-ро-да!..
крикнул: да здра... да здра...

Ему трудно было сразу целиком произнести это слово.

Но он поднатужился и все равно вытолкнул его из себя.

— Да-здрав-ству-ет Ле-нин!

— Да здравствует Ленин, — повторила за ним Надя.

Просто ничего другого она сказать сейчас не могла.

Он разжал пальцы и выпустил, как полумертвую птицу, ее затекшую руку.

На печи хранилось молчание.

Надя потрясла в воздухе бесчувственной рукой, наклонилась и подтащила
вверх, к деревянной плахе лавки, упавшую на пол мохнатую полу шубенки.

Надо было срочно сменить безумные слова на умные. Поменять мысли, по-
менять весь разговор. По-иному направить его, в другой канал с гранитны-
ми берегами.

— Отец!.. хотите пить? Я принесу.

Ленин глядел непонимающе.

— Пить?..

— А хотите, — она быстро и ярко покраснела, щеками и шеей, — по нужде?
Я помогу. Встанем, выйдем во двор! уже рассвет...

Ленин тоскливо покосился в слепое грязное окно.

— Рассвет...

— Скоро солнце взойдет.

— Солн-це...

Он смотрел в окно, как мужики, выпившие четверть до дна, тоскливо глядят
в мутное стекло пустой бутыли.

— Хотите?

Ей было стыдно, но тут уж ничего не поделать было.

— Нет... пока — нет...

Ей стало легче и еще стыднее.

— Ну... хорошо... позже...

И тут он, в рассветной мутной, самогонной тишине, спросил ее такое, со-
всем уж нежданное, на что отвечать было нельзя, и не ответить тоже было
нельзя.

— Наденька... а вот вы... такая мо-ло-дая, краси-вая... вы — боитесь у-ме-
реть?

Она сделала вид, что не рассышала. Растрелянно глянула в угол, потом на
печную заслонку с богиней и квадригой, потом опять на него.

— Что, что?

— Вы бои-тесь смерти?

Что ему отвечать, думала она быстро и сердито, об этом с такими больными
не говорят, они слишком рядом бродят со смертью, да разве только они, мы
теперь, в революцию, слишком рядом с нею все ходим, да революция же
закончилась, нет, не-е-е-ет, она не закончилась, и не закончится никогда,
и всегда будет страшно и опасно в стране, да и во всем мире, революция
это война, мы теперь слишком хорошо это знаем, а война это всегда смерть,
причем никто не знает, ты умираешь как герой или как подлец, а смерти,
однако, все равно, кто ты такой, она всех своими граблями сгребает в один
черный стог, и ни травинки из него уже не возвращается на живые поля, ни

цветка, ни былинки, и что, она сейчас должна ведь что-то ему говорить, он же ждет, а она чего-то разве ждет, она уже ничего не ждет, все предопределено, ее муж хочет власти, взять власть после вождя, она это видит, стать новым вождем, да это же видит не только она, стать вождем лучше, чем прежний, это значит крепче, жесточе, умнее, хитрее, он хочет стать гораздо сильнее Ленина, хотя все вокруг считают, сильнее Ленина быть невозможно, он же одной рукой перевернул Россию, одной или двумя, а может, и не он один, а просто так удачно сложилось, эта война, робкий царь, народный гул, течение реки рук и голов на улицах, на площадях, мир стал черным и белым, и эту фильму надо было сделать цветной, надо было залить мигающую слепую черную пленку яркой кровью, чтобы все видели, поняли: не фильма, а жизнь настоящая! и главное, смерть настоящая! а смерть всегда настоящая! это жизнь может быть фантазией, дамскими ахами, маханьем веера! карточной игрой! залитым воском подсвечником близ пюпитра фортельяно! гудком паровоза! золотыми погонами! и вот этого ничего нет! ничего этого нет, а смерть есть! а он, он ждет смерти! и ждет, что она, беглянка, слабая глупая девчонка, не умнее дурочки этой деревенской, сейчас ему — все о смерти так и выскажет, как на духу! а что надо ей сказать? что она тоже боится? что страшится и трепещет? что в постель не ложится без мыслей о смерти грядущей? а молиться нельзя, ведь Бога убили, его расстреляли, там, на холодном морском берегу, в виду угрюмых серых волн, в виду пустой баржи, где на дне железного клепаного трюма впоялку, мерзлыми дровами, лежат трупы, это людей, пока плыли, залили из шлангов ледяной водою, и они застыли, замерзли в смертную льдину свою, и у многих рты в крике застыли, сквозь прозрачный лед видно, как навек, разевая рты и показывая в оскале зубы, люди кричат, и иереи телешом на берегу стоят, в исподнем, в исподних портках и белых, до колен, рубахах, их сейчас будут убивать, и ониглядят в лицо смерти, вот их спросить надо, их, боятся ли они ее?! боятся ли?! проклинают ли?! а может, благословляют, ведь сейчас навек отмучатся они?!

— Я?.. я...

Его глаза внезапно стали большими и властными, вылезли из орбит, обезумели и стали быстро, как два пушечных ядра, падать на нее.

— Я...

Делать было нечего. Эта правда была у всех людей одна.

— Да! Боюсь.

На глаза наползли красные вспухшие веки. Глаза перестали падать на нее. Не поранили, не взорвали ее. Он услышал эту единственную правду и, кажется, выдохнул свободно и спокойно; он был доволен и успокоен ее чистосердечным признанием.

— И я... тоже... знаете... боюсь. Еще как... боюсь...

— Ничего, ничего... — Надя поправляла ему воротник душегреи,правляла на груди шерстяную жилетку. — Ничего, ничего!.. это так надо. Знаете, если бы человек не чувствовал боли, он бы... не знал, что вот ранило его... И, если б он не боялся смерти, он бы... — Она сделала жалкую попытку улыбнуться. — Не стал героем! Кто идет на смерть во имя великой идеи, тоже ведь боится смерти! Однако он совершает геройский поступок! Спасает свой отряд, свой полк... спасает святыню... спасает ребенка... или... — Она задыхалась и так же, как он, с трудом говорила, выковыривала слова из груди. — Спасает целую страну!

— Да, да...

Теперь он во всем соглашался с ней.

— Вот вы — спасли!

Провалившиеся внутрь черепа маленькие глазки опять тускло загорелись.

— Я?.. спас?.. от чего?..

— От верной смерти!

Надо было быть жесткой и правдивой, но и солгать умело тоже надо было.

— От... смер-ти?..

— Да! От смерти! Это вы... отец... спасли нашу родину от смерти! Когда она гибла под пятой ненавистного царского режима! Это вы, вы спасли ее от полчищ Антанты! И спасли ее от гибели под пулями Белой Гвардии! Если бы белые победили, нас бы с вами сейчас не было! И Союза советских... — Она сморщила лоб и оскалилась в тяжелой, натужной улыбке. — Социалистических республик... тоже бы не было! Мы все сейчас идем к новой жизни, прочь от смерти! И это сделали вы! Вы!

Ленин тихо взял ее руку, лежавшую у него на груди, на цветном узоре жилетки. Нежно, осторожно и печально пожал.

— Хватит врать, — тихо и нежно сказал он.

Ее изнутри будто обили ледяной водой.

Изнутри и снаружи.

Воду ту — из того серого ледяного, угрюмого моря — матросским ведром зачерпнули.

И она лежала на дне угрюмой баржи, рабским бревном лежала, рядом с тысячами заживо замерзающих, и вмерзала в лед, и знала: никто не расколет лед пешней, никто не отроет, не вынет изо льда, не откопает, — не вспомнит. Имя ее не вспомнит.

— Мне?.. но я не...

— Хватит врать, — с силой, внятно, как здоровый, повторил вождь, — что вы все врете, какая новая жизнь. — Дышал хрипло, в груди у него будто голыши перекатывались и шуршали. — Новая смерть — это да.

По лицу Нади потек пот.

И даже он не мог растопить лед, в который она вмерзала все крепче, все невозвратней.

— Отец... — Она пригнулась к нему. Ее дыхание отдувало ему торчащий седой волос бороды. Текущий по лицу жаркий пот превратился в слезы. — Владимир Ильич... Давайте... — Слезы у нее полились быстрее. — Вернемся...

— Нет.... Не-е-е-е-ет!..

Улыбка, страшная, торжествующая, взошла на его синюшные губы.

— Не для этого мы с вами у-бе... гали!

— Вы... так свободы хотите?.. но ее же... — Она зажмурилась. — Нет...

— Нет?.. не-е-е-ет!.. Ах так, говорите, матушка... свободы, значит, не-е-е-е-ет?!.. ах, ах... какая... жа-лость... как... жал-ко...

Стояла ледяная тишина. Ни ветра. Ни скрипа. Ни вздоха.

И в этой тишине далеко, на краю света, в бледно-зеленой пахте ледяного рассвета, в нищем дурочкином дворе, раздался визг открываемых ворот, стук сапог, людской сердитый говор. Сапоги простучали по крыльцу, дверь толкнули, грубо, с грохотом, наверное, ногой, тут никогда не запиралось, люди вошли в избу и шли уже, грохоча сапогами, по сеням.

Надины глаза округлились по-совиному, остановились, не моргали. Замерзали быстро, как два осенних озера, когда вдруг ударит и затрещит диковинный мороз. Большой тоже услышал близкий стук и грохот. Понял ли он?

Надя, сидя на полу, плача, закрыла глаза рукой.

Она не хотела видеть тех, кто сейчас войдет сюда.

Люди не вошли — вбежали. Кто из них заорал первый? Но кто-то был точно первый, а за ним закричали все. Хор криков чуть не разломил надвое ветхую матицу.

Она так и сидела — с заслоненными ладонью глазами. Не двигалась.

С печи тяжело свалилась, сползла на пол дурочка. Она старым, всепонимающим, измятым постоянным страданием лицом обернулась к ворвавшимся в ее избу.

Солдат подскочил и оторвал руку Нади от ее лба.

— Ах ты! — Зашелся в крике. — Какова гадина! Увела! Украла!

В избе толкались и орали по меньшей мере десятеро военных. Кто в будёновках, кто в фуражках с синими околодышами. Люди бегали по избе, как тараканы, заглядывали во все углы.

— Пусто! Никого!

— А это кто же?! Вот, старуха!

— Ах ты старая метелка! Ты знаешь, кто это у тебя в избе — на лавке лежит?!

— Дура совсем!

— Да не дура, а все прекрасно знала! Ленина теперь каждая собака знает!

— Товарищи! Хватай вождя! Несем в машину!

— А эту... этих — под трибунал?

— А куда ж еще!

— Баб под трибунал не толкают!

— Этого мы не знаем! узнать надо!

— Узнают за тебя!

Дурочка смотрела на солдат белыми безумными глазами, и в них, слезящимися, густо засыпанных солью и болью, светилась вся последняя мудрость земли.

— Старую дрянь — бей! пули не пожалей!

Надя не видела, как на дурочку наводят ствол винтовки, слышала только выстрел, гулко отдавшийся во всех голых углах избы.

Убили, вот и все, убили, отмучилась она, а со мной что же возятся? что медлят? я-то ведь тоже пули стою? или не стою? они кричат про трибунал, да ведь трибунал только на войне, и только для военных? мы все тут, при вожде, выходит так, военные? нам приказали его блюсти и сторожить, а я не устерегла?! я — волю его не устерегла? свободу его не устерегла? жизнь его, так выходит, не устерегла, а мне жизнь его поручили? глупо! мне поручили — записывать за ним его мысли! его драгоценные, на вес золота, мысли! меня приставили к нему — на пишмашинке печатать! его мысли перепечатывать! мысли, мысли... беречь мозг его дорогой, драгоценный, для всей страны дорогой, для мира всего...

К ней подскочили, напялили на нее пальто и шляпку; ей за спиной скрутили руки. Обмотали запястья чем-то холодным и толстым; ей показалось — корабельным канатом. Она посмотрела на лавку. Лежащего Ленина закрыли от нее колышущиеся, вздрагивающие спины солдат. Потом она увидела, как его, ухватив под плечи и под спину, взявши за ноги, подперев его со всех сторон плечами и ладонями, несут к двери и выносят вон из избы, и она подумала: так несут гроб.

Ее стали зло толкать в спину, под лопатки и в шею, и в зад ударили прикладом, гнали, выгоняли отсюда. Навсегда. Она, спотыкаясь, прошла мимо убитой Федуры. Не успела рассмотреть ее мертвого морщинистого лица. Успела поймать глазами — и запомнить — лишь угольно-черный, с медными корявыми бликами по битым молотком бокам, кормилец-чугун в безмолвно орущем зеве печи.

"Мы не доели крапивные щи... не доели..."

Ее вытурили во двор. У избы стояли пять моторов. Надя видела: Ленина внесли в самый большой, вместительный мотор. Когда его укладывали на сиденье, она увидела его ноги в вязаных теплых носках, без бот; боты почтительно нес сзади молоденький солдат. Хлопнула дверца, ее опять толкнули в спину, она чуть не упала.

— Шевели ногами!

— Стоп, стоп, товарищ, потише, это ведь знаешь кто?

— Не знаю и знать не хочу! Стерва, контра! Извести вождя желала!

— Это супруга...

Тишина густо, быстро смешалась с чужим шепотом и чужими аханьями и возгласами. Надя поняла: солдаты шепотом, на ухо друг другу передавали имя ее мужа.

— Садись! Живей!

Она низко нагнулась и юркнула в авто.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Арестованную Надю привозят в усадьбу и заталкивают в темную кладовую, до решения ее дальнейшей судьбы. — Надя, в темноте, ощупывает все вокруг себя, как слепая. — Вспоминает, как музыкант играл в усадьбе страшную музыку и целовал Наде руку. — Погибший разговор музыканта и Нади о войне и мире. — Жена красного вождя Крупская приносит несчастной Наде в кладовую обед в судках; потом из жалости приносит хлеб и копченую колбасу. — Надя забывается тяжелым сном. — Мрачные мысли Нади о ее наказании за ее проступок и о будущей собственной казни. — Приезжает Stalin; в ярости поднимает руку на жену. — Надя просит позвать ей доктора.

Пока ехали в усадьбу, она еще и еще раз прокручивала, как ленту с плохой фильмой в кинескопе, все, что случилось за эти сутки. Разве могут сутки вместить целую жизнь? Выходило так, что могут. И она могла сейчас думать обо всем произошедшем, как о чем-то, что было не с ней, и не с Ильичом, а будто бы с кем-то другим, посторонним и неизвестным, и никогда их имен ни она, ни вождь не узнают. А ведь это были они, настоящие они, они могли бы в этом тысячу раз поклясться, — и что? Вот их везут в усадьбу на моторах, а разве это правда? И усадьба — разве родной дом? Это тоже чужой дом, который то ли приснился, то ли другие в нем от века живут, не они. А может, они стали дети, просто дети на рождественской елке, просто дети, что вчера жили и лечились в усадьбе, и Ильич сейчас навернется из бумаги игрушек и развесит по веткам, и свечки на иглы налепит, и сядет под елку, и хлопнет в ладоши, и детишек к себе позовет, и они будут подходить к нему, больные, худые, робкие, кашляющие, хромые,увечные, кто с волчьей пастью, кто с заячьей губой, кто хорошенекий как ангелочек, да ведь ангелочеков уже нет, и Рождества нет, и Бога нет, — а вот елка есть! А Ильич под ней здоровенекий сидит!

Моторы подбрасывало на дорожных кочках, они грохотали по подмерзшей грязи, утром уже схватывал землю и деревья настоящий мороз, нет, за окном авто все было настояще, как же можно было этому не поверить, и Надя глядела в запыленное стекло машинной дверцы — и верила, верила.

Нет, веру не убьешь. Выдуманного Бога убили и растоптали, но осталась настоящая жизнь. Вот в нее и надлежало верить. И поклоняться ее настоящим людям; даже если эти люди везли тебя, безропотного, на смерть, и, поставив одного — под ветром на юру, в серой безглазой камере, в клепаном, воняющем блевотиной трюме, — по-настоящему, сурово и непреложно убивали.

Разве убийство — это наслаждение? Разве, убивая, можно наслаждаться и радоваться?

Враги, они враги, она враг. Кто — враги? Ленин — враг? Кому? Стране? Народу? Сам себе враг? Нет, это она ему — враг. Она все перепутала. Вот эти солдаты — их общие враги. Они их привезут в усадьбу и убьют. Без суда и следствия. Надо попросить Иосифу отбить телеграмму!

Ноги спотыкались, когда поднимались по лестнице. Глаза спотыкались, бегая по лицам, плечам, оскалам, спинам. Щупали знакомую обстановку усадьбы, и не узнавали, глаза растерялись, все было слишком торжественно и слишком незнакомо, а когда вели по коридору, вдруг все стало слишком бедным, жалким, и захотелось заплакать и оплакать то, что здесь когда-то было и сверкало. Глаза, вы что-то не то увидали! Куда тебя привезли, бедное тело? Куда бросили? И как тебя зовут, как зовут вас, ребра и ладони, лоб и волосы? Лицо, в тебя глядят презрительно, будто ты лицо людоеда. М всего лишь хотели свободы! Свободы!

А ее нет, свободы, нет и не было.

Свобода — только сказка для детей под елкой. Только миф для транспарантов на Красной площади: завтра праздник Советской страны, и поди быстренько нарисуй на красной широкой, как река, ткани белый лозунг: "НАШ ПАРОВОЗ ВПЕРЕД ЛЕТИ В КОММУНЕ ОСТАНОВКА". Эти, с этим лозунгом, справа пойдут! А для левых — тоже, давай, трудись, малой! А какие слова-то малевать?! Да все эти же! Уж наизусть заучить давно надо! В зубах навязли! "ИНОГО НЕТ У НАС ПУТИ В РУКАХ У НАС ВИНТОВКА!"

Ее вели по коридору, и коридорные стены глядели на нее живыми глазами, тысячью глаз, и шкатуны выпячивали деревянные животы, и стулья тянули к ней возмущенные спинки, а кресла — пухлые подлокотники, все хотели ее толкнуть, схватить, свалить, унизить, ударить, — и вдруг из-за одной распахнутой двери донесся забытый крик попугая: "Кар-рамба! Кар-рамба!" Это из детской книжки, подумала она, и я ребенок, — и ей стало страшно, будто казнь уже близко. Я уже дитя, и меня тешат напоследок тем, что дети любят. О чем они мечтают. О дальних странах? О морских путешествиях? О странном цветном тумане, о жирафах в джунглях? Расстреляют меня, сухими губами твердила она себе очень тихо, чтобы никто не слышал, расстреляют сегодня, а может, завтра, еще день пожить дадут.

Ее грубо схватили за локоть, остановили. Она стояла, почти упираясь лбом и грудью в маленькую, низкую дверь. Это дверь в смерть, сказала она себе, и стало легко и чисто, как раньше, когда в Тифлисе, малой девчонкой бегала купаться в солнечное утро на берег бурливой Куры. Дверь открыли, и ее пихнули в эту дверь, так запихивают подушку в наволочку. Сначала был свет, а потом пришла тьма. Дверь закрыли. Ключ затрещал в замке.

В полнейшей темноте она стала ощупывать все вокруг себя.

Руки стали ее глазами. Другого выхода не было.

Она опустилась на колени, если обо что запнется, так падать не так больно, пол ближе.

Под ладонями возникали разнообразные вещи. Латунный холодок старого самовара. Утюг, видно, ржавый, шершавая ржавчина отслаивалась от железного корпуса, пачкала пальцы. Тюк, мягкий, видать, с бельем. Пахло грязными тряпками. Между пальцами робко проткнулись, как новорожденные травинки, пряди меха. Она с радостью, как старую знакомую, ощупала старую шубу; и вспомнила овечью шубешку Федуры. Хотела заплакать, но не стала, усилием воли остановила глупые слезы. Себя спросила: а когда на смерть поведут, что, тоже будешь рыдать?

Хоть бы матрац тут где в углу завался. Нет, матраца не было. На какое время ее сюда бросили? Пока не выяснят, кто, когда и каким судом будет судить ее?

Руки ущупали ночную посудину; и на том спасибо, злобно и насмешливо скривилась она, и тут подумала, какая, должно быть, уродливая улыбка светится у нее в темноте. Не надо быть злой. И так зло улыбаться, скалиться. Надо быть доброй. Ленин учил, что надо быть... добрыми?.. Злыми?.. какими?.. как он учил?

Она с ужасом поняла, что напрочь забыла, как он учил. Однажды, когда она закончила перепечатывать его брошюру, для новой типографии в Кремле, к ней в комнату постучалась горничная и мрачно произнесла: идите, Надежда Сергеевна, там вас кличат. Куда идти? В гостиную ступайте. В ту гостиную, где эта, черная, рояля! Она сбросила домашние туфельки, обула туфли на каблуках и гордо, откинув гладко причесанную голову, пошла по коридору, из открытой двери гостиной валилось веселое золото света и заваливало надраенный до блеска паркет драгоценными, яркими лучами. Она вошла, уже наблюдая чью-то выпрямленную, жесткую как доска спину за роялем. Крышка рояля была открыта, и золотые кишкы и медные сухожилия, все железные внутренности рояля, она знала это, сейчас загремят, запоют, заноют и заплачут. О чем? О прошлом или о будущем? И то и другое время, она знала это, залито кровью. Люди все врут себе, что в будущем будет все счастливо и безоблачно. Они себя утешают. В будущем так же польется кровь, и так же в подвалах иных ЧеКа будут пытать, расстреливать, разбивать молотами черепа и вонзать серпы под ребра. Слушатели уже сидели в креслах. Крупскаяластным жестом указала ей на свободное кресло. Она села, послушная рабыня, наемница. Пошла пишбарышня. Спина за роялем вздрогнула, из-за спины вздернулись широкие, огромные руки, ударили по клавишам, обняли всю клавиатуру, сердито и царственно, и рояль пошел волнами, музыка поплыла на нее и на всех молчащих людей в гостиной волнами, сначала ледяной соленой воды, потом волнами огня, гудение колыхалось окрест вместо воздуха, вопль огня скрутил ее, выжал, как вымокшее под дождем красное знамя великого боя, музыка изображала последний бой, и Надя содрогалась: нет, не выживем! Человек играл, будто после игры его выволокут из-за рояля, поведут во двор усадьбы и уложат наземь метким выстрелом: в сердце, в голову. Музыка вопила об этом. И только об этом. Музыка гремела о смерти. Она выла и орала лишь о ней одной.

Надя оглянулась. Все сидели не шевелясь. Музыке не было конца. Она закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Ее пальцы мяли холстину чехла. Справа от нее в кресле сидел Ильич. Он весь вжался, ушел в кресло, втянул голую голову в плечи, так, что шея исчезла, и круглая костяная, гладкая голова будто приклеена была прямо к широким плечам. Такой, без шеи, плясал Петрушка на ярмарке, над красным полотнищем, что скрывало от публики согнутого в крючок, смеющегося кукольника. Когда вместо музыки обрушилась страшная тишина, он первым зааплодировал: застучал

живой рукой себе об колено. И все тут же подхватили это рукоплесканье, беспощадно и жестоко, до красноты и боли, били в ладоши. Спина поднялась из-за зубастых клавиш, обернулась к людям грудью, руками и наваксеными башмаками, и публике предстало потное, еще искаженное смертным ужасом лицо исполнителя. Музыканта выписали из Москвы, чтобы он дал домашний концерт в усадьбе; он расстарался. Надя забыла его имя. А зачем помнить? Музыка, это иной мир. Ей в нем никогда не жить.

Но она запомнила, после отгремевших рукоплесканий, мгновенную тишину, еще не полную ни вздохами, ни возгласами восторга, ни женским лепетом, ни басами мужчин: в этой мгновенной тишине голос Ленина прорезал воздух гостиной и отдался под лепниной потолка, как в церкви. Музыка, это нечто, что не поддается опи...са-нию! Это то, что вы-зы-вает восторг! Да, батень...ка, вос-торг! И больше ничего! Вос-торг и лю-бовь! А разве... разве... сейчас... лю-бить? Любить! ха!.. лю-бить!.. сей-час... Нынче — не-на-ви-деть! Не-на-ви-деть! И только! Добро?.. гиль, батенька, гиль... Зло!.. сей-час — наш ин-стру-мент! Да! да!

Он еще повторял, закинув лысую голову назад, выпятив вперед бесшерстный торс: да! да! — потом "да" перешло в крик: а-а-а! — и уже бросились к нему люди, и призвали Епифана, и Епифан взвалил вождя на себя, на свою широченную, как речной паром, спину — и поплыл с ним, и понес, и потащил Ленина восвояси, живые носилки, что-то утешающее приборматывая вождю, а люди трусili по коридору за ним, услужливо открывали двери, бежали впереди и бежали следом, сопровождали и стерегли, — и Надя осталась в гостиной одна; нет, возле рояля отгремевшего ужасом и выстрелами, потерянно стоял музыкант, он держался рукой за спинку стула и смотрел на нее.

И Надя поднялась из кресла, подошла к музыканту и, заливвшись румянцем, почему-то погладила его по мокрой щеке — так гладят ребенка, сделавшего что-то хорошее, правильное; ласкают и поощряют его. Музыкант поймал ее руку и прижался к ней губами. Спасибо, прошептал он. На здоровье, сказала Надя. Нельзя было улыбаться, но она улыбнулась. А потом спросила: а что, правда, сейчас важно быть злым? Важнее всего на свете?

Музыкант отвернулся от нее. Он смотрел в высокое окно. За окном брызгал солнцем мир. Мир был весь залит войной, и ему все врали о том, что он мир, и живой, и счастливый. Так, глядя мимо Нади, музыкант взял ее руку. Если вы добрая, так останьтесь доброй. Это невыträвимо. Но вы только помните, знайте, что именно за это сейчас смертью карают.

Он выпустил ее руку, так в бурю обреченный лодочник выпускает весло, и быстро пошел к двери.

Музыка, давняя, не звути в ушах. Тебя же уже нет. Есть только это учение вождя: ты добр, сделайся злым. Ты любишь — возненавидь. Это закон военного времени. Но теперь уже мир! Глупая, у нас война будет всегда. Всегда.

Она на коленях подползла к запертой двери. Ощупала доски двери, толкнула ее ладонями раз, другой. Нет. Не сломать.

Она сидела на полу перед дверью, обняв колени. Глаза привыкли к темноте, зрачки что-то уже различали: вот глиняные кувшины у стены, вот тряпки на гвоздях висят. Ее затолкали в старую кладовку, здесь пахло пылью и кислятиной, и, может, здесь давно никто не был, а люди ключ с пояса у горничной сорвали.

За дверью послышалось шуршание, и замок железно лязгнул. Свет ворвался и ослепил ее. Толстая женщина с судками в руке стояла перед ней. Толстуха шарила в воздухе, как слепая.

— Надежда Сергеевна?

Голос женщины был холоден и надменен.

— Да.

— Я принесла вам поесть.

Женщина опустила на пол судки.

— В верхнем судке хлеб, ниже — суп. Поешьте.

Дверь закрылась, и опять стало темно.

— Свечку хотя бы принесите! — беспомощно вскричала Надя.

Шаги толстухи удалялись по коридору.

Лоб Нади обхватили, впились холодом в кожу, в кость колючки подлинного бешенства. Этот бешеный венец ей самой было не сорвать. Она вскочила с пола. Стала толкать ногами, руками сваленные в кладовке вперемешку вещи; раздался грохот, это свалился на пол ржавый утюг. Приблизила губы к дверной щели. Заорала так, что зазвенел во мраке кладовки старый самовар.

— И приставьте ко мне кого-нибудь! Чтобы сопровождали меня в уборную! Я не воспользуюсь вашей ночной вазой ни за что!

Крик ее жалко отозвался. Она вцепилась руками в тряпки, что висели на гвоздях по стенам. Плакала, и утирала, больно царапала тряпками этими, дурно пахнущими, соленое лицо. Потом опять села на пол. Открыла, как и было указано, верхний судок; вытащила хлеб. Зажала хлеб в кулаке. Сняла верхнюю кастрюльку, открыла нижнюю. Запахло рыбным супом.

— А ложка где?! гады, — сама себе сказала Надя.

Она ухватила судок за железные уши. Поднесла ко рту. Отпивала суп через край. В супе плавали жалкие макароны, разваренная картошка, куски рыбы. Надя плонула рыбью кость. В Пахре мужики окуньков выловили; небось, Епифан ловил, прислуга говорила, он рыбак хороший.

Она съела весь хлеб и выпила весь суп. Сидела над пустыми судками и плакала, и слез не утирала.

Отплакавшись, легла на холодный пол и свернулась в клубок.

Как там, в избе у дурочки.

Во тьме кладовки время не измерялось ничем. Она не поняла и не могла определить, рано или поздно ее дверь, неумело погремев замком, опять открыли. Толстая женщина опять стояла на пороге. Она брезгливо и осторожно сделала шаг в кладовку. Наклонилась, всей неохватной толстой грудью, плечами, мощной, как у борца, спиной, надвинулась тучей на лежащую Надю, нашарила ее руку, всунула в руку что-то мягкое — хлебное, хорошо пахнущее.

— Вот... сделала вам бутерброд с колбасой. Колбаска свежая. Только из Москвы привезли.

Надя крепко сжала в руке кусок хлеба с колбасой. Она хотела швырнуть его в лицо Крупской.

Толстомясая... она мне никогда не простит...

— Спасибо.

— Не за что.

— Я вас прошу! Разрешите позвонить моим родителям в Петроград! прежде чем...

— Прежде чем что?

Голос жены вождя сделался холодным и мертвым, будто говорил памятник. Надя решила не отвечать.

Опять тьма. Она съела хлеб, долго жевала копченую колбасу. Слез больше не было. Через прогалы тьмы кладовку опять открыли. Пришел Епифан. Мужик молча сопроводил ее до ватерклозета и обратно. Он молчал, и она не пыталась разговаривать. У нее в голове начинало гудеть, горячо и красно. Это пела музыка, не известная ей. Она никогда такой не слышала.

Хорошо, что они, изловив ее и привезя сюда, не раздели ее, не сняли с нее верхнее теплое платье, а втолкнули ее в эту, без света, кладовку во всем теплом: в пальто, в свитере, в шляпке. Здесь, в кладовке, холодно было, тепло усадебных печей сюда не добегало, Надя догадывалась — кладовое это, всеми забытое помещенье на отшибе, может, даже угловое: ночью выстывало, днем чуть нагревалось, а может, Надя просто тут уже надышала. Сначала она боялась задохнуться. Ни оконца, ни щели в стене между кирпичами. Потом она поняла: воздух проникает в щель под дверью, и, хоть дышать и трудно, пока ей хватает этой тонкой воздушной струйки. Она легла спать во всем теплом, одетая, подложив смятую шляпку под голову, и носом поближе к этой спасительной щели меж дверью и половицей, и так дышала, и согрелась, и задремала.

Среди ночи проснулась, как от толчка в спину. Испуганно глянула через плечо: будто и правда кто-то могучий, сильный ее толкнул, жестко, грубо, кулаком. Глаза уже хорошо различали в полумраке вещи, лежавшие в кладовке. Потолки тут были высокие. В углу мерцало выпуклое стекло керосиновой лампы, Надя усмехнулась — лунно, заманчиво блестит, вот бы разжечь, да нету в ней керосина, это точно. И проверять не надо.

Она перевернулась на спину. Продела руки в рукава пальто, как в муфту. Согнула ноги в коленях. Под юбку заполз холод, она опять вытянула ноги по полу. Так лежала, и вдруг подумала сама о себе: так люди лежат в гробы, и так я буду лежать.

И будто опять мощным кулаком ударили ей, теперь уже в лоб.

И такой рой мыслей взвился у нее подо лбом, что она зажмурилась крепко, и так лежала, зажмутившись.

Смерть! Она, молодая мать, куда помчалась с вождем? Пустили козла в капусту! Ребенка забыла. Мужа забыла. Ни разу не вспомнила. Нет, вспоминала, но так смутно, будто сквозь мутную воду напрасно глядела. Смерть! Все живут, окруженные толпами людей, все идут целую жизнь сквозь людские ряды, и сами маршируют, и все время под неусыпным людским, чужим оком все делают: и едят, и спят, и оправляются, и венчаются, и рожает баба опять под присмотром чужих глаз, под шевеленьем чужих рук, и воюют люди толпами, выбегают на поля и бьются кучей, оголтелой, орущей толпой, и помирают на глазах друг у друга, и в монастырях послушанье исполняют под присмотром, и на площадях гимн поют — все, разом, великим хором, грязным сбродом, великим народом, — в толпе, в толпе мы все живем, а что потом? А потом что? А потом смерть.

Так или иначе, потом, после всего жизненного, смерть — и от нее не спрятешься, ее не заешь сладкой шоколадкой, не запьешь ни горячим чаем, ни ледяной водкой, от нее не укроешься в чужих объятиях, не забудешься на ласковом желтом песочке, у теплой реки, ее не заболтаешь в праздных разговорах, в крике воодушевляющих лозунгов, в ссорах и перепалках, в ругани и драке, ее не зачитаешь, как книгу, и не заложишь внутрь ее страниц бархатную закладку, — ничего ты с ней не сделаешь, и она, всякая, насилиственная, в бою или под разбойничьим ножом, под расстрельной спра-

ведливой пулей, или натуральная, на исходе лет, приходящая достойным концом прожитой жизни, придет к тебе — одна, одинокая — к тебе, перед ее лицом — одинокому.

Человек рождается на землю не один: его мать рожает. А умирает один. Никакой матери рядом с ним уже нет. Есть только мать сыра земля; он о ней помнит, видит ее, когда умирает. Но, когда он умирает, она еще далеко. Хотя нет. Уже близко!

Под ним; под полом; под камнем; под днищем лодки ли, баржи; а кому повезет, тот умрет прямо на сырой земле, раскинувшись на ней, раскинув руки, ноги, спиной или грудью ее ощущая и запахи ее вдыхая.

Она открыла глаза.

Ей показалось: ее глаза стали двумя огнями, и воздух вокруг нее загорелся.

Ее, конечно, расстреляют! Тут другого решения нет и быть не может. Она зачинщица побега. Ленин мог простудиться, захворать и умереть в дороге. Кто знает, может, он и простыл в той дурочкиной избе; и заболеет теперь. Ее убьют. Она получит пулю. Это хорошее, правильное возмездие. Она же убивала сама. Была война, и она убивала. Она тоже поступала во время войны так, как поступали все ее соотечественники: сражались. Кто-то воевал за старье, кто-то — за новую жизнь. Она встала под красное знамя, ведь под ним всю жизнь и стояли, и шли ее отец и мать. Она не могла поиному. Поэтому она стреляла. Пишбарышня! Она вояка. Солдат она. Но этот прежде послушный, верный своему знамени солдат предал целую страну. Он захотел украсть у целой страны ее вождя. Боже! она увидела в нем человека! и человека, человека пожалела!

А Ленин — не человек.

А он — подвластен смерти или нет?

Она перевернулась на бок. Тяжело дышала. По ее лбу, вискам и щекам тек пот. Нет! Ленин не умрет. Он никогда не умрет! Правда? Это же неправда! Он — уже умирает! Он с трудом говорит, хрипло дышит. Он еле ходит, еле ест и пьет, а народу врут: наш вождь поправляется, скоро он приступит к делам! Его возили в Кремль, возили на сельскохозяйственную выставку. Он переночевал в Москве, и его еле привезли обратно; замертво вынули из мотора. Он умрет! Как все люди!

Как все мы.

Надя прижала руки к лицу. Впечатала зубы в ладонь.

Что она такое себе говорит? Она не должна об этом думать!

...да, есть вещи, когда ты думать не должна; о каких ни говорить, ни думать нельзя, потому что эти думы вернутся к тебе и тебе отомстят.

...нет, он умрет, умрет все равно!

...но ведь все умрут. Все. Рано или поздно.

...нет, он бессмертен, его лики вышивают на знаменах, его со слезами прославляют все, от мала до велика, и партийные руководители, и рабочие на заводах, и крестьянские дети, все, старики и старухи, солдаты и офицеры, чекисты и артисты, все! его профиль печатают на плакатах, о нем звенят высокие речи: наш вождь! вперед, к мировой революции! веди нас, Ильич! мы выполним все твои приказы! ты вечно будешь жить! ты вечно живой! Он не умрет, для него смерти нет!

Надя дрожала и кусала себе руку. Ладонями вытерла лицо.

Но ведь тело все равно умрет! И в землю закопают! Будут жить его идеи! А сам он, сам?! Его тело, он все хуже им владеет, ногу за собой как бревно волочит, языком еле ворочает?!

Да. Его тело умрет, и его закопают в землю.

А если — не закопают?

...что ты себе такое вздумала... что...

Да, если — не закопают?

А что, так оставят? Гнить?! Никакой формалин не спасет!

...наука сильна, что-нибудь придумает... Иосиф говорил...

Смутно, опять как сквозь мутную воду, она увидела усатое довольноное, будто сытно он поел и наслаждался послеобеденным отдыхом, рябое лицо Иосифа; и услышала, как сквозь печную заслонку, его спокойный размеренный, холодный голос. Она не различала все слова. Но она поняла, он говорил о том, как надо сберечь, сохранить для грядущих поколений нетленным тело вождя.

Она не помнила, говорил ли он когда-нибудь при ней такое; может, и говорил, и может, она даже напечатала это за ним на пишущей машинке, она плохо помнила; часто он диктовал, а она аккуратно, почти механически печатала за ним, прямо с голоса, все его были и небылицы, не особенно в них вникая. Делала свою работу. Пальцы делали, а мысль улетала. Зачем она прилетела теперь?

Да, его оставят жить вечно, подумала она о нем ледяно и потрясенно, как думает приговоренный к казни о своем эшафоте, он будет жить, как же иначе, ведь земля умрет без него, — а она, Надя, умрет по-настоящему. Одна. На нее наведут винтовки, а может, Иосиф сам прикажет расстрелять ее — в затылок — из револьвера: кому-нибудь из охраны вождя. Лучше в висок. Она попросит, чтобы в висок. В висок, это сразу и наверняка. Она даже боли не почувствует. Или все-таки будет больно?

Она медленно перевернулась на живот. Положила лоб на скрещенные руки. Сильно, резко заболела голова, будто пуля уже вошла ей под череп; и все в голове, изнутри ее, осветилось, она опять жмурилась, старалась не выпустить этот страшный, смертный свет из глазниц. Выдохнула. Она тут одна. И перед смертью, и в смерти тоже будет одна. А Вася?! Что они сделают с Васей?! Она с ужасом стала думать о ребенке, и мысли опять бешено закрутились, запрыгали в голове, зато потух этот страшный, одинокий, резкий свет.

...милый Васенька, милый сыночек мой, младенчик малый, что твоя мать удумала...

...нет мне прощенья, тому, что я сделала...

...и правильно твою маму накажут, верно... все правильно... все справедливо...

...но я же совсем одна, я уйду одна, и никто на краю жизни, никто, слышишь ты, никто не подойдет, не обнимет тебя, не возьмет за руку... не прошепчет тебе: не бойся... не бойся...

...а я и не боюсь, мне ветер в зад...

...кто так говорил?.. ветер в зад?.. а, это мой отец говорил...

...им скажут — им телеграмму отобьют — они ужаснутся — а будет поздно... поздно...

Она опять повернулась набок и все-таки открыла глаза.

В щель меж дверью и полом вползал призрак рассвета.

Звук шагов, стук сапог по паркету коридора тоже вполз в ее уши незаметно, издалека, но раздавался все явственнее, все ближе. Вот сапоги остановились. Послышались голоса.

Надя подняла взлохмаченную голову с пола. Пальцами быстро убрала свесившиеся на лицо пряди.

— Ни-какова суда нэ будит. А-ни проста гуляли и за-блудились.

— Вы так считаете, Иосиф Виссарионович?.. но ведь это...

— Нэ-правда, ха-тите вы сказать?

— Я... ничего не хочу...

— Проста гуляли и за-блудились, слышите!

— А рюкзак?! А котомка эта...

— А-ни проста взяли па-есть. Па-есть, слышите? Ат-крывайте!

Пока ключ ворочался в замке, она успела вскочить и пригладить нервными ладонями растрепанные волосы.

Свет ворвался и ударил ей в грудь, и она пошатнулась. Заслонилась от света рукой, так застится баба на пашне.

Сталин стоял на пороге кладовки.

Он смотрела на Надю не с гневом, как она того ждала: с любопытством.

Казалось, ему было любопытно, как она тут ночь переночевала, что елапила, и не замерзла ли, и как она тут выжила, в холоде, на голом полу, среди старых вещей, пыли и забвения.

Одна такая ночь — тысячи ночей стоит.

Она отняла руку от лица, опустила, и так стояла, с повисшими руками, выпрямившись, как на параде; только что не маршировала.

Рябое желтое лицо дышало любопытством. А Надя молчала. Она сказала себе: молчи, только под пыткой губы разомкни. И даже под пыткой молчи. Все равно никому ничего не докажешь.

Первым голос подал Stalin.

— Ну, што ста-ишь? Идем.

Но сам стоял как приклеенный к полу, заслонял ей выход из кладовки.

И стояла она, глядя на него во все глаза.

— Што глядишь? разве мужа в пэрвый раз уви-дала?

Она молчала.

Он отступил на шаг. Сапоги проскрипели.

— Да-вай! Вы-хади! Гава-рить па-том будим.

Она прошла мимо него, не глядя на него, в своих сапожках на шнурковке, жесткими глазами глядя впереди себя, ловя глазами там, далеко, в конце коридора, свет белых колонн, красоту осеннего мира, теперь не нужную ни ей, ни ему, ни людям, внезапно ставшими презренней мошек, муравьев, — никому.

Он привел ее в ее усадебную комнату.

Пищущая машинка была укрыта вышитой фланелью, как лошадь попоной.

Stalin пощелкал ногтем по толстому стеклу, лежащему на столе. Потом пощелкал по зеленому стеклу настольной лампы. Потом наконец посмотрел на Надю.

— Ну што? Што мал-чишь? Мал-чание зо-лато, так, што ли?

Его грузинский акцент усилился, он произносил "что ли" как "шитоли".

Она подняла и опустила плечи. Стала стаскивать с себя пальто. Он помог ей.

— Што же нэ аб-нимешь мужа? После раз-луки?

Она смотрела в окно.

— И даже нэ спросишь, как там наш сын? Бэс-чувственное ты сэрдце.

Она изо всех сил удерживалась, чтобы не разрыдаться.

Слезы все-таки покатились, и она повернулась к нему спиной, смотрела в окно, в окне перед ней расплывался дрожащей кляксой голый осенний парк.

И вдруг за ее спиной раздался странный звук.

Будто сметану сбивали в кувшине пестиком. И железные края пестика звенели о стенки кувшина.

Она обернулась на этот странный, непонятный звук.

Сталин хохотал. Он хохотал, булькал, захлебывался, опять сотрясался в хохote. Надя с изумлением смотрела на его обнаженные в смехе, желтые табачные зубы, на голую, над зубами, розовую десну. Смех булькал и звенел, пестик все ударял о края кувшина. Иногда, наслаждаясь смехом, коротко взвизгивала глотка. Закончив смеяться, Сталин разгладил прокуренным пальцем усы, еще раз, другой коротко и сухо хохотнул, поковырял ногтем глубокую, возле носа, осину.

— Нэт, нэ бэс-чувственное. Плачешь, это па-хвально. Ну, па-плачь. Па-больше па-плачишь, па-меньше...

Он щелкнул пальцами в такт грубому словцу. Надя смерила его взглядом и опять отвернулась к окну.

— Што там в ак-не инте-ресного? а? и даже нэ па-люба-пытствуешь, што с тваим па-дапечным? Как он си-бя чувствует?

Она молчала.

И тогда он шагнул к ней, цепко, больно схватил ее за плечо и рванул, повернулся к себе, и тоже молчал, но так глядел на нее, что у нее к горлу медленно стало подкатываться все то, что жило и билось у нее внутри, перегоняло по жилам кровь, вздрагивало, всучивалось и опадало, и сжималось, и расширялось.

Он молчал. Наотмашь бил ее глазами.

Молчала она. Не отводила взгляда.

Первым не выдержал он.

— Ты! — Захрипел. — Ты такая стер-воза, а! Ты пад-вела всэх нас! Тибе даверили мысль ва-ждя, жизнь ва-ждя... а ты — всо на свалку вы-кинула, ты, такая!.. — Задохнулся. Искал обидное слово. Из его губ вылетела площадная ругань и хлестнула ее по глазам, по губам. — Ты думала, ты за-латая рыбка! и я счастлив, што я тибя пай-мал! такую па-иньку! бела-ручку! Всози-ти-бя горничные дэ-лают! а ты только глядишь, то ли а-ни сдэ-лали! царица... кукла!

Она разжалла губы.

— Как... Вася?

Он все больше вцеплялся ей в плечо, беспощадно тряс ее, будто бы она была тонкое осеннее деревцо, и с него надо было отрясти наземь последние сиротские листья.

— А! Наканец-та спра-сила, стервь! нака-нец-таки! са-изволила! губки разжала! Да ат-лична мой Василий! ат-лична! Без тибя — нэ умер! и нэ умрет ни-когда!

— Пусти, — беззвучно бросила она ему в лицо.

Он выпустил из побелевших толстых пальцев, как коршун — воробья из когтей, ее плечо, встряхнул рукой, будто стряхивал ртутный градусник.

Она опять повернулась к окну. Поправила воротник английского свитера у горла.

Она задыхалась, но слезы перестали литься.

— Мы разойдемся? — ровно спросила.

Теперь, излив на нее ярость, молчал он.

Он стоял за ее спиной, глядя ей в затылок, на развившийся смоляной пучок, стоял и глотал слюну, и желал что-то сказать, что-то такое, чтобы проняло ее до самых костей, чтобы вывернуло ее наизнанку и потрясло, — хотел ее наказать словом, а потом, может, даже ударить, отстегать бы плетью, да плети под рукой не было, была только его живая рука, и тут она, как нарочно, быстро обернулась к нему, и он слишком близко увидел ее лицо, молодое и бледное, белое, как первый снег, первый иней за окном, ледок на лужах во мраке ночного заморозка, — и надлежало этот снег смахнуть с холодной жизни, и увидеть под снегом живое лицо, живую кровь, — живой отчаянный, резкий крик.

Как он захотел вдруг этот резкий, о помощи, жалкий крик услышать! И он замахнулся и ударил ее по щеке. Крепко, страшно. Таким ударомшибают с ног.

И она упала.

Ударилась головой об пол.

Очухалась. Отдышилась, лежа на полу. Встала, упираясь обеими руками в паркет.

Он стоял и смотрел. Тяжело дышал.

Она опять встала напротив него, выпрямилась, как гимналистка у доски, и смотрела на него.

Одна ее щека была белая, смертно-бледная, другая наливалась густой кровью, краснела; глаз опухал, быстро и чудовищно. Заплыл. Затек.

Глаза ее глядели на него черно, мутно. Зрачки будто тучи заволокли.

По виску, из-под волос, текла темная кровь.

— А-ха, — выдохнула она, — доволен?

Он молчал.

Тогда она разлепила губы и плонула в него словами:

— Пошел вон.

Он попятился к двери.

Повернулся. Вышел.

Вслед ему она крикнула:

— Доктора мне позови! Гаврилу Петровича! Или Авербаха! Ты мне голову зашиб!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Убитый дневник Крупской. — Ужасный разговор Крупской и Сталина; Сталин бросает в лицо жене вождя возмутительные оскорблении. — Доктора Ленина, Волков, Авербах и Елистратов, лечат избитую мужем Надю. — Надя лежит в бреду. — Сон Нади о Заполярье: мороз, тайга, она замерзает во сне, и незнакомый старик ложится на нее и согревает ее своим телом.

(УБИТЫЙ ДНЕВНИК КРУПСКОЙ)

Как я это пережила, не знаю. Лучше бы я умерла. Но, если я умру, кто защитит Ильича? У него остались только я и Маняша. Только двое нас. Что могут слабые женщины? Женщины с точки зрения мужчин — слуги, мусор. Мужчины только притворяются, что в СССР у нас сейчас равенство женщин и мужчин. До этого еще очень далеко. Но то, что произошло вчера, ни в какие рамки не укладывается. А разве это началось вчера? Это случилось давно. Очень давно. Теперь трудно нащупать это самое время, эту опухоль

злобы, когда все началось. Я просто очень хорошо, на всю жизнь, поняла теперь, что человек зол. Со злом не поборешься! Оно живуче. Человек только притворяется, что он добрый. Он злой.

А Володя тоже был злой? Или не злой? Я не знаю. Теперь уже не знаю. Ко мне он всегда был добр. Он на меня ни разу голос не повысил. И руку не поднял. Хотя вот Анюта пожаловалась мне, что однажды Елизаров ее ударили. Правда, она потупилась и тихо сказала: за дело ударил. Я не спрашивала, за какое дело. Это их жизнь. В чужую жизнь никогда не надо соваться.

Я и не суюсь. Я только себя все время уговариваю: притворяйся лучше, Наденька, лучше притворяйся. Нам с Маняшой ни в коем случае нельзя показать Кобе, что мы догадались о его намерениях. Трудно это сказать, но себе-то можно сказать. Коба хочет Ильича убить. Я имела страшный разговор с Троцким. Недели две назад. Лейба сначала говорил громко, о разных партийных разностях, потом живо интересовался здоровьем Ильича, потом понизил голос и очень тихо сказал: Надежда Константиновна, прошу, берегитесь Иосифа. Сделайте с Маняшой все возможное, чтобы с Ильичом не случилось ничего ужасного.

И я все поняла. Мне дальше ничего не надо было объяснять. Stalin повсюду трясет именем Ильича, он нагло прикрывается им, чтобы обстряпать свои делишки. Он обвинил Льва Давыдовича в том, что он виноват в болезни Ленина. Несусветная чушь! В партии зреет раскол. Да что там, он уже произошел! Это ужасно. Это горше всего, это трагедия! Разве я эту трагедию уврачу своими слабыми руками? Я всего лишь женщина, жена. Я могу только помогать, судно подносить, с ложечки кормить. Но ужас партии я не разгребу никакой кочергой. Мне не потушить этот пожар, если он разгорится.

Я держусь из всех сил. А тут еще эта, вертихвостка, взяла и утащила Ильича, прямо из теплой постели вынула и убежала с ним. Сначала, по словам охраны, они ушли гулять в парк. Потом ушли в лес. Она загодя собрала в дорогу котомки: одежду, еду. Вот дрянь! Она преступница, и это форменное преступление. Ее за это судить бы надо! Но приехал Коба и безапелляционно сказал: никакого суда не будет. Царь какой! Его слово — закон! А то, что он на каждом шагу изрыгает из себя ложь, об этом все трусливо молчат! Да ведь и я молчу. И я тоже — трусиха! Я сама себя презираю. Он повелел: не судить мою жену, она ни в чем не виновата! — и все встали во фронт и стали подхалимски пожирать его глазами. Чем таким гипнотическим он обладает, что все тут же, немедленно его слушаются?! Ильич указывал не раз, что надо озабочиться национальным вопросом — а Stalin беспечно махал своей противной, короткопалой рукой: да что там, Владимир Ильич, у нас в Эсэсэсэр интернационал, у нас все нации равны и уважаемы! А на роже написано довольство: сейчас заседание Политбюро закончится, и он пойдет в столовую Кремля, пообедает от пузза и наберет себе и этой, женке своей, домой целую сумку изысканной еды: астраханской икры, владимирской буженины, булок с изюмом от Филиппова. Ленин еле выталкивал из себя слова, я их ловила и записывала: берегитесь не Троцкого, берегитесь Кобы!

Я эти слова на Политбюро передавала; по бумажке читала; кричала их до хрипоты. А меня почему-то никто не слушал. А все, как завороженные, глядели на Сталина и слушали Сталина. Нет, точно, он владеет каким-то древним грузинским гипнозом! Он кавказский колдун!

Я написала Троцкому письмо, и в нем все сказала, как я его поддерживаю и верю ему. Я вижу, как Stalin смотрит на Троцкого. Он прокальвает его

глазами. Троцкий, когда получил мое письмушко, сразу же назначил мне ту встречу. Уж лучше бы не назначал! Когда он мне прошептал об этом диком плане Сталина, я заткнула уши пальцами и закричала: не хочу ничего слушать, не хочу! Он криво усмехнулся и заметил: а ведь я в кремлевской аптеке больше никаких лекарств не покупаю. И вам не советую! Это я услышала даже сквозь заткнутые уши.

Он хочет быть диктатором, тихо говорил Лейба, его губы шевелились возле моей щеки, я все понимала и в то же время не понимала ничего. Я думала: надо что-то делать, что-то делать. А что? Я не знала. Я же не вождь! Я не могу править! Перед глазами мелькали сытые, жирные физиономии наших русских цариц, я видела их портреты в музеях. Мне не быть царицей. Кишка тонка. Царица Крупская, вот куда мысль полетела! Смех один. Лейба бормотал: вы знаете, Надежда Константиновна, Stalin утверждает, что Lenin сам попросил его принести ему цианистого калия! Он и секрета из этой просьбы вождя не делает никакого! Во всеуслышание об этом говорит! Весь ЦеКа партии давно знает об этом! Только вы одна не знаете! Вот я вам сообщаю! Я смотрела на Лейбу, как на громадного паука, сейчас паук подползет и тебя укусит, да он уже укусил, и ты не знаешь, как спастись от яда: то ли высосать кровь из ранки, то ли судорожно искать противоядие, то ли... От цианистого калия никакого противоядия нет. По крайней мере, врачи его не знают.

Надо предупредить всех докторов, шептал Троцкий и махал руками, будто комаров отгонял, надо всем дать инструкции, надо, надо... Он перечислял мне, что надо сделать, и это я, я должна была отдать распоряжения. Я в ответ крикнула ему: пока вы тут мне все это говорили, я забыла все, что вы говорили! Кому и что я должна приказать! Я не умею приказывать! Лейба взял мою руку и поцеловал ее. Кажется, он плакал. А я немного ослепла. Я стала сразу плохо видеть. Кровь бросилась мне в голову и затуманила глаза.

И после разговора с Троцким я решилась переговорить с Кобой. Надо было поставить все точки над i. Нельзя жить в атмосфере заговора. Мы не при царском дворе, чтобы при помощи Третьего отделения заговоры разгадывать. А может, наш двор все равно царский, и мы — новые цари? Я дождалась, когда Коба в очередной раз приедет в усадьбу; это произошло вчера. Всего лишь вчера, а мне сейчас кажется, сто лет назад. И я старая, столетняя старуха, и нет у меня памяти, и нет мне прощенья за то, что самого главного в своей стране я не уследила. Я пригласила Кобу в кабинет. Коба вошел и стал передо мной, широко расставив ноги. Так стоит палач у эшафота, когда на эшафот уже взошел приговоренный, а кату сейчас надо будет сделать свою работу. Я смотрела на него и не знала, с чего мне начать. Открыто обвинить его я ни в чем не могла. Я унюхала: от него пахло спиртным. Но не вином, нет. Не хорошим грузинским вином, какое он всегда любил. А водкой. Для храбрости выпил? Я никогда не видела его пьяным. И сейчас не понять было, пьян он или трезв. Он всегда крепко стоял на ногах, хорошо, размеренно и отчетливо говорил и хорошо держался.

Я подошла к нему ближе. И еще шагок сделала, стать поближе. И еще ближе, полшажочка. Он не отступил, не попятился. Сверху вниз он смотрела на меня. Мне стало страшно. У меня мелькнула мысль: а что, если не затевать этот разговор? Но было поздно. У Володи уже совсем не было времени. Значит, и у меня уже не было времени. Никакого времени. Ни минуты лишней. Ни секунды.

— Ну и што вы дума-ете? Вы ведь о чем-та ду-маете?

— Я думаю о том, что вы жестокий человек, Иосиф. Об этом думаю не только я. Я знаю, что об этом думают многие. И, главное, об этом думает... об этом знает Ильич. Он знает об этом доподлинно. И вы не смеете это отрицать.

— Я? Да. Я жэс-токий. Но где вы видели рэ-ва-люционера, ка-торый мягок как булка? Сам Ильич гава-рит: рэ-ва-люцию нэ дэлают в белых пэр-чатках. Он так часто пав-тарял эти сла-ва, што... я выучил их наизусть!

— Скажите прямо. Вы передали Владимиру Ильичу яд?

— Ка-кой ище яд?

— Не притворяйтесь наивным мальчиком. Цианистый калий. На Политбюро вы говорили именно о нем.

— Милая На-дежда Канстан-тиновна. Вы же умная жэн-щина. Вы па-нимаете: Вла-димир Ильич умирает. Нэ пере-бивайте! Умирает. И он это асаз-нает. Как любой тяжело баль-ной чи-лавек. Да, он па-просил миня принести ему яд. А што тут такого уди-вительного? Ильич муже-ственный чи-лавек. Он сказал мне: Коба, разда-будь мне яду, лучше ци-анистого калия, он быстра действует, дыхательные центры сразу пере-стают ра-ботать. Он при-щурится, знаете, нэ грустно, даже как-та вэ-село, и сказал: Коба, ты самый жэс-токий чи-лавек в партии, только ты смо-жишь это сделать. Никаво друго-ва я бы нэ смог па-просить. Толь-ка тибя. Ты нэ станешь миня при-творна жалеть. Ты пай-мешь миня! И я кивнул. Я сказал ему: я понял вас, Вла-димир Ильич, я вас хара-шо понял. Вы ха-тите сами вла-деть сва-ей жизнью. Сами ю распа-рядиться. И он абра-давался. Он зама-тал гала-вой, вот так, вот так, вот так, и разулы-бался, и раз-вэселился, руками всплеснул: да, да, именна так, именна! Вы мне нэ верите?

— Нет. Я вам не верю.

— Ну хара-шо. Это ваше лич-нае дэло. Я спэрва ему па-абещал принести яд. А па-том я спа-савал. Нэ смог. Па-том миня абъяла жалость. Я смала-душничал. Я сибя спрашивал с ужа-сам: как это я, партийный та-варищ Ильича, ма-гу сва-ими руками дать Ильичу яд? Это слишком страш-на, знаете ли. Па-пахивает каким-та дапа-топным Цезарем Борджаиа. Смэшно. Мы всэ кам-мунисты. И вдруг яд. Срэд-ние века какие-та, право. Так жаль Ильича мнэ стало. И па-том, мы никто нэ знаем, как Ильич сибя будит чув-ствовать: у ба-лезни есть свае течение, мы нэ знаем, как а-на пай-дет, в какую сто-рану. А может, баль-ной будит вызда-равливать! Напэрекор вра-чам! И я нэ принес Ильичу яд.

— Вы врете!

— Фу, дарагой та-варищ, как вы вульгарно вы-ражаетесь. Ат такой куль-турнай жэн-шины я даже и нэ а-жидал. А мэжду прочим, наши партийные та-варищи могут май сла-ва пад-твердить. Я нэдавно был у Ильича вмэсте с та-варищем Троцким. Пад-ходим мы к кровати Ильича. А Ильич на миня пальцем у-казывает и га-варит Троцкому: ты знаешь, Лейба, вот он аб-манул миня, он мнэ ад-ну вэць па-абещал, ад-ну важную вэць, и так и не привез ее. Троцкий на миня уставился: какую вэць? И я вы-нужден был сказать, какую.

— Вы Троцкому — в открытую — сказали про яд?!

— А што в этам такого? Ни-чиво а-собенно-ва. Просьба как просьба. А-собенно если учесть то, што я пад-страхавался. На Политбюро я уже са-абщил аб этай просьбе Ильича ка мне. Может быть, этого нэль-зя было дэ-лать! Но слово нэ вара-бей, вы-летело — нэ пай-маешь. Члены Политбюро

ас-толбенели, кагда услыхали аб этом. Застыли, как ледяные. И долго так сидели... мал-чали. И я мал-чал. А о чём гава-рить?

— Вы чудовище!

— Не чудо-вищнее вас. Вы разве нэ знаете о том, што вы зaeли жизнь важ-дя? Што вы па-висли у него на шее страшнай гирей? Вы всю жизнь тянули его на дно, а он ха-тел плыть! Вольно, сва-бодно! А вы, ха-лодная, скучная ба-бища, ташили его назад! назад! всо назад и назад! Вы га-тovить нэ умеете! Вы бэ-седавать нэ умеете! Вы держать язык за зубами нэ умеете, балт-ливая са-рока! Всэ наши партийные тайны на-завтра стана-вились известны всёму свету! Их печатали га-зеты! Их пере-давали, как сплетни, в аче-редях! Вы ба-роться нэ умеете, всо время пасуете! Вы записать за Ильичом его вэ-ликие, бэс-смертные речи — нэ умеете! Вы вы-стирать ему рубаху нэ можете! Вы — лубить нэ умеете!

— Лю...

— Да! Лу-бить! Нэ уме-ете! Толь-ка нэ притваряйтесь, што вы нэ знаете пра-та-варища Инэссу! Та-варищ Инэсса, вот наста-ящая жена важ-дя! А-ни лу-били друг друга! А-ни вместе дэлали дэло! А-ни па-нимали друг друга с па-лу-слова! Всэ вокруг видели: вот, вот пара! Эта — пара! А кто вы такая?! Да, кто ты такая?! Гиря бэз ушей!

— Как вы смеете...

— Да. Пра-стите. Я забылся. Я тут нага-варил, быть может, лишнего. Бэрү сваи слова аб-ратно пра вас и пра важ-дя. Это нэ мае дэло. Нэ наше дэло. У нас есть дру-гое общее дэло. И вы, и я, мы оба это па-нимаем. Ад-нако Ильич правда пра-сил миня принести ему ци-анистый калий. Это святая правда. Яничко нэ са-чинил. Была а-хота пэрэд вами што-то са-чинять. Вы должны знать правду. Наканец-та вы дал-жны стать умной. Пра-зреть. Христос исцелял слепых. Счи-тайте, што я снял с ваших глупых глаз пэ-лену. Я тоже Хрис-тос. Красный Христос, ха, ха. Он прыма в лицо мне сматрел! Пальцами а-деяло пере-бирал! И такие жа-лабные глаза у него сдэ-лялись. Мне жалка его стало, знаете, так звэ-рей жа-леют в заа-саде. Смотрит жа-лобно и шепчет: атра-вите миня. А я ему ат-вечаю: зачем вы так та-ропитесь? Куда та-ропитесь? Нэ надо та-ра-питься. Никогда нэ надо тара-питься. Вы нас сами учили нэ тара-питься. Вы скоро па-правитесь, вайдете в силу, снова бу-дете править мала-дым Са-вецким гасу-дарством, и ишо нас всех тут ругать будете, што мы вам яд принесли, на блюдечке. И, может, нэ толь-ка ругать; а кое-каво и к стенке па-ставите. Например, ми-ня! Ха, ха, ха!

— Я первая прикажу вас к стенке поставить.

— Вы? Миня?! А, ха, ха, ха! Это бэс-па-добно! Да кто вы такая? Вы што, Екатерина Мэдичи? Или, может, вы Екатерина Вта-рая?! А я — Емелька Пугачев?! А-шибились! Вы ашибились! Вы толстая старуха! Ваша жизнь кончена! Да и жизнь важ-дя тоже кончена! Вы уга-вариваете сибя, што нэт, нэ кончена! А на самом дэле — кончено всо! Всо! Вам даже нэ поможет то, што на кухню вы каждый дэнъ ат-правляете этава дурака док-тара, Гаврилу Волкова, чтобы он рас-пробовал блюда для важ-дя! Ну што, што, если в еду пад-сыплют яд, нэ на кухне, к черту кухню и кат-лы, а на хаду, кагда на пад-носе завтрак или а-бед несут Ильичу?! Да запросто! Можете рас-считать прислугу! Вы вынуж-дены будете нанять другую! А пад-купить другую тоже нэ пред-ставит ни-какова труда! Люди и после рэ-валюции всо так же лубят дэнги! А вы, вы дэнги нэ лубите?! А?! Нэ слышу!

— Вы...

— Я? Я — нэ дэнги лублу! Я лублу быть на-верху! И я на-верх — прай-ду! Пра-берусь! И никто миня нэ аста-новит! Вы?! Нэ смешите миня! Вы! Да вы

мелкая сошка! Вы — кошка! Кошку можно при-ласкать, а можна и при-бить!
Пнуть, и а-на упал-зет под лавку!

— Замолчите!

— Вы мнэ рот за-тыкаете?! Мнэ — замал-чать?! Хачу и гава-рю! И буду гава-рить! Всэгда! Я скора а-кажусь на-верху и всэгда теперь буду на-верху! Ну што, што? Какую красную ми-лицию вы выза-вете? В какой суд на миня пада-дите? Я защищен! И мой защитник — Ильич!

— Он же вас ненавидит! Он хочет вас выгнать из партии! И он это сделает!

— Вы-гнать?! Вы этим миня ис-пугали?! Нэ успеет!

— Как это не успеет?

— Што вы так а-рете, Надежда Канстанти-новна! Вы глотку надар-вете! Вам нэ идет быть гру-биянкой! Саб-людайте приличия! Я же пэрэд вами нэ бешусь! Очинь проста нэ успеет! Я его апере-жу! И вы нэ пай-мете толь-ка аднаго: его смерть — это его бэс-смертие! Кагда он умрет, народ его аба-жествит! Народу нужен новый Бог. Мы у народа — Бога отняли. Мы Его отняли, расстреляли и саж-гли на задах, на гумне, за салями. А-гонь палыхал до нэба! Бог а-рал, вроде вас, и корчился! Но мы оказались жэсточе Его самого. Мы Его пере-хитрили. И мы думали, што... сможем бэз Бога. Нет! Бэз Него — нэль-зя! Нужен новый Бог и новая рэ-лигия. Чтобы народ кому-то всэмо-гущему апять па-кла-нялся. Ильич проста абязан умереть. Чтобы вас-креснуть!

— Как... что?! Как воскреснуть?! Зачем?!

— Вэзде! Всуду! На красных знаменах! На ба-ках наших тан-кав и браневиков! На бар-тах наших ка-раблей! На стенах заводов и фабрик! На доменных пэ-чах! На да-зорных вышках! Пад ка-пытами нашей красной конницы! На пла-щадях наших га-ра-дов! На башнях вак-залов! В свэлых классах наших школ! В каждом уголке нашей неабъятной родины! Родина и Ленин — станут ад-но! Ленин и партия — станут ад-но! Ленин и народ, народ и Ленин — их будут путать, их пере-путают, патаму што а-ни будут — ад-но! Вот а-но, наста-ящее бэс-смертие! А вы гава-рите! Это бэс-смертие — дара-гова стоит! Для этава нэ жалко и умереть! Даже больше: для этава и нужна умереть! Патаму што именна для этава такой чила-век, как Ленин, и ра-дился!

— Боже... Боже мой...

— Што вы Боженькой раз-махиваете! Ильич сто, тысячу раз дака-зал, што никакова Бо-женъки нэт! Был, да сплыл! Теперь есть — мы!

— Не мы! А вы! Так выходит!

— Да, дара-гой та-варищ На-дежда Канстантиновна, выходит так, што — я! тэперь я за всэх вас в ат-вете! за всэх — нас! и значит, вы нэ вправе миня сбрасывать за борт, как балласт! да вам и нэ пад силу будит миня сбросить! я крэпка стаю на этай шаткай па-лубе! я знаю, как, в какую сто-рану ветер накренит ка-рабль! я выдюжу любой штурм! я наста-ящий мужчина, в атличие ат ваших партийных интелли-гентских хлюпиков! я горец, я ха-зян! ат меня нэ вырвешься! нэ убежишь! бэс-толковое дэло! и вам нэ убежать! и нэ ста-райтесь! я вас вэзде нас-тигну! вэзде най-ду! Так нэ убежите? нэ убежите? а? нэ слышу!

— Подите вон.

— Эта што? Вы миня — гоните? Уйду. Видите, уже — уха-жу! Но я вам этава нэ забуду. Нэ забуду! И нэ надей-тесь! Ваша пэ-сенка спета! И его — спета! Вы хоть эта — па-нимаете? па-нимаете?

К Наде приставили сразу трех докторов: Волкова, Авербаха и Елистратова. Доктор Волков из них был самый добрый, тихий, ласковый. Он все гладил Надю по ручке, по плечику. Подносил ей микстуру в мензурке ко рту и угооваривал: "Выпейте, деточка, выпейте, вам полегчает". Доктор Авербах был суров и молчалив; он сажал Надю в подушках и подолгу глядел ей в зрачок через зеркало офтальмоскопа, и направлял в глаз жестокий яркий свет, за jakiгал лампу и близко к лицу подносил, что-то на дне ее глаза въедливо высматривал, и Надя жмурилась и махала рукой: свет, глазам больно, уберите, уберите! Доктор Елистратов был с нею холоден и равнодушен. Холодно засовывал ей термометр в рот, холодно вынимал и вслух констатировал температуру ее тела. Все время вынимал из кармана брекет и посматривал на циферблат: ловил ускользающее время.

Когда Надю ударили муж и она упала на пол, она недолго побыла самою собой. Иосиф вышел из комнаты, и она потеряла разум. Говорила что-то сбивчивое, водила в воздухе руками, а потом полностью утратила сознание. Настала тьма, обняла ее, и это ей было лучше всего; перед тем, как упасть во тьму, она ощутила, вперемешку с огромным, как мир, страхом счастье небытия.

Тьма однажды разошлась в стороны, и на нее со всех сторон хлынул забытый свет. Она разлепила глаза, водила глазами из стороны в сторону и молча спрашивала сама себя: это что, тот свет или еще этот свет? Она убеждала себя, что она просто ненадолго задремала, устала и задремала, а почему, от чего устала, этого она не помнила; и вот она проснулась, и что она, где она?

К ее рту незнакомые руки поднесли таблетку, потом она ухватила губами и даже зубами край стакана, в нее влилась холодная вода, она еле проглотила крупную горькую пиллюлю. В следующий раз разжую, иначе подавлюсь, подумала она, — и опять упала в мягко подстеленный, качающийся вверх-вниз сумрак.

...когда пробудилась опять, вдруг ослеплением, одним мощным и подробным видением встали перед ней лес, и дорога, и подвода, и сивый мужик, и сивый его старый конь, и колышущееся взад-вперед морщинистое лицо бабы, голос бабы размеренно и обыденно говорил о том, как один за другим гибли ее родные люди. Она притиснула к лицу ладони. Так лежала. Ей стало страшно. Она не могла дальше думать обо всем этом, но она думала. Будто ей думать приказывал кто-то большой и страшный, страшнее всех безумных людей, всех убийц и палачей. Она почуяла в своей руке руку вождя; да, так, вот так она держала ее. Она сжала руку в кулак и смотрела на свой кулак. Ее глаза наполнялись слезами. Одна слеза стекла и затекла ей в рот, и она была не соленая, а сладкая. И Надя засмеялась беззвучно и страшно.

Чистая наволочка, чистый пододеяльник. Чуть поскрипывала под ней кровать. Она мотала головой по подушке. Свет качался под ней: вверх-вниз, с боку на бок. Света было вокруг слишком много. Свет кренился под ней и над ней, шел кругами. Голова шла кругом, будто она плясала в избе танец горя с той дурой-бабой.

Ее колотило, тряслось. Огонь обнимал ее и крутил, и вертел, с ней танцевал. Иосиф, прочь, кричала она огню.

Ее голову брали в теплые руки и крепко сжимали, насиливо останавливали пляску. Она зависала над кроватью. Это ее приподнимали с подушек, осторожно, будто хрустальную.

Голоса раздавались над ней, сталкивались, дышали в нее: срок пришел принять лекарство! Надо, надо! А она слышала: Надя, Надя! В ее рот затал-

кивали огромную таблетку, горше полыни, и она с трудом глотала ее, думала: в другой раз разжую, разгрызу. К ее губам подсовывали край чашки. Она пила, хватая чашку губами, зубами.

Есть она не хотела: она с отвращением вдыхала запах принесенной еды, опять мотала головой, когда ей в рот совали ложку. Строгий голос плыл над ней, он звучал приговором в суде: надо поесть! Надо есть, Надежда Сергеевна, иначе вы умрете! Вот и хорошо, думала она, вот и прекрасно. И всем станет легче, и мне станет легче. Смерть это легко. Осенние листья легко летят по ветру.

Слишком холодная вода, шептала она, дайте теплую! Хотелось плакать от бессилия. И жалко себя было, и сладко. К ней на кровать садились, ее кормили насильно. Она вынуждена была глотать пищу, не понимая, что она ест, зачем ест. Потом надвигалась стена огня, и она отшатывалась от нее, махала руками, отгоняя огонь, бежала от него. Опять бежала. Важно было убежать. Куда глаза глядят.

И она семенила ногами, сбивая одеяло в комки тряпичной сметаны, и все бежала, бежала.

В дверь не стучали, к ней входили без стука, с ней обращались, как с бревном, переворачивали и катали по кровати, а потом катали по стылой земле, а потом по снегу, и даже пинали, и это было невыносимей всего. Дверь превращалась в лесное дупло, и она в нем мерзла белкой внутри заиндевевшего мертвого дерева. Дрожала. Ее шкурка ее не грела. Ее не грело ничего, и даже огонь, напрасно он обнимал ее. Потом ее, спящую, затолкали в деревянный ящик. Ящик был как срубовая изба, только слишком маленький, в ее рост. Она лежала в ящике, не могла пошевелиться. Она вовсе не думала, что это гроб: ведь она была еще живая. Голоса опять сумраком сгущались над ней, тучами плыли: она живая... еще живая... Где я, кто я?.. Вы — болеете... вы — заразная... изолировать... во имя здоровья Ильича... увезти отсюда... вон отсюда... мы не знаем такой инфекции... надо классифицировать... обезопасить... так трясется... зуб на зуб не попадает...

...тряска продолжалась, та же тряска, то же колыханье: вверх-вниз, вперед-назад.

Глаза разлепить, надо открыть. Осмотреть мир.

Мир темен и мал. Мир сегодня гроб. Не поднять руки, ногой не пошевелить. Воздух вокруг, мороз, а ей жарко.

В лютом заполярном холоде, в срубе, без окон, в "карете смерти", что отвезена была на тракторе подальше, к самой кромке чернобурой тайги, открыла она глаза, жар мотал ее и тряс, она не могла от него отбиваться, он должен был остаться навеки с ней.

Ну и хорошо, жар ее поддержит и утешит. Мужики говорили: счастливо умереть от мороза, когда замерзаешь, тебе очень жарко, блаженно становится.

От побоев умереть плохо. От пыток — плохо. А от мороза, это же как от вина хорошего, от водки: запьянеешь — и забудешься!

Глаза привыкли к темноте и стали в ней слабо различать тела и тени. Вокруг нее — на полу сруба — вдоль его стен и до самого потолка — лежали живые люди и трупы.

Она обводила их всех глазами. Давала им глазами последнее целование. Человек рядом стонал. Постанывал слегка. Он, как и она, тоже знал, что умирает.

А может, смерть это свет, спросила она себя, и уже не могла улыбнуться, хотя ей так хотелось, — свет, и мы и правда вознесемся, и нам все врали краснознаменные наши учителя, что Боженька сдох под забором, как собака? Если так, какое счастье!

Тот, кто стонал рядом, потихоньку полз к ней. Уже подполз. Ей уже становилось совсем трудно дышать. А жар растекался по одеревенелому телу, и становилось так тепло, будто ее укутали в шубу и накрыли сверху медвежьими шкурами. Мороз это жар, счастливо думала она, и спрашивала себя: а может, надо помолиться? Она молиться не умела, ее не учили. Человек подполз к ней, она ощутила его руки на своих щеках.

Мужчина подтянул тяжелое тело поближе к ней. Стал наваливаться на нее, укрывать ее всем собой.

Он лег на нее, прижался к ней грудью и животом; наложил свои чугунные руки на ее раскинутые руки, на ее птичьи жалкие косточки. И ей стало еще жарче, и она тихо засмеялась от радости. А человек шептал ей в лицо одеревенелыми губами: не плачь, я тебя еще немножко согрею, и вот я с тобой, тебе умирать одной не так страшно будет. Да и мне не так страшно будет, нам обоим не будет страшно!

Он притиснул ее к дощатому полу всей тяжестью, она лежала под ним раздавленная, как сырая лепешка, расплывалась холодным тестом, а он дышал ей в лицо, и вот приблизил губы, и поцеловал холодными губами, и тогда она по-настоящему заплакала, и хотела сказать: спасибо тебе, — да голос в груди закончился, и воздух закончился, и они не могли обнять друг друга, и гудел над ними, как в печной трубе, беспощадный к жизни и жалости, жгучий жар.

...через сутки к "карете смерти" приковылял по глубокому снегу, чихая и кряхтя, ржавый трактор. Из трактора выпрыгнули люди в серых фуфайках, отомкнули заиндевелый тяжелый замок на двери сруба, кочергами выгребли из сруба на снег мертвых.

...на ней лежал, крестообразно разбросив руки, мужик с седой бороденкой. Мужик грел ее телом, пока был жив, и она осталась жива.

Ее из сруба тащили на снег кочергою, как мертвую.

Вытащили всех. Тела валялись на снегу вповалку. Никто не шевелился и не стонал. Пустой сруб стоял и ждал. Главный охранник зычно крикнул: все дрова! кидай здесь! ехай восвояси! Люди в фуфайках сперва побросали в трактор кочерги, потом попрыгали сами. Раскосый парень в толстом ватнике долго прицеплял крюком сруб к заду трактора. Мотор на морозе долго не заводился, захлебывался.

Трактор наконец заработал, медленно затарахтел прочь по проторенной в снежной толще дороге. Тащил за собой деревянный рабский мавзолей. Она еще слышала, как утихают вдали грохот железных гусениц и клекот мотора. Быстро темнело. День здесь длился час, два. Опять воцарялась ночь. Ни облачка на небе.

Она, живая, лежала под высоким ночным небом, и прямо ей в лицо люто светили звезды.

Звезд было не счастье, и все были острее швейных иголок, и все, разом, прокалывали ей глаза.

Она слепла, лежа под звездами, и думала: а может, чудо...

...я белая ткань, меня прострочат, наложат швы, мною укроют покойника... Нет никакого чуда. Есть ход времен. Она умирает в снегу, в сугробах, под звездами, и на том спасибо. Рядом с ней лежит старик крестьянин, задравши к небу куцую бороденку.

Из последних сил она подползла к старику и обняла его.

Отец, шепнула она ему, отец...

...отец, где ты? Где я?

...у меня другой отец.

...почему Иосиф однажды ночью сказал мне, что я его дочь?

...он был пьян. Нет! Он был трезвый как стеклышко. Почему...

...он на меня разозлился... за что?

...он что-то знает! Он не говорит мне!

...скажите вы мне, скажите, скажите...

...о, я не помню, когда была наша свадьба... может, и свадьбы не было...

Выпейте чаю. Не хотите? Выпейте соку. Съешьте кашу. Запейте водой пильюлю. Вода теплая, не холодная, не бойтесь. Прекратите капризничать! Вам уже лучше, не притворяйтесь. У вас температура упала. Почему вы смеетесь? Вас скоро отправят домой! Послужили здесь! Скажите спасибо, что вы жена...

...я жена, да, я его жена, а кто же его дочь тогда?

...отец, отец, а кто же мой отец...

...когда она открыла глаза и впервые осмысленно поглядела на стены комнаты, на тумбочку с пузырьками лекарств и на склоненные к ней лица людей, первым ее вопросом было: "А кто же мой отец?" Ей сказали, кто, и даже назвали имя. И она имя узнала. Ей сказали имя матери. И имя матери она узнала. Ей показали фотографию ее сыночка. Она назвала его имя. Потом ей показали фотографию вождя. Она отвернула лицо к стене.

...а утром пошел снег, густой и слишком белый, и густо, плотно и тепло укрыл простывшую землю, до горла укутал.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Странное заседание Политбюро ЦК ВКП (б). — Члены Политбюро обсуждают грядущее захоронение еще живого Ленина. — Мужик Епифан и мальчик Иван выбирают в лесу елку для встречи Нового года, срубают ее и привозят на санках в усадьбу. — Ленин и дети на усадебной елке в старое Рождество. — Дети водят хоровод вокруг красиво наряженной елки. — Ленин и Крупская печально говорят о счастье. — Крестьянские дети жадно едят праздничный брусничный пирог.

Калинин нервно дергал маленькую беленькую бородку.

Бухарин смотрел поверх лбов и затылков: надменно, чуть злобно.

Каменев ерзал на стуле, иногда привскакивал, снова садился, успокаивал ладонями дрожащие колени.

Рыков обхватил руками лоб, уткнул локти в колени и так, сгорбившись, сидел.

Троцкий указательным пальцем поправлял пенсне. Иной раз пенсне весело валилось у него с носа; он ловил его, как ловят стрекозу, и снова зло вздржал на нос.

Все сидели, а Stalin стоял, упираясь побелевшими пальцами в столешницу. Красный бархат скатерти под его короткими толстыми пальцами собирался в складки.

Stalin держал речь.

Все слушали.

— Сас-таяние зда-ровья Вла-димира Иль-ича Ленина ухудшается с каждым днем. Мы всэ прэ-красно видим, што дэло идет к непа-правимаму. И па-этamu мы дал-жны каждую минуту быть га-товыми к...

Он выждал длинную паузу. Он тоже хотел быть оратором.

Все ждали. Никто не подал голос.

— К смэр-тельнаму ис-ходу!

Гробовое молчание. Все члены Политбюро молчали так, как если бы Ленин уже умер, и все они уже сидели, глядя на его красный гроб, стоящий прямо здесь, на столе.

— Та-варищи! — Сталин повысил голос. — Пра-шу вы-сказаться, кто жила-ет!

Встал Калинин. Продолжал безжалостно дергать свою бедную бороденку. Троцкий слегка ударил его по локтю, и Калинин прекратил терзать бороду. Стекла его очков блестели нестерпимо, и за стеклами не было видно, что говорили его глаза. В наступившие времена глаза и язык часто говорили разные речи.

— В связи с тем, что кончина нашего дорогого Владимира Ильича недалека... уже на пороге... мы должны решить ряд важных вопросов! — заклекотал Калинин по-петушиному. — Кончина вождя надвигается, и перед нами всеми встает насущнейший вопрос о том, как нам, коммунистической партии Союза советских социалистических республик, лучше всего организовать его... — Он все-таки выкричал это запретное слово. — Похороны!

Сидящие за столом потупились. Рассматривали золотые нитяные шарики по краям алой скатерти. Носки своих башмаков. Щели меж половиц.

— Это ужасное, поистине трагическое событие... не должно застигнуть нас врасплох! Мы будем хоронить Владимира Ильича так, как не хоронили еще ни одних царей и королей... ни одних святых! Это будут такие похороны, такие... такие могучие! такие величественные, каких мир еще не видывал никогда!

Сталин сделал покровительственный жест рукой, жест этот говорил: "Садитесь и помолчите, ваша речь была хороша, я одобряю ее".

Все опять молчали. Рыков вертел в пальцах позолоченный нитяной шарик скатерти.

В тишине загудел голос Сталина.

— Я пол-настюю пад-дэрживаю па-зицию Михаила Ива-навича. Мы должны всо при-гатовить заранее. Чрэз-вычайно важно всо как следует пад-га-тovить. Штобы рука-водство нашей партии нэ ака-залось в расте-рянности пэред лицом неваспал-нимай утраты. А вы знаете о том, што... — Опять он выждал паузу, и опять пенсне упало с переносицы Троцкого. — Вап-рос о паха-ранах Ленина вэсьма бэс-пакоит и нека-тарых наших та-варищей из пра-винции?

— Из какой конкретно провинции, Иосиф Виссарионович?! — задушенно крикнул Рыков.

Сталин даже усом не повел. Не глянул на кричавшего.

— Пра-винция у нас в Рас-сии — эта всо, што нэ Мас-ква! — Свел рыжие брови, и лицо заметно помрачнело. — Пра-винция, эта и есть Рас-сия! Глу-пый вап-рос! Так вот, таварищи из пра-винции гаварят, што Ленин русский чи-лавек, и должен быть па-ха-ронен как русский чи-лавек!

— А как хоронят русского человека? — спросил Каменев. В его невинном вопросе прозвучала открытая насмешка.

И Stalin усмехнулся.

— Прежде всэго, русскава чи-лавека нэ сжигают! Крэ-мация, эта нэ русский а-бычай! Никакова русскава чи-лавека никакда нэ креми-равали! И та-варищи из пра-винции катега-рически против сжигания тела! Са-жжение па-койника абса-лютна нэ са-гласуется с исконно русским па-ниманием лубви к усопшему и прэ-кланения пэред усоп-шим! Более таво я вам скажу: са-жжение па-койника может па-казаться даже ас-карбильным для памя-ти о нем! А вы знаете, та-варищи, каво ва-абще сжигали? Нэ знаете? Ну так пака-пайтесь в сва-ей памяти! Каво уничта-жали аг-нем, чей прах развеи-вали па ветру?! Ну?! Правильна, Алексей Иванович, прэ-ступников! Прига-ва-ренных к смэртнай казни! Штобы и памяти о них нэ ас-талось! И вы ха-тите, чтобы мы вот так — Ленина са-жгли?!

Он уже говорил громко, напористо. Сам возвышался над столом, будто су-дья, только деревянного молотка в руках не было.

Снова молчание. И опущенные головы.

— Малчание знак са-гласия, — выдохнул Сталин. — Нека-тарые та-варищи, и срэди нас есть такие, нэ будим пальцем пака-зывать, пала-гают, што са-временная наука да-шла да таво, што может, с помощью бальза-миравания, на-долга са-хранить тело па-койника.

— На сколько — надолго? — взвился Троцкий. Пальцем зло прижал пенсне к переносице.

— На-долга — эта, Лев Дави-давич, на-долга. На такое врэ-мя, чтобы мы всэ сма-гли при-выкнуть к мысли, што Ленина всо-таки уже нэт срэди нас. Троцкий вскочил. Грубо отодвинул стул и выскочил из-за стола. Подскочил к Сталину. Сталин глядел на него спокойно, чуть насмешливо. Было видно, что Сталин готов ко всему, и ко вспышкам бешенства, и к язвительным вы-падам.

— Товарищ Сталин! Можете не продолжать! Я возмущен! Я понял, куда вы клоните! Эти сладкие, сиропные слова о том, что Ленин русский человек, что его надо хоронить по-русски! Товарищи! — Троцкий обвел всех бешено горящими глазами. — Кто тут православный! Эй, кто православный тут! Молчите? Так я вам все скажу! Я, иудей, вам все скажу! По канонам рус-ской православной церкви усопшие святые угодники делались чем?! Моща-ми! Вы тут нам о науке! Об ее достижениях! Простите, но я не дурак! И мы все тут отнюдь не дураки! Вы всем нам тут советуете сделать так же, как поступала русская православная церковь — сохранить тело Ленина! В виде нетленных мощей! Что за ужас! Нам, партии революционного марксизма! Идущим вперед под красным знаменем! Форменный ужас! Раньше были мо-щи, ну, там Сергея Радонежского... и этого, как его, Серафима Саровско-го... а теперь — что?! Заменить моши святых мощами Владимира Ильича?! Фу! Гадость!

Троцкий тяжело дышал.

Сталин его не перебивал.

Все так же усмехался.

— Я очень бы хотел узнать, кто такие эти хитрые товарищи из провинции, что предлагают с помощью достижений науки сохранить останки Ильича! Забальзамировать тело, превратить его в святые моши! Я бы встретился с этими товарищами лицом к лицу! И я бы уж поговорил с ними! Я бы сказал им... — Троцкий пыхтел, как паровоз, кровь прилила к его смуглому лицу, пенсне опять свалилось у него с носа, и он не стал ловить его: оно висело у него под подбородком, моталось на тонкой серебряной цепочке. — Что их амбиции не имеют ничего общего с наукой марксизма! Что это подлость, так предавать марксизм! Так откровенно его подставлять!

Троцкий, шумно сопя, уселся за стол, не ожидая разрешающего жеста Сталина и не глядя на него.

Сталин молчал. Потом разлепил рот.

— Кто ишо жи-лает выска-заться?

Медленно встал за столом Бухарин.

Сталин измерил Бухарина деревянным взглядом, как закройщик — деревянным метром — рост клиента.

Бухарин выставил перед собой сцепленные руки и хрустнул пальцами.

— Простите великодушно, Иосиф Виссарионович. — Начал мягко, вкрадчиво. Ничто не предвещало грозы. — Я должен вам сказать. И всем сказать. — Обвел взглядом всех, сидящих за столом; его аккуратные усы смешно вздрагивали, будто у него на губе сидели два сверчка. — И, смею надеяться, мои слова не будут истолкованы превратно! — Внезапно крепко схватился обеими руками за спинку стула, на котором сидел, рядом с ним, Троцкий. — Если мы сделаем из Ильича египетскую мумию, это станет прямым оскорблением его памяти!

Каменев кивнул и закрыл рот ладонью, будто заталивал внутрь себя готовые вырваться слова.

Бухарин расправил плечи. Он уже будто парил над столом, его голос гремел и гудел. Он шел войной на заседавших, как на молчаливые поля идет страшная гроза.

— Эта идея, сохранить нетленным тело вождя, полностью противоречит мировоззрению Ленина! И нашему с вами, товарищи, мировоззрению! Думаю, дальнейшему обсуждению эта вредная идея не подлежит!

— Вы нэ-правы, Ника-лай Ивана-вич. Пад-лежит аб-суждению всо, — спокойно, продолжая усмехаться, вставил Stalin.

Бухарин смело обернулся к Иосифу.

Заговорил горячо, властно, рубя воздух сжатым кулаком.

— Нет! Не все! Есть вещи, которые не подлежат даже публичному оглашению, не только обсуждению! Вдумайтесь только, что вы хотите сделать! Вы хотите возвеличить мертвое... будущее, — поправился он, — мертвое тело! Обожествить прах! Я наблюдаю в последнее время опасную тенденцию. Мы, коммунисты, хотим сделать наших учителей и соратников — святыми! Я слышал о том, что из Англии хотят перевезти к нам, в Москву, прах Карла Маркса. Якобы этот прах, захороненный близ Кремлевской стены, прибавит святыни всем тем, кто там, рядом с Кремлем, лежит в земле сырой. Святости, вдумайтесь! — Раздувал ноздри, как бык. — Прошу прощенья, я, конечно, передаю сплетни, но я сам это слышал, своими ушами! Это же черт знает что такое!

Выдохнул. Оглянулся на Каменева.

— Лев Борисович, поддержите меня, пожалуйста! Ну почему все молчат!

Бухарин стоял, не садился.

Встал Каменев. Развел руками.

Он был в белой рубашке, очень любил всегда все белое, светлое. Будто бы всегда стояло теплое, солнечное лето.

— Да, да, да, тысячу раз да! Николай Иванович все правильно говорит! — Заговорил страстно, быстро, сбиваясь, путаясь, брызгая слюной, утирая рот, усы и бороду ладонью, сам себя перебивая. — Это ваше бальзамирование — чушь собачья! Вы даже не представляете, как на это отреагирует народ, и как он... это же надо, не понимать одного, что это поповство самое настоящее! Попы бы вас похвалили... вернее, не похвалили бы, а ужаснулись тому, что вы красного вождя... а между прочим, Ленин сам ведь буквально ненавидит попов и поповщину! Он сам всю жизнь — с религией бо-

рется! Он не знает, как нам... слушайте, но это же колоссальная ошибка, ее нельзя делать ни в коем случае! Мощи! Православие! Попы с кадилами идут! И куда они идут?! Где вы предполагаете хранить мумию?! Выставить ее на всеобщее обозрение?! И чтобы народ шел, шел... слушайте, но если вы сообщите о ваших далеко идущих планах Владимиру Ильичу, он вас поднимет на смех! Или хуже того! так словом пригвоздит, расстреляет, что — вовек не воскреснете! так и будете ходить мертвецом... Какие-то товарищи из провинции! Черт знает кто! А знаете что! Назовите-ка нам их имениа! ну, фамилии этих самых товарищней! Ну, кто выдвинул идею бальзамирования! Мумия Ленина, ведь это ж надо такое придумать, а! в голове не укладывается! Николай Иванович, вы...

Весь потянулся к Бухарину, ища поддержки.

Сталин сильнее уперся пальцами в покрытый бархатом стол.

— Я ат-казываюсь называть вам фа-милии этих та-варищей.

Быстро, будто на другом конце красного стола клюнула на невидимую удочку рыба, и ее надо было подсечь, встал со стула Калинин.

— Товарищи. Успокойтесь. Не так громко. Уши болят от ваших... гм, криков.

— Потрогал пальцами свои большие уши, опять подергал, пощипал белую бородку. — Вопрос непростой. Вопрос — серьезный! Что и говорить. Я сам деревенский человек. Я — из мужиков. И с твердой уверенностью могу вам сказать, что в восприятии любого простого мужика Ленин — это силища. Это не просто человек, который своротил и разбил машину самодержавия. Он для мужика — своего рода... попрошу не смеяться, не перебивать меня... не кричать мне грубо... Бог! Да, своего рода Бог, да! Так! И мужик нас плохо поймет, если мы просто возьмем и... — Смутился. — Положим Ленина в яму... в землю... и — закапаем...

Смутился говорить о Ленине, еще о живем, как о мертвом: будто вождь уже умер, и надо было срочно распорядиться останками.

— А что же захо-чит ат нас мужик?

Сталин спрашивал спокойно, медленно, почти по слогам произнося слова.

Калинин протянул руку к бороде — подергать, но опустил руку вниз. Стоял перед Сталиным по стойке "смирно".

— А то самое! Вот эти мощи и захочет, о которых мы тут битый час толкуем!

Сталин перевел пристальный взгляд на Рыкова. Глаза его искрились, смеялись. Будто бы он выпил вина и веселился, вот-вот запоет.

— А вы, дара-гой Алексей Ива-навич, што мал-чите да мал-чите? Сваи сабражения на этот счет имеете? Если да — миласти пра-шу! Вы-скажитесь!

Рыков поднялся над столом.

— Вот вы, Михаил Иванович, из мужиков. И я — из мужиков. Из крестьян я.

Революция меня в плен взяла давно. И не жалею. Что ж я вам всем скажу?

— Обвел всех мрачными, горящими темным пламенем, широко стоящими под бычьим упрямым лбом глазами. — Вам, интеллигентам? Я, быть может, права даже не имею. Но я боролся за революцию, как все мы. Страдал. Шел вперед. Я понимаю, Ленина вот-вот не станет. Он тяжко болен, я все понимаю. Но, товарищи, нельзя так. Это наше собрание — оно и правда святотатственное. Нельзя так о живом человеке. Перекрестить лоб! — Он неожиданно горько, тяжело вздохнул. Все ждали. — Все мужики за много веков привыкли крестить лоб! Привыкли думать о том, что выше их — Бог сидит! Все равно там, за облаками, сидит! — Рыков показал узловатым пальцем вверх, в потолок. Stalin поморщился. — А тут вдруг Бог — и на земле оказался! Среди нас!

Троцкий сидел красный, краснее краснобархатной скатерки.

— Что вы тут... о чём вы... как язык у вас поворачивается...

— Да! — Рыков вскинул гордую красивую голову. Он, мужик, тут, среди за-коренелых партийцев, гляделся старорежимным князем. — Поворачивается! Крестьянин увидел, узнал, что на земле могут быть такие же сильные люди, как силен Бог над ними! И что эти люди... этот человек... действительно взял да и повернулся, и перевернулся землю, мир! Весь уклад перевернулся ве-чный! И начал собою новую эпоху! Мы, — обвел всех плавным жестом вытя-нутой сильной руки, — даже еще толком не понимаем, что он сделал. Как он руль повернулся. Мужик ждет земли. Мужик затаил дыхание: как оно все сложится? И мужик, во всей стране, прекрасно знает: Ленин, Ленин ему путь указал! И вот Ленина нет. Конечно, мужик ждет, что такой моши вождя, вождя такого ранга... для мужика даже не царского — Божьего ранга! — не возьмут и не похоронят, как простого смертного, на кладбище в землич-ку закопают, а похоронят его как-то необычно, как-то... — Слово искал. — Велико!

— Вэ-лико, — Сталин разгладил пышные усы, — вэлико...

— Да! Велико! Ритуал похорон Ленина должен отличаться от обычного тра-урного ритуала! И будет отличаться! Иначе народ нас не поймет!

— Вы хотите сказать, что Ленин — это живой Бог?! наместник Бога на зем-ле?! Помилуйте! — Лицо Троцкого перекосилось, волосы буйно взметнулись у него надо лбом и торчали в стороны, устрашающе вились, как у берсерка в бою. — Вы хотите его тело положить в красную раку?! Культ, куль! Моши в золотой раке! Ужасающе! Бред! Я никогда не думал, что доживу до такого бреда! Что мы этот бред будем обсуждать на Политбюро! Всерьез! Я хочу уйти отсюда! Покинуть собрание!

Говорил это и продолжал сидеть.

— Ска-тертью да-рога! — спокойно, с улыбкой сказал Сталин.

Рыков зарокотал:

— Мы все должны обдумать! Взвесить все! Ленин — гений. Он, да, перевер-нулся мир. Указал дорогу! И, товарищи, хотим мы этого или не хотим, но по-следующие века буду обожествлять Ленина. Придут другие поколения и вознесут его на пьедестал! И мы должны это хорошо понимать. А вы пони-маете это? Понимаете?!

Опять все молчали.

Каждый боялся кивнуть.

Сталин вжимал кургузые пальцы в скатерть.

Скатерть шла красными волнами.

Рыков, судя по всему, ничего не боялся.

— Не золотая, а красная рака! Да, красная! Религия и политика — сестры! Хотим мы этого или не хотим! Нас никто об этом не спросил.

В тишине было слышно, как хрипло, бешено дышит Троцкий.

Сталин мазнул глазами по Рыкову.

— Спа-сибо, Алексей Ива-навич. Ува-жил. Ты всо правиль-на понял. А вот та-варищ Троцкий што-то нэ туда мысль па-слал.

Троцкий, с места, затравленно крикнул:

— Товарищи! Слушайте! Это какая-то плохая комедия! Страшная! Ведь Владимир Ильич не умер! Он же еще жив! Жив?! Или, может, уже умер?!
Сталин побледнел быстро, у него выжелтило волнением и презрением щеки, ярче виделись на бледно-желтой коже осипны.

Он заставил себя это сказать.

— Нэт. Нэ умер. Ка-нэшно, нэт.

Общий, еле слышный вздох облегчения медленно вытекал из людских лег-ких.

Нет людей в Красном Мире: есть знамена и символы.

А красная рака, ведь ее никогда не было?
Значит, будет.

В усадьбе готовились к встрече Нового года.
Елка была привезена из ближнего леса; ее выбрал и срубил Епифан.
На рубку ели Епифан взял с собой мальчишку, Ивана. Иван уже перенял
все повадки прислуги, его пользовали все кому не лень — и доктора, и по-
вара, и кухарки, и комнатные бабы, и грузчики, и даже партийцы, кто на-
езджал из Москвы в гости к Ленину, завидев резво бегающего у них под ногами мальчонку, свистели ему, как собаке: фыть, помоги, принеси, унеси!
Как в будущем люди будут обходиться без слуг? Ведь объявлено же, что все равны! Все, да не все. Ванька, сюда! Помоги!
И он пособлял, растропно, с удовольствием. Епифан его так учил: живи послушно, кланяйся радушно. Как ты хочешь, чтобы обращались с тобой, так и ты обращайся с людьми. И всем всегда угоден будешь. И всем радостно от тебя будет, и тебе в ответ радость доставят. Иван смеялся: а если не радость подарят, а пулю в лоб из маузера?! Епифан плевал на снег. Тьфу, язык твой без костей! А то, без костей, конечно!
Они оба на лыжах отправились в лес. Снегу нападало густо, весь декабрь валил снег, и на пороге Нового года повалил еще гуще, сытнее, нападистее. Епифан по колено увязал в сугробах, а Ваня — тот проваливался, пока шли к ельнику, чуть ли не по самую маковку.
Вошли в ельник. Черные еловые лапы трогали их, ласкали и кололи, ненароком, а может, и нарочносыпали на них гроздья чистого сахарного снега. Епифан придирчивым, дотошным взглядом долго щупал каждую гожую ель.
— Ну, дядя Епифаша, ты до какой охоч?
— Охоч, охоч! Ель чай это не девка, чтоб до ней охочим стать!
Утаптывал широкими охотничими лыжами снег, оглядывая деревья, охлопывая ели по лапам, по стволам, стряхивая с них снеговые муфты. Иван послушно скользил сзади. Ждал. Дождался — вдруг Епифан остановился, задрал башку так резко, что овечья шапка в снег свалилась, и крикнул радостно:
— Вот она! Вот, родименька! Красавица, милавица!
Ваня подъехал близко к мужику, тоже задрал голову, любовался.
— А это... не жалко такую-то красоту рубить?
Епифан грозно глянул на мальца через плечо.
— Хе, хе! А детишек, что на елку званы в усадьбу, тебе не жалко?! Чай, они елки той ждут, как с небес манны!
Ваня слотнул и постарался принять бодрый вид, веселый.
— Тогда — руби!
— А ты — держи! Ствол направляй! Чтоб от нас в сторонку толкнуть, а не на нас!
Поплевал на руки, на топор. Взмахнул топором.
День выдался туманный, ветреный, да для декабря теплый. По небу резво бежали тучи, чреватые снегом. Звонко ударяло лезвие по смолистому стволу, взлескивало на свету. Из-за туч то и дело на миг показывался белый маленький шар солнца, будто кто-то яркий, слепящий снежок бросал. И опять блескучий шар укатывался за серые лохмотья. Епифан взмок, рукавицей утер пот со лба, чертыхнулся и сбросил рукавицы. Торопище держал голыми руками.
— Так-то сподручней!

— И то верно, дядя!

Иван толкал липкий, в каплях смолы, ствол от себя. Все сильнее пахло смолой и свежей древесиной — будто яблоко разрезали. Елка дрогнула, встряхнула разом всеми ветками, густо и искристо осыпая с них снег, и стала медленно и страшно валиться. Падала, треща, и вокруг ломались и трещали малые деревца, которых она могуче подминала под себя, обрушиваясь, умирая. Она умирала, губя ближнюю молодую поросль. Ничего было с этим не поделать. Треща и кряхтя, она упала, прдавливая снег, и мужик и мальчик стояли и потеряно глядели на нее: вот она была жива — и убита, и ничем не воскресить, а только теперь прикинуться, что на один земной миг она станет нарядной, станет весельем и забавой для детей, вбегающих гурьбою в ярко освещенный электрическими лампами и живыми свечами, пахнущий пирогами и жженым сахаром зал. Елка отразится в навощенном паркете, растопырит лапы, ее темная, почти черная зелень оттает и посветлеет, горячий воск застынет на ветках, под ней будут стоять ватный, в серебряных и стеклянных блестках, Дед Мороз и картонная малютка Снегурочка в кокошнике, усыпанном стеклянными снежинками, на ветвях будут раскачиваться цветные шары, шишки и орехи, и шоколадки в хрустящей фольге, и апельсины на суровых нитках, и куски нуги, обкрученные медной проволокой, и хлопушки, и чучела волнистых попугаев, и гирлянды из сушеной вишни, и низки поддельных жемчужных бус, и пряники в виде мышек-норушек, дресированных собачек и золотых рыбок, и конфеты от Эйнема, и фонарики с живыми огнями внутри, под тусклым кривым стеклом, и крошечные настенные часы, ну как настоящие, с маятником и стрелками на циферблате, и бархатные лошадки с густыми гривами, и павлины сшелковыми изумрудными хвостами, и волки, сшитые из серой байки, и коты, на спицах связанные из овечьей шерсти, и даже, хоть в Бога все и пллюют сейчас, маленькие образки с родными святыми — Никола Чудотворец, Параскева Пятница, Царица Елена, а вот и Божья Мать, а вот и Спас, да что там, не сымайте, пусть висят. А на верхушке золотая звезда! Зачем золотая? Надо красную! А ниже звезды мотается на черной колючей ветке ангелхранитель. Крылышки позолочены, губки красным бантиком. Не сдерните ангела! Сберегите! Он — от беды сохранит вас!

Епифан вынул из-за кушака толстую крепкую веревку, тую обмотал веревкой еловый комель.

— Это тебе, — край веревки всунул в руку Ивану, — только гляди, на руку себе не наматывай. лучше петлю сладь и на грудь накинь. Как бурлак.

Сам пошел к верхушке ели. Так же тую обкрутил ствол веревкой.

— Вставай назад!

Ваня встал у комля. Епифан закинул конец своей веревки себе на грудь.

— Тащи!

Потащили. Тяжело, а шутили, хохотали.

С отдыхом двигались.

...вот оно и крыльцо усадьбы.

Мимо пробежали, закутанные в платки с кистями, дырявяя валенками пухлый снег, две дочки кухонной бабы Глафиры. Покосились на елку, звонко крикнули: "Красотуля елочка какая!" На страже сидел снегирь, клевал у себя под крылом, горел как алый фонарь.

— Дядя Епифаша, я как во сне... неужто мы ее — осилили?..

— Парниша, вышло, стало быть, так... вот она... девочка...

Елку — смешно — девочкой назвал.

— Да ить еще ее наверх — волочить!

— Сволочим, не может быть, штоб тута ночевать оставили.

Епифан и Ваня вдвоем дотянули громадную, черную тяжелую елку до залы на верхнем этаже. То-то раздолье здесь детям поплясать! Просторно да светло. Чужая баба с широкой, сковородкой, рожей, имени ее Ваня не знал, принесла дубовую крестовину, следом в залу ввалились три мужика-грузчика, елку с ахами и охами, вскрикивая, шутя и причитая, всовывали в крестовину, укрепляли веревками, а с боков к мощному стволу еще и доски подставляли — чтобы хорошо держалась, ровно, не свалилась невзначай. Епифан сунулся было помочь; мужики плечами его отстранили, кинули ему весело и чуть презрительно: иди, гуляй! отдыхай после трудов праведных!

— А ежели грязнется?.. со всеми свечками, пряничками?.. гирляндами?..

— Ну, Ванятка!.. это ж будет форменный позор... не допустим!

Укрепили. В залу медленно вплыли женщины. Именно эти женщины, сказал Епифан Ивану, будут обряжать елку. А они сделали свое дело. Им пора и утешить отсюда ручьем.

— Давай, парень, все, откланялся...

— Да я щас... да я вот уже...

А сам все глядел на елку, глядел.

У первой тетки, что вплыла толстой павой в зал, в руках лежал и молчал большой деревянный ящик. Тетка подплыла к столу и неуклюже поставила ящик на стол. Будто живого медвежонка сажала. Отряхнула руки, на ель прищурилась.

— Экая елка красивая!

Все их елку хвалили. Ваня гордился.

Епифан пятился к двери и дергал Ваню за руку: ты, мол, тоже иди.

Вторая женщина, помоложе, в белом фартучке, подбежала и быстро открыла крышку деревянного ящика. Под лучами люстр загорелись стекло, медь, позолота и зеркальные осколки елочных игрушек. Тетка в фартучке первым вытащила на свет ватного Деда Мороза. Он сверкал тысячью мелких стеклянных огней.

— Ах, красавец наш! Дедушка ты наш! Ну, здравствуй! ты наш родной!

Горничная говорила с Дедом Морозом, как с живым. Обнимала его, трогала пальцем его размалеванные алые щеки, с ним сюсюкала. Ваня хмыкнул. Он скользил валенками по паркету к двери, и на паркете за ним тянулись влажные следы, как санный след. Они с мужиком уж топтались у дверей с лепниной в виде львиных голов, а все никак из залы с елкой уйти не могли. Мужик крепко ухватил его за красную от мороза руку.

— Ванька... ну что ты стал, как воротний столб... поклонися, да вон отседа...

— Дяденька! а за елку-то нам уплатят?

— Да кто яво знат... можа, и уплатят... да пущай и не уплатят, оно радостно, учинить радость людям... пойдем, говорят...

И тут к столу, к раскрытыму ящику подошла третья тетка, еще моложе двух первых. Иван узнал ее: это была третья машинистка Ильича. Он давно ее не видел, вспомнил: ему болтали, хворала она. Она вынула из рук у горничной льдисто сверкающего Деда Мороза. Процокала на лаковых каблучках к голой, без игрушек, елке. Наклонилась, будто кланялась ей, как холопка царице, и поставила под разлапистые темные ветви ватного Деда Мороза в обсыпанных блестками рукавицах, в шапке с красной, как у царского казака, тулей. Дед Мороз смотрел на машинистку круглыми глазами. Иван смотрел на них обоих. У него отчего-то заныло в груди слева.

— Дядяша... штой-то в грудях, слева, вот здеся, болит...

— А ну тя, парень, заморока одна с тобой... Тута кольнет, тама стрельнет... вниманья не обращай, слышь...

— Стой, спрошу!

Ваня вырвал руку из цепкой руки Епифана и подбежал к Наде.

— Эй, гегей! Барышня машинистка! Ой, звиняйте, товарищ! Скажите, товарищ, а празднество-то на когда назначено? сразу, как ель обрядят, што ли?

Надя повернулась к мальчику.

— Елка будет в самое Рождество. Седьмого января.

— Ай-яй! — Глаза Ивана загорелись восторгом. — А я-то думал, Рождества у нас уже нет! А вместо него горки, пляски, санки да салазки!

Епифан дернул его за полу шубейки.

— Тихо ты... будет языком молоть...

Ваня будто и не чуял, и не слыхал.

— А дети-то на елке той — будут?

— Будут, будут! Из всех окрестных деревень приглашены!

— И подарки будут?

— И подарки!

— Ох ты, вот это здорово, подарки! А я можно приду?

— Можно, можно!

Она очень хотела улыбнуться. Но не могла. Губы застыли, ледяные.

Крупская плотнее укуталась в шаль. Какой морозный стоит январь в этом году.

Ильич за ее спиной уже сидел в кресле-каталке. Его подняли с постели и одели чужие руки. Жена надела на него только пиджак, и еще затянула галстук — он любил, чтобы к рубашке был подан галстук, узел галстука под шеей придавал ему больше уверенности: он был для него как для военного эполеты и аксельбанты.

Ильич дышал тяжело, будто работал насос. Она слушала эти хрипы. Но все так же холодно, молча, смотрела в расписанное ледяными хризантемами окно.

Ленин перестал хрипеть и глухо позвал:

— На-дя!

Она не отозвалась. Сжала руки под шалью. Думала о своем.

Ильич повысил голос и дал петуха, как плохой певец в опере.

— На... дя!.. а раз-ве не пора?

Крупская, тяжело утираясь локтями в колени, сначала приподняла над сиденьем зад, потом медленно выпрямила спину. Подшаркала к креслу-каталке.

— Володичка, ты прав, пора. Я позову Епифана, он повезет тебя.

Она тяжело, взяя по паркету ногами, подошла к двери, распахнула створки, крикнула в звенящую холодную пустоту:

— Епифа-а-а-ан!

Мужик вынырнул, будто из проруби в морозный воздух, обрадованной, играющей серебряной рыбой. Белая праздничная поддевка, седая, смазанная маслом голова.

— Я, ваше бла... товарищ Крупская! Здесь!

Жена вождя взялась ладонью за лоб.

— Уф, напугал меня как... Вези Ильича в залу, дети уж собрались!

— Ить да, слыхать, как гомонят. Веселья им, елка-то!

— Ну, ну, бери, вези уж...

Епифан вошел в спальню, нюхнул спертый воздух, взялся за спинку каталки, выдохнул, развернулся вместе с каталкой к двери, выкатил в коридор.

дор, а коридор сегодня был освещен — Крупская заставила зажечь все люстры, все лампы, пусть все огнями полыхает, и пусть по-старому, как до революции, празднуют Рождество. Бога нет, а рождение Его празднуют, погди-ка ты, изумленно думал Епифан, катя кресло на огромных, серебряно блестевших колесах по гладкому, как речной лед, паркету. Все никак отвыкнуть не могут! А что, может, попрыгают-попрыгают без Бога-то, да вдруго-рядь к Нему и вернутся. Без Бога — нельзя, как так без Бога. Детишки, оно понятно, в Него теперь уж мало верят... да сами детишки — они ведь Бог живой, сказал же Он в Писании: будьте как дети...

Ильич прижался спиной к обитой клетчатой шерстью спинке каталки. Мелькали длинные спицы в колесах. Мужик катил вождя по коридору быстро, с ветерком, будто на тройке вез по чистому полю, под ветром и снегом.

— Иэ-э-эх-х-х!

Разбежался, колеса скользили по льду паркета, спицы сверкали, мелькали все быстрее.

Ильич вцепился левой рукой в подлокотник. Правая лежала на коленях. Колени были заботливо укрыты пледом.

— Ты... Епи-фан... ты не так... быс... быс-тро...

Мгновенно проскочили коридор, мужик замедлил бег перед открытыми дверями в залу.

— Тпру-у-у-у! все, прибыли, товарищ Ленин Володимер Ильич!.. детки уж заждались...

Мужик вкатил каталку с неподвижно сидящим вождем в залу, и гладкие, отлакированные временем белые колонны пылали лучезарным льдом в свете огромных хрустальных люстр. Ленин огляделся, с натугой поворачивал короткую шею. Никого не было в зале.

Вождь беспомощно свел брови на лбу домиком.

— Наденька!.. а где... де-ти?..

Крупская, едва дыша, подтаскивала увесистое тело к дверям, и вот уже входила, и вот уже слышала истаивающий в лучах праздника ленинский растерянный вопрос.

Подошла к каталке, успокаивающе положила потные ладони на плечи Ильича. Не могла отышаться.

— Дети?.. да вот же дети... Эй! дети! где вы! куда спрятались! выходите!

И дети начали появляться.

Вышли из-за елки. Выползли из-под черных, колючих ветвей, будто они были зайцы и от волка прятались там. Попрыгали на паркет из-за гардин, с подоконников. Выкатились на голый электрический, беспощадный свет из-за белых, в три обхвата, колонн. Медленно, робко входили в залу из распахнутых гостеприимно дверей — не людьми, а собаками, кошками господскими: позвали — бежим, поманили — вот они мы, тут.

Одеты все были во все самое лучшее. Родители нарядили их во все самое праздничное, во что наряжали от века крестьянских детей: девочки шли по зале в длинных, до полу, полотняных рубахах с красными вышивками у ворота и по подолу, мальчики в аккуратных портках и белых холщовых рубашках навыпуск, подпоясанных и нарядными кушаками, и простыми пеньковыми веревками. У многих на коленях портков сидели кожаными жабами заплаты. Крупская смотрела на их ноги. Все в лаптях. Только две девочки в башмачках; одна в красных, другая в черных; из сундука на торжество достали, строго-настрого наказали — ничем не попачкать, каблучок не сломать.

Жена вождя растерянно обводила детей подслеповатым взглядом. Она забыла надеть очки. Лица детей она видела туманными, расплывчатыми, как

сквозь взбаламученную воду в купальне. До ее слуха донесся снаружи тонкий, тихий вой. Она вздрогнула. Потом поняла: это выла метель.

А где же детские шубки, зипунчики, шапочки? Куда они их сложили? Где разделись? Не перепутают ли потом свою одежоночку?

Крупская подходила ближе, и различала: на рубахах тоже заплатки, штопка на штопке, и лапоточки грязненькие, истоптанные, не на свежо их сплели, много уж в них хожено, — и она не знала, не могла бы догадаться ни почем, что всю эту чинно-важную одежечку, праздничные наряды, молча плача зимними ночами, сшили им их матери из взрослых обносков.

— Здравствуйте, дети! —озвысила она голос.

— С новым... с новым... с новым! — зачастали детские голоса. Девочка в красных башмачках испугалась, что она крикнула слишком громко, невежливо, и от стыда закрыла глаза локтем.

Епифан переступал с ноги на ногу за спиной Ильича.

— Володимер Ильич, скомандуйте, куда лучше вас пристроить! К елочке поближе ай к окошечку?

— Из окна дует, — холодно сказала Крупская. Распорядилась: — Подкати сюда, вот сюда.

Указала на торчащую вбок и вверх мощную еловую лапу.

Под нее Епифан услужливо подкатил каталку, и Ильич выглядывал из-под могучей ветки, как из шалаша.

У него один глаз глядел мертвенно, навыкате, мячом для пинг-понга вываливался из-подо лба, а другой дергался, бегал туда-сюда, словно все, что видел, желал обнять одиноким сиротским зрачком, погладить, пощупать, — запомнить.

— Удобно ли вам тута, Володимер Ильич?

Епифан утер ладонью рот и усы, будто уже накушался сладкого.

Глаза его косили вбок, за ближнюю колонну: там стоял укрытый чистой крахмальной скатертью стол, на нем возвышался пузатый баташовский, весь в клеймах, как в болячках, самовар, блестел тусклой, грязной медью, стояли чашки, возвышались сложенные горкой блюдца, вповалку лежали чайные ложечки, а дальше, Епифан различил, расстелился во весь огромный пирог, невесть с чем, нос Епифана отсюда, издали, никак не мог унюхать, а за пирогом маячило блюдо с румянной горкой малых пирожков, а за блюдом стояла расписная гжельская ваза, доверху полная разномастными конфетами.

— Ишь, конфекты... — Мужик цокнул языком. — И подарки, видать, тожа пообещаны... а игде жа оне...

Шарил глазами по зале. Отыскал возле дальней колонны корзину; из корзины торчали маленькие мешочки, крепко завязанные цветными тесемками. Выдохнул довольно. Поклонился Крупской в пояс. Она взорвалась удивленно, совиные глаза еще больше округлились.

— Спасибо, спасибо вам за детишек... уважили вы их... то-то им радостей дома будет, рассказней...

Жена Ленина надменно махнула рукой, как на муху: отвяжись!

Стала ближе к мужу, обвела глазами детей. Она никогда не знала, как надо обращаться с детьми. Быть с ними ласковой? доброй? Осаживать их? Кричать на них, если шалят?

— Володя, давай начнем... — Не знала, с чего начать. Смотрела на мужика. Мужик почтительно отступил на шаг. Пожирал глазами то хозяев, то елку, то люстру над собой, над своей сивой, голой головой. — Дети! — Раскинула руки, будто собираясь плыть в ярком воздухе и переплыть светлый зал. — Давайте водить хоровод вокруг елки! Кто знает веселые песенки? Пойте!

Дети молчали. Перетаптывались.

Девочки в башмачках стояли под елкою не как все, не в развышитых рубахах — в шерстяных поневах, в цветастых душегреях и в ярко-красных, в цвет флага СССР, фартучках. Одна, что ближе к Крупской жалась, разгладила ладошками свой яркий фартук, вскинула голову и внезапно пронзительно, окая, скав руки в кулаки, запела:

— Ох яблочко! Ишо зелено! Мне не надоть царя! Надоть Ленина!

Выкричала частушку, и все молчали. Потупились. Ильич, в каталке, сидел, будто не слышал. Все так же таращился в удивительный мир выкаченный из орбиты мертвый глаз. И все так же безумно, тревожно бегал другой — по головам детей, по колоннам, по елочной мишуре.

Крупская ближе шагнула к елке и шире растопырила руки. Ее толстые пальцы шевелились в воздухе, будто пытаясь кого-то невидимого поймать и раздавить.

— Ну же! Не стесняйтесь! Берите меня за руки!

За правую руку ее взяла девочка в красном фартуке. За левую — девочка в длинной, вышитой красными крестами рубахе.

— В лесу родилась елочка! В лесу она росла! Зимой и летом стройная, зеленая была-а-а-а!

Дети быстро выстроились в хоровод. Крупская пошла впередалку, и дети, как гусята за гусыней, пошли за ней, вокруг елки. Они не все знали эту песню, может быть, никто не знал, но они быстро подхватывали ее, и голосили кто как может, на разные лады, чисто и фальшиво, весело и смущенно, — как бы там ни было, хоровод вокруг елки шел посолонь, Ильич глядел на них, зимняя песня раздавалась, елка сияла огнями.

— Метель ей пела песенку... спи, елочка, бай-бай! Мороз снежком укутывал...

Ильич согнул палец и пальцем подозвал к себе парнишку в поддевке с аккуратными заплатками на локтях. Мальчик послушно подошел к вождю.

— Я тебя уз... уз-нал! Ты — Ваня! нет?

— Я — Ваня! — подтвердил мальчик. Смотрел на Ленина без улыбки.

— Ваня... Ва-ня... — Казалось, вождю доставляло удовольствие повторять его имя. — Ва-ня... где я тебя ви-дел?..

— Так я ж вместе с дядей Епифаном услужаю вам!

Ленин округлил полуоткрытый рот.

На его лысине блестели бисерины пота.

Иван отер о штанину потные руки. Все жарче становилось.

Крупская распорядилась хорошо натопить в зале, где будут вокруг елки водить хороводы.

А детям казалось: елка разгоралась, и тепло в залу шло от нее, от ее веселого пламени, горели на ней смешные электрические лампочки с красными проволочками внутри, горели связки бус и гирлянд, горели маленькие свечки в крохотных стальных плошечках, — огонь для безумной от голода мыши, иллюминация для стрекозы, для сонной осенней мухи.

Ленин оторвал выпученный глаз от Ивана и уставился на елку.

— Го-рит... го-рит как... ярко!.. как бы не было... по... пожа-ра...

Крупская встала. Хоровод остановил круженье. Толстуха хлопнула в широкие, как весла, ладости, она не знала, почему у нее вдруг это вырвалось:

— Дети! А теперь все — а ну-ка к Ильичу! Не бойтесь! Идите к нему!

Дети подходили к Ленину, кто резво и весело подскакивал, кто шел медленно, робко, чуть ли не на цыпочках. Вот они все уже обступили вождя. Его можно было трогать, теребить за край обшлага, толкать пальцем в колено, в плечо. Но они робели это делать, это казалось им немыслимой дер-

зостью, за которую накажут страшно. Шутка ли, властелин мира! Всего Эсэ-сэсэра, а он-то и был прежде Россиею. Но ведь Россия никуда не могла исчезнуть; она была прежде, была и сейчас. Какая разница, как ее взрослые назовут? Взрослые, видать, тоже играют в свою игру. Вся Россия это был целый мир, далекий и непонятный. Понятной была только своя деревня, да этот праздник, да этот гладкий, растянуться можно и ногу сломать, какой блесткий, богатый паркет, да вдали, у колонны, корзина с гостинцами, да запах пирога, пока неясно, с чем. Вот раскусят — узнают!

Ваня быстро склонился к девочке в красном фартуке и быстро, громким шепотом сказал:

— Там красная начинка. Мне кухонная баба сказала. Ягоды, видать. В са-харе.

Девочка в красном фартуке взяла Ваню рукою за шею, нагнула его голову к себе и, беззвучно и мелко смеясь, шепнула в ответ:

— А можа, красна рябина! Горька! Вырви глаз!

Самый смелый подсунул круглую, в горшок стриженную башку под левую руку Ильича. Ильич погладил этот русый затылок, эту густую русую челку.

— Экий ты... весе-лый... мальчик...

Стриженный под горшок растягивал большой рот в ухмылке, торчали щербатые зубы.

Осмелели. Щупали рукава пиджака вождя. Гладили его по плечам. Гомонили. Вопросы кричали. Кто какие. Себя не слышали. Кто-то елку локтем задел — на паркет посыпались осколки стеклянной игрушки. Осколки блестели нестерпимо. Крупская ахала, вскрикивала:

— Осторожно! Не наступите! Сейчас я попрошу горничную, она заметет!

Переваливалась уткой ко входу. Кликала прислугу. Бабы входили, вытирая руки о мокрые фартуки.

— А ить пирог-то порезали ай нет?

— Да ножа тут нету! Иди на кухню, тяни!

— Держися, паркет ровно как каток! упадешь, носом грянесси!

Бабы подошли к столу, белые их кофты и белые юбки падали вниз крупными крахмальными складками. Они сами были как столы, укрытые камчатными скатертями в честь праздника. Нож с кухни был принесен; одна из баб подняла нож высоко над пирогом и отчаянно резанула лезвием по его подрумяненной в печи плоти, как по голому человечьему телу. Ваня с любопытством глядел через головы. Мальчишки и девчонки, что столпились у каталки Ильича, затихли. Все смотрели на бабу, разрезающую пирог.

Под ножом отваливались куски, и внутри, и верно, мерцало красное, густое.

— Ты глянь, глянь, с чем, со сливами? с красными?

— Не разгляжу отседова... может быть, с земляникою...

— Али с брусникою, похоже так...

Крупская указала на стол: бегите туда! Самовар, горячий, загодя разогретый, ждал женских рук; руки отворачивали кран, разливали в чашки чай. Дети забыли про Ленина и ринулись к пирогу. Обступили стол. Трогали пальцами самовар, обжигались, хихикали. Подставляли блюдца. Бабы руки все клали и клали в блюдца куски пирога, его все разрезали, а от него чудом не убывало, и бабы переглянулись между собой — не иначе, чудо!

— Гляди... не убывает...

— А мы уж скольких оделили...

— Можа, покрупней оттапывать?

— Какое крупней... в блюдочки не влезет...

Дети стояли вокруг стола, вонзали зубы в пирог.

— Вкусно? Ай? Не слышим!

Радостно мотали головами, не в силах ничего сказать: рты вкуснотой забиты были.

Крупская стояла рядом с каталкой. Ленин левой рукой нашел ее руку. Пожал. Ее рука лежала в его руке снулью холодной рыбой. Она освободила руку, тускло сказала:

— Кажется, дети счастливы.

Покосилась на Ильича. Он повернул голову так медленно, будто у него заражавел позвоночник.

— А ты? Счастлива?

Она опешила. Не ждала такого вопроса.

Не знала, что отвечать.

Он смотрел ей прямо в лицо единственным живым глазом. Сжал в кулак единственную живую руку. Поднес кулак к лицу. Будто себя самого хотел ударить. А потом медленно опустил, разжал руку, и потерянно смотрел на свои растопыренные, синие пальцы. Синие конечности, холодно думала жена, плохо работает сердце. А разум, разум еще при нем. И он ждет ответа на свой простой вопрос.

— Да, — выдавила она.

И тогда он, не переставая сверлить ее горячим глазом, вымолвил натужно:

— На-денька. Это... не-прав-да.

Она хотела взорваться гневом, но осталась холодной, как толстолицая старинная парсuna. Бессмысленно врать. Бессмысленно говорить правду. Он все равно не поверит. Вот этим детям, что у стола жадно жуют пирог и запивают чаем из мяты и кипрея, он больше верит, чем ей. Нет, и детям тоже не верит. Все эти дети завтра станут взрослыми. Станут — народом. И с этим народом надо будет обращаться сурово. Иначе народ восстанет и сметет тебя с трибуны, выметет из Кремля. Сегодня дети! Завтра народ! Для народа, как для коня, надо готовить кнут, оглобли и чересседельник. Лишь тогда он побежит вперед. А так — он обернется назад, и воздымет руки, и пойдет на тебя, как черный медведь на охотника, и ты испытаешь первый и последний в своей жизни великий ужас.

Разве не народ жег усадьбы? Разве не народ расстреливал друг друга?

Уж лучше власти убивать свой народ, чем народу — убивать свою власть.

Спору нет, власть должна быть жесточе.

— Я несчастна лишь потому, что ты болеешь.

Он неотрывно смотрел на нее. Ей становилось нехорошо под этим долгим, насквозь пробивающим ее мозг взглядом. Она видела: эти глаза не верят ей.

— Но ты выздоровеешь!

Выпученный глаз крикнул ей: нет!

Она хотела отвести глаза и не могла.

— Володя, пощади меня...

Она прохрипела это, закидывая под его взглядом голову, пытаясь отвернуть лицо, избавиться от этих липучих, перцем щиплющих ее щеки и веки, ядовитых зрачков. Не удалось. Глаза прилипли к глазам. Крупская стояла как под током. У нее онемели ладони и ступни.

Дети гомонили вокруг стола с пирогом и самоваром. Вспыхивал смех. Звенели чашки, звенели ложки, размешивая комки сахара. Пирог убывал. Чуда не состоялось. На сегодня чудо отменили. Все оказалось просто и весело. Веру в чудо убили наповал, как на охоте. Верить было не во что, да уже и не нужно совсем. Елка мотала черными лапами, обмотанными серебряным дождем и стеклярусом. Руки и зубы добрались до смешных пирожков. До

хрустящих серебряной фольгой конфет. Дети облизывали губы и ложки. Нюхали измазанные вареньем пальцы. Это был брусничный пирог. Ваня угадал.

Три повести о любви...

Обстоятельства любви
героев **Леонида Зорина**
столь же разные, сколь многолико
это **непостижимое чувство**.

Не опасаясь поранить кожу об острые края
своей памяти, Зорин **не щадит былого**.

Иначе не донести до нас,
как **страшна, жизнеопасна**
и благословенна бывает любовь.



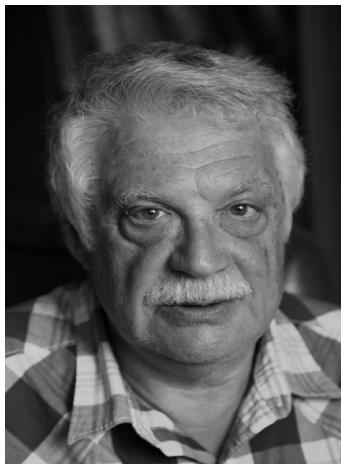
ЛИТЕРАТУРНОЕ  ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG



Жёсткий реалистический РОМАН
«Останусь лучше там...»
Игоря ФУНТА
вскрывает
тайны всемогущей
криминальной организации
на территории
России

ЛИТЕРАТУРНОЕ  ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

Иосиф Гальперин. В беспробудных лесах. Стихи



Родился 23.02.1950, живет в Москве и Болгарии (Благоевградская область, община Сандански, село Плоски). Стихи переведены на болгарский и итальянский языки, публиковались в альманахах и коллективных сборниках, в журналах "Стрелец", "Крецатик". Вышло семь книг стихов (Уфа, Москва, Париж-Москва-Нью-Йорк), последняя — избранные стихотворения "Бронзовый век", издательство "Зебра-Е", 2010 год. В журналах "Нева" и "Знамя" вышли две повести и несколько рассказов. "Зебра" выпустила и книгу прозы "Крики во сне" (2011). Финалист премии "Поэт года 2015". Лауреат первой премии конкурса "Писатель года 2015". Финалист премии "Наследие" за 2016 год.

Соединить несоединимое.

Такова миссия поэта; и он сам ее не осознает, и слава Богу.

Это и есть связь всего со всем (тютчевское «все во мне, и я во всем»...), это та лига, то легато, та ре-лигия, что собирает под своим куполом времена и народы, и они вдруг становятся единой, отдельной душой, горько и прекрасно сознающей свою единственность и смертность.

*«Снова степь, снова лес — не написана книга,
человечество спит, беспробудно молча.
Зреет в тесном скиту слово архистратига,
бъётся в гулкой пещере пророка свеча...»*

Иосиф Гальперин свободно сопрягает малое и великое, микро- и макромир:

*«Тени бабочек, тени мальков,
по струящейся амальгаме
с двух сторон пролетают пред нами,
как две эры на стыке веков...»*

Вся магия истинной поэзии — именно в том, что рядом, близко, на одной живой ладони поэта лежат руины древних городов и взмахивает крыльями тень бабочки.

Времена связаны любовью, что сильна как смерть. «В круге — завтра, сейчас и вчера...»

Это все Иосиф Гальперин. Читайте его и любите его.

Елена Крюкова

* * *

... А это тень неба в тебе,
отпечаток скрижали, тавро,
оттиск двойной спирали,
скрученной вечной пряхой.
Ты чувствуешь только одно —
холодно или тепло,
да и то — неточное знание,
особенно, если родился в рубахе.

Тени идут по лицу,
проходят, оставляя лыжню морщин.
До следующего облака
дотянуть бы неутолимым.
Ты видишь развёртку радуг
без целей её и причин.
Облако выглядит богом,
особенно, если лежит на Олимпе.

* * *

Тени бабочек, тени мальков,
по струящейся амальгаме
с двух сторон пролетают пред нами,
как две эры на стыке веков.
Так по ленте сетчатки летят
тени будущего и былого:
изнутри подымается взгляд,
каждый раз рождается снова.

Даже если обычная мгла
поутру раздвигает завесы,
ты же помнишь: рассвет интереса
пред тобою строчка зажгла.

Не обещан успех наперёд,
что завещано — сбудется вряд ли,
только тень оживёт, какую найдёт
точный глаз на вздрогнувшей глади.

Путь наверх

Когда и луковки, и шпили
разжаловали и спилили,
то потолок прямоугольный
закрыл колодец колокольный,
проход наверх заколотили —
и чердаки забили пылью.

Когда нас снова удивили
дезабилье и изобилье
летящей облачной артели,
её понять мы захотели,
но дирижабли-монгольфьеры
в свою не посвятили веру.

И только дождь струной холодной
и абрис дерева бесплотный
нам открывают путь наверх.
По луже — рожь, по морю — волны,
а мы оторваны, безмолвны.
Но ласточка сшивает всех.

Ньюкасл — Йорк, 16.07.2010

* * *

Месяц хмаръ, двунадеятое число,
сотни лет — и тьма, и тьма, и тьма,
снег не снег, дороги развезло —
это плачет по тебе тюрьма,
это вязнет на суглинке свет,
это вянет на подзоле мысль,
это гаснет человечий след,
это грязной остается высь,
как ни чисть слезами и рукой,
как ни три оконное стекло —
хмурой родины
гильельный покой
не нарушит свежее число.

* * *

Андрею Сергеевичу СМИРНОВУ

В беспробудных лесах от Амура до Рейна,
четверть шара земного параболой сжав,
как древесного угля слепое горенье,
накопилась энергия диких держав.
Столько смуты не выдержать миру и Риму,
и, степную гиперболу переварив,
волны хаоса бились неукротимо,
шли на Прагу, на приступ и на прорыв.

Корчевали, потом воевали так долго,
что опять застали осиной поля,
а в степи разливались от Ганга до Волги
бессловесные полчища —
перекати-Земля.

Не опознан, уходит пастух-земледелец.
Затопив материк, повторяет вода
диких предков пожар по саванне Сахейля,
оставляя на дне валуны-города.
Снова степь, снова лес — не написана книга,
человечество спит, беспробудно молча.
Зреет в тесном скиту слово архистратига,
бьется в гулкой пещере пророка свеча.

Если слово горит — не нужна позолота,
но под пыткой огнем безответны леса.
Красной нитью свяжи торфяные болота —
не проложишь подножие для колеса.
Не по рылу кусок, не в обхват человеку
беспросветных деревьев таёжный разлив.
Переплыли когда-то великие реки —
и застыли навеки, недолюбив...

* * *

Покажи мне, где раки зимуют,
где стрекозы личинки лежат,
где, не ведая волю земную,
дышат в снег носы медвежат.

Запелёнута крыльев свобода,
спят и когти пока, и клешни,
молодь прячется на полгода
и кузнечики не слышны.

Не бывает лёгкой игрою
несгибаемость метаморфоз,
пусть себя под землю зароет
время будущее стрекоз.

Покажи мне — и я разгадаю,
что откроет сегодняшний миг,
вызревавший в подполье годами
и прошедший сквозь нас напрямик.

Расширяется жизни арена,
в круге — завтра, сейчас и вчера,
но, меняясь, неприкосновенна
неразменная эта игра.

* * *

В любом орнаменте случайному -
вглядись! — есть человечий глаз,
как будто пристально, печально
поверхность изучает нас.

Грохочет, ухает невнятно,
бьёт водопадом по ушам
мир, бессловесно необъятный, -
спешит приблизиться к словам.

Движенем ветра и осины
дыханье прячется в груди,
губами лёгкими жасмина
цветенье женское гудит...

Не пропадает опыт дальний
на круглой маленькой земле,
где человек исповедальный
в себе его находит след.

Вот предок — это я сегодня! -
терзает кремний для скребка,
и вдаль, и вглубь летя свободно,
считает близкими века,

не знает, кто из них жестокий,
кто был в родне исчадьем зла...
Отодвигаются истоки
и улыбаются глаза.

Борис Левит-Броун. ...Чего же боле? (из жизни счастливого человека)



Родился в 1950 году в Киеве. Учился в школе, потом в художественном институте. В 1973, перед самой защитой диплома был исключен из него по идеологическим мотивам. С осени 1973 по осень 1975 служил в СА на Дальнем Востоке. После демобилизации работал фотографом, джазовым барабанщиком и, наконец, джазовым певцом под сценическим именем Boris Lebron. С 1984 г. начал писать стихи. С 1989 — художественную прозу. С 1991 г. — религиозно-философскую прозу. В мае 1989 г. эмигрировал в Европу с женой, Ириной Соловей. Вот уже 15 лет живёт и активно работает в Италии. Регулярно публикуется в России с 1993 года.

Абсолютно вечная тема — письма влюбленной женщины к любимому мужчине, — но внутрь этих вечных, как мир, вариаций на тему «Онегина» вложены две пронзительнейших мелодии: вот голос бабушки героини — расстрелянной княгини, вот голос философа Льва Шестова, и оба этих голоса (кстати, Шестов и Гранбуль — современники...) сплетаются и поют нам, снова и снова, о жизни и смерти.

Современный быт становится библейским бытием, непонятно как. Герой анализирует себя — и наяву, и в письмах к незнакомке, что осмелилась вдруг стать пушкинской Татьяной. Вымышлено ли имя? Вымышлена ли страсть? Да и что такое сама страсть? Может быть, в человеке, в тиглях его сердца она все равно переплавляется из звериной тяги в божественную силу?

А может, божественна и сама смерть, и там, в ней, где холодно, одиноко и страшно, люди и правда все так же ищут любви, взыскиают любви, поют о любви, и вправду она одна и есть одновременно испытание, искушение и искупление?

Борис Левит-Броун храбро сказал о том, что принято скрывать, таить («молчи, скрывайся и тай / и чувства, и мечты свои» — Тютчева вспоминает и цитирует герой), вернее, даже не сказал, а все нам показал: это — можно, а этого — нельзя, а это — обрыв, а вот это — продолжение. Смерти нет, если ты сам веришь в это. Переплыши ее, как море. Любовь тебе в этом поможет.

Елена Крюкова

*«Почему запрещено многоженство? Это глупо!
В любви к одному мужу женщины всегда найдут больше общего, чем
в каждодневном соперничестве из-за ничего».*

Из письма Татьяны

ГЛАВА ПЕРВАЯ

*«Ещё над ним летает сон.
Вот наконец проснулся он
И полы завеса раздвинул;
Глядит и видит...*

Ч е л о в е к с п и т.
Итальянский июнь бушует почти вплотную, за толстыми стенами респекта бельного дома, но человек спит.

Это счастливый человек.

В его жизни нет ничего, кроме мнимости, что могло бы встревожить или лишить сна.

Ему нечего желать, но он продолжает желать всего и потому во сне своем не знает, что он — счастливый человек.

Человек спит, а внутри него не дремлет желание.

Слишком много нерастреченного сладострастия.

Кто-то ошибся дозой, и вот теперь счастливый человек не может иметь удовлетворительного сознания своего счастья.

Спящий человек, которому не хватает Рая.

Глухо сопящий вулкан.

Он так устал жаждать, что взял за привычку спать перед обедом.

По китайскому гороскопу он — летний тигр, тигр сытый, тигр спящий. Спящий-то да... но сытый?....

Его будит прикосновение женской руки и голос:

— Вставай, милый мой, пора обедать! И подарок тебе... —

Он просыпается сразу, ибо сон его почти всегда тонок.

Такой сон легко прошибёт упавшая снежинка

— А я люблю подарки! — говорит он самому себе и тут же мысленно сплевывает, — кто ж их не любит... тыфу ты!...

Шмель радостной тревоги мучительно зудит у него внутри, пока он идёт в кухню и усаживается за стол.

Уж он, кажется, все возможные подарки от жизни получил.

Всё равно не хватило.

Сытый тигр — это чье-то непродуманное заключение.

Или безответственный диагноз.

Глаза подруги сияют.

Вообще-то таких подруг не бывает.

Но ему встретилась.

И стала женой.

И вот теперь сияющая жена-подруга подает ему два листа:

— Это пришло по факусу! —

— Мне? —

— Тебе, тебе... —

В правой лапе у сытого тигра супная ложка.

В левой — два листа, истыканных печатными буквами.

Тигр читает:

«Я Вам пишу, чего же боле ...

Могу только заверить, что никогда до Вас не делала ничего подобного. Не могу сказать и не могу не сказать. И ждать больше не могу. Я люблю Вас. Знаю, что это безнадежно для меня. Вы женаты и я ни в коем случае не хочу нарушить Ваше счастье. Мне нужно только говорить с Вами, хотя и не получая ответа. Но если случайно Вас затронут мои слова, то прошу Вас не отказывайте себе и мне хотя бы в кратком ответе.

Я понимаю, что сохраняя инкогнито, трудно надеяться на ответ. Но если я назову себя, то уже никогда не смогу, даже случайно, видеть Вас и говорить с Вами. Положение мое и позиция, из которой я обращаюсь к Вам (не знаю на что надеюсь?!?) затруднительна даже для меня. Я должна контролировать свои слова, чтобы не выдать себя. Но простите мне эту недосказанность, только из неё я могу говорить с Вами о Вас и о себе. А говорить надо, не так ли?

Я влюбилась в Вас еще не видя Вас, (как в романах) только по звуку Вашего голоса. По интонации, с которой Вы произнесли какую-то фразу. Не могу вспомнить какую. Я обернулась на эту интонацию и увидела Вас сразу, узнала, хотя и было много людей. «Я погибла» — так подумала в первую секунду. Слышать я ничего больше не могла — слышно было, но слышимости не было. Я увидела Вас сразу, целиком всего, как будто сосканировала. И запомнила всё, даже волосок на ухе. Как могло такое случиться, что я Вас раньше не видела? А вот Вы сказали что-то именно с той интонацией, о которой я подсознательно мечтала, и я Вас увидела. Говорят, что любовь с первого взгляда встречается редко-редко. Мне повезло. Думаю, что Вас многие любят, но наверняка, многие терпеть не могут. Вас трудно терпеть рядом, если не любить.

...«как галерные вёсла скрипучи недели»... — так и мое чувство. Так долго собирать по крохам, так долго и мучительно узнавать. От всех, от всего брать только зернышки, почти не иметь прямых контактов с Вами. Но мне кажется, я Вас немного узнала.

А иногда мне не хватает только физического знания Вас, — остальное я узнала. Странно, я ни разу Вас не касалась. Просто рукой. Ни разу. Я хочу узнать Вас как себя. А может узнать себя в Вас? Я не знаю, что можно сказать Вам. Думаю, что всё можно сказать Вам. Только Вам я хочу рассказать всё. Хочу спросить обо всем. Можно?

Я еще не знаю, как это возможно. Я вообще первый раз делаю такое. Мне не стыдно. Мне страшно, что Вы не ответите.

Пожалуйста, попробуйте.

Вы же Поэт, а у поэтов с воображением без проблем.

Нарисуйте меня, сочините — я не могу отказаться от инкогнито, но я могу искренне рассказать о себе. Я хочу, мне нужно, чтобы Вы меня узнали. Нет, не в реальной жизни. Я буду узнавать Вас, а Вы меня. Не подумайте, а вернее пусть Ваша жена не думает, что я хочу Вас отбить у нее. Я знаю, что вы счастливая пара. Если она сможет терпеть мои письма к Вам, я еще больше буду ее уважать. Не я, а она Ваша жена, и если она запретит мне Вам писать или Вам мне отвечать — пусть так и будет. Я не буду противиться ее решению. У меня нет никаких оснований чего-либо ожидать от Вас. Только одно может извинить мою назойливость — любовь, которой всегда недостаточно.

Мне очень трудно. Я не знаю как и о чем писать такому человеку, как Вы.

Я не знаю зачем я Вам навязываюсь.

Простите.

У меня есть муж и ребенок, у меня есть всё, что нужно для счастливой жизни. У меня нет только этой интонации героической серьезности, которая есть у Вас. Еще раз извините. Но, в очень слабой надежде я даю № тел/факс

069/ , по которому Вы мне могли бы отправить ответ.

По традиции подписываюсь — Татьяна».

В нем поднялись сразу трое.

Зверь, почувавший запах живой крови, мужчина, слишком озабоченный собой, чтобы не заподозрить издевательской шутки, и эстет, возмущившийся недопустимой погрешностью в первой же строчке только что прочитанного письма.

Опережая стыд, заговорил эстет:

«Боже мой, да разве ж можно! Разве ж можно пропускать это волшебное русское «**к**», которое так нежно, так заботливо поставил Пушкин: «Я **к** Вам пишу». Именно «к Вам», а не «Вам». В году, товарищи, заниматься надо... тогда сессия — всегда праздник! Не понаслышке — «я вам пишу», а знать надо...

ч-черт!...» — пробежало едкой скорописью в голове.

Чуть остудило.

— Что?... —

— Ты не о том, милый! —

Он понял, что произнес всю эту позорную дребедень вслух.

Но стыд опять не поспел за малодушием.

В нем, — теперь уже осознанно, вслух, — заговорил мужчина, озабоченный собой:

— Это кто ж меня разыграть хочет, а? —

Потом они долго говорили с подругой, старались вообразить, кто она такая, эта «Татьяна-я-Вам-пишу». Лишь одна очевидность глядела в глаза: «Она» — не чья-то выдумка, не путаница, не неправильно набранный номер. Поэтому что «она» цитировала его стихи. Посыпались воспоминания о влюбленной в него еще в первые годы эмиграции женщине по имени, которая хорошо знала его поэзию, которая долго посещала их франкфуртский дом, а потом от безнадёги сподличала и скрылась навсегда в душном облаке собственного позора.

Глаза подруги сияли, потому что это была не нормальная, а *ненормальная* жена. Она, видите ли, желает ему любви, она, видите ли, вообще считает, что любовь — это когда желают счастья и полноты не себе, а тому, кого любят!

Бр-р-ре-ед!

У кого угодно спросите...

Разговор перешупывал всевозможные догадки.

Суп остыл.

Что-то красное обжигало изнутри его лицо, шею, даже спину.

Потому что говорил в нем только эстет и мужчина, а тигр молчал, приняв стойку.

Молчал и принюхивался к подрагивавшим в руке, то есть... в лапе, листам.

В примитивном кошачьем мозгу толпились целых две мысли.

Первая — овладеть жертвой, которую он безошибочно почувял за толкотней буквочек на листах.

Вторая — обмануть подругу, с которой он счастлив вот уже 15 лет, но которой по-прежнему не верит, потому что нельзя же, в самом деле, доверять в женщине ничем не обоснованному бреду благородства и великодушия!

Даже если это не нормальная, а *ненормальная* жена.

Звериным чутьём тигр «знал», что всё равно надо обманывать. Даже в распахнутости её безлукавого доверия он искал признаки скрытой напряженности.

Искал досаду и озлобленность... или хоть раздражение...

Искал и не находил.

Не находил, но всё равно старался сдержать напускной шутливостью рык проснувшейся утробы.
Зверь обманывал и плотоядно принюхивался, а человек горел от стыда.

Он надолго оставил листки без внимания, как бы забыл их на обеденном столе. Потом потихоньку перенес в кабинет и положил у пишущей машинки.

До самого вечера он внутренне бродил вокруг подраненной добычи.

Тигр обдумывал стратегию охоты...

Но увы... что-то человеческое в нем всё-таки было.

Он с нежностью воображал эту незнакомку, потому что она читала и знала его стихи, потому что, оказывается, она даже имела его книжечку.

Как минимум, — одну, из которой прозвучала та строчка: «как галерные весла скрипучи недели». Но нечто еще более драгоценное волновало и смущало его, оживляя израненную и давным-давно упрятанную от жизни человечность: «она»... Она... расслышала в его голосе серьезность. Она посмела угадать и даже полюбить именно то, что он носил и знал в себе, как божий дар, чего стыдился больше всего на свете, чем тайно жил и творил, в чем чаял грядущее своё бессмертие.

«...угадать и даже полюбить...»

Глупый был тигр — самоуверенный и доверчивый.

Он сразу поверил в искренность этой любви, но продолжал обдумывать стратегию охоты, не обращая внимания на то, что лапы его превращаются в руки, а звериный нюх переходит в тонкое человеческое обоняние.

Ровно в 0.00 часов 7 июня, то есть уже следующего дня своей непривычно счастливой жизни, он сел за стол, включил машинку и процидил сквозь зубы, которые по-прежнему представлялись ему клыками:

— Ну что ж, жизнь... давай поговорим еще раз! —

...июня 1998, Верона

«Письмо Татьяны предо мною:
Его я свято берегу.
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей внушил и эту нежность,
И слов любезную небрежность?
Кто ей внушил умильный вздор,
Безумный сердца разговор,
И увлекательный, и вредный?
Я не могу понять...»

Здравствуйте, милая моя Татьяна!

В руках у меня Ваше письмо, и я понимаю, что стою перед таким событием, какие в жизни человека либо вовсе не случаются, либо случаются один раз.

Благодарность моя не может быть выражена на словах... да и не должна она выражаться словами. Пушкину было легче. Он восхищался гениальной своей выдумкой, но письмо, которое столь заворожило его же породившее воображение, было адресовано не Пушкину. А я нахожу себя перед подлинным письмом, и адресовано это письмо мне. Испытание огромно. Себялюбец в такой момент «познаёт цену самому себе» и раздувается от ничем не обоснованной гордости. Я, мне кажется, уже пережил или почти пережил идиотизм простейшего себялюбия, и потому ныне познаю цену не себе, а Вам. Слишком знаю человеческий и, сверх того, женский эгоизм, слишком уже успел повидать жизнь в ее отвратительной борьбе за собственность: поэтому преклоняюсь перед Вашим мужеством и перед силой чувства, внушившего Вам «безумный сердца разговор»!

Что остается «несчастному» мне перед лицом такого чувства, такого мужества? Одно: «признанье так же без искусства»!

Признание это просто: моё сердце жаждет любви, сколь бы много ее ни вливалось в меня, сколь бы щедро мне ни дарила ее судьба. Особенно дорога мне любовь, связанная с пониманием, со взглядом подлинно проникновенным и проницающим, со способностью разделить мои мысли и чувства, а они — в моих стихах. Вы читаете мои стихи, и тем делаетесь для меня ещё значительней. Ведь и я собираю по крохам сочувствие, сопонимание. Собираю сквердно, крохоборно, хотя давно уже понял, что подлинное **Знание** дается только любви. И вот она, любовь. Она передо мной, готовая отдать себя без хитрости и лукавств, (инкогнито я не считаю лукавством, ибо понимаю всю травматичность Вашего положения), без требования гарантий и забегания вперед о собственном мелочном интересе. Это любовь без интересов, и потому это — **Любовь !!!** Она без труда познала то, что большинству окружающих меня представляется позой или чудачеством, а порой даже безумством. Любовь расслышала интонацию «героической серьезности». А между тем, вы не могли никак знать, что самый заклятый мой враг, с которым веду пожизненную борьбу, с которым не ведаю примирения, ни даже просто перемирия, есть **ироническая несерьезность** — трусливое и «трезвое» ничтожество, обрубающее крылья мечте, сжигающее творческую молодость, превращающее существо, которое обязано Богу Образом своим и Подобием, в озабоченного таракана.

Да, меня большинство терпеть не может. Но наверно тех, кого легко терпеть, трудно полюбить?!? Как вы думаете?

В годы молодые я страстно жаждал женской любви, беззаветности и самоотдания. Но окружающий женский мир трусливо разбегался при одном только появлении моем. То единственное признание в любви, которое из меня исторгla молодость, вызвало ужас у девушки, которой я имел наивность это признание сделать. Позже я понял, — меня полюбит только такая, которой откроется целый мир жизни в том «жутком», что отпугивает и разгонят других. Ведь любовь — это не то, что называет любовью большинство. «То»... сакральное «то», о чем **токует** большинство новобрачных на свете, не выдерживает испытания даже малым временем. Возможно, и Вы имеете этот печальный опыт. Только одно на свете есть Любовь, и это одно не имеет определений. О нём узнают тогда, когда оно приходит. И ошибки здесь быть не может!

Я действительно не представляю, кто же Вы... Татьяна! Перебрал всех знакомых и малознакомых, но к счастью не догадался. И не хочу!!!

Отсылаю это письмо в пустоту под номером 069/.....

Пишите мне без страха и сомнений, (хотя какие могут быть сомнения после того, что вы уже написали!)

Пусть состоится этот «безумный сердца разговор», столь увлекательный для сердца, и такой «вредный» для пустой и никчемной повседневности.

*Подписываюсь честно — **Б.**»*

Перечитал.

Ничего тигриного.

Опечатки выправил — опять ничего.

Если б он не знал себя, то мог бы предположить даже благородство, даже... великолужие.

Но он не мог предполагать в себе ни того, ни другого, потому что слишком хорошо знал себя, свое хищное нутро, свою непобедимую жажду плоти, потребность обладать, доминировать.

Ему ничего не оставалось, как принять за чистую монету её «по традиции — Татьяна», согласившись адресоваться к фантому, присвоившему себе это освящённое Пушкиным русское имя.

Немножко глупо, конечно, да и для эстета как-то.....

«Что если её Бертоя зовут, — предавался он меланхолическим размышлениям, — а ты тут будешь какой-то «Татьяне» расшаркиваться.....»

Но какая женщина!

Она даже читает стихи!

В долгой и счастливой жизни с ненормальной своюю женой он усвоил, что стихи читает только она. Только одна она их так читает, чтобы раниться строками, запоминать... жить с ними, неожиданно произносить вслух.

За четыре итальянских года его замкнутый мир сузился до почти полного одиночества и нежной взаимности с древним латинским городом, куда его привезла подруга. Безблагодатная Германия мямлила где-то далеко за Альпами свою вынужденно разумную жизнь. Эмигрантское еврейство больше не забавляло веселой тарабарщиной. Никто здесь не приходил даже изредка в гости... в эти ненужные и бесполезные гости, которыми обезболивает и множит себя житейская пустота. Здесь уже не было слабодушных влюбленных с плохо пристёгнутыми к ним хамами-мужьями, не было навязчивых приятелей («в прошлом поэтов»), не было набитой пустяками взаимных обид московской «аристократии», пожизненно искривленной консерваторским сколиозом.

Здесь не было никого и ничего. Здесь была только поэзия. Он давно махнул рукой на бесполезные свои притязания к женственности, а ненормальная жена всё ещё страдала его одиночеством, считала людей ничтожными, а женщин безумными за то, что они не в силах полюбить его с тою же безоглядною силой, с какой любила она. Женщина его жизни тихо билась в своем бреду, потому что это же ведь чистый бред — страдать оттого, что в твоего мужа не влюбляются все те, кого избирает его ненасытное плотоядие.

Она не покладая рук работала, а он, лишь условно комплексуя о паразитарности своего существования («мужик, а денег в дом не приносит!»), бездельничал, неутомимо извлекая из своего безделия стихи.

Их жизнь текла счастливо и ровно, — медленная могучая река, полная смысла осознанных предназначений.

И вот теперь оба они встрепенулись от предчувствий. Если это был не разыгрыш, (чисто риторическая, впрочем, оговорка!) то в их жизнь входило что-то... что-то восхитительное... Разверзлся «Онегин». Себя, наконец, обнажала глубина женственности, столь долго жданная ими обоими, (им — ещё раз для себя, а ею — ещё раз для него).

Он вставил листы в факс и набрал номер.

Письмо ушло в электронное *никуда* и возвратилось вновь, не неся на себе никаких следов соприкосновения с жизнью.

Анонимность сомкнулась, оставив его наедине с чувством собственной подлости.

Жалкие остатки добропорядочности копошились в нём фальшивыми упованиями на безответность.

Но тигр в высокой траве молчал и страстно принюхивался в ожидании нового движения слабеющей добычи.

...июня 1998

«Спасибо! Это так неожиданно! Это так хорошо! Но я недостойна таких восхвалений. Я не такая, как Вам представляюсь. Я не пушкинская Татьяна. Это горькое признание, но верное. Но всё равно, всё равно... я могу сказать теперь, как жадно я ждала этого ответа. Как сочиняла его себе! Я Вас не знала таким. Теперь знаю. Примите мою нежную благодарность и восхищение Вами. Я слишком взволнована и не могу пока сбрать свои чувства. Есть восторг и окрыленность. Есть надежда. Спасибо. И не волнуйтесь. Я поняла, и не преступлю.

И дальше буду оставаться инкогнито.

Как странно всё это. Вас мало любили. Как могло быть так? Я не знаю, трудно ли любить такого как Вы. Уже не смогу узнать. Я уже люблю и не знаю, как это трудно. А терпеть Вас, действительно, очень многие не могут. Это, — как антисемитизм. От зависти. Много я о Вас наслышана, и могу сделать простой вывод — с Вами неуютно. Всем весело, а Вы мрачнеете, и говорите совсем не о том. Но так должно быть у поэта. И так должно быть у толпы. Все очень правильно.

...«Порвав когтистые туманы»...

Вы прорываете пустоту. Это похоже на хирургическую операцию на глазе. До операции всё было "o.k". После операции уже не всё так. Со мной это-то и случилось! Ведь если я Вам расскажу, кто я и что я была, Вы в ужасе должны будете сказать, что я дрянная женщина. Но это только недавно стало меня беспокоить. Я прожила половину жизни вовсе не благородной девицей. И никаких проблем. Только обычные житейские.

Мне впервые в жизни по-настоящему стыдно. Вероятно, из-за Вашего письма. От тех слов, которыми Вы меня так щедро обласкали.

...«Вашей перчаткой лишь буду обласкан»...

Во мне от всего — одно хорошее — любовь к стихам. Только и это — благодаря Вам и бабушке. Но бабушка была давно и могла дать только то, что ребёнок мог взять. Остальное — немытое окно. Это от невысказанной любви я была такая смелая. Просто она меня измучила. А теперь надо ответить за свои слова. Если смогу посметь сказать правду о себе и своей жизни, то... и в этом будет только Ваша заслуга. Если посмею?!

До Вас я не испытывала комплексов. Только по самому малому счету. Сейчас я просто не могу без отвращения смотреть на себя. Это так должно быть?

Расскажите, что Вы любите, что читаете, что пишете. Как проходит день у Вас. Мне нужно знать о Вас больше. Я прочту те книги, которые читали Вы. Посмотрю фильмы, которые видели Вы. Это так нужно мне. Не пропускайте ничего, что для Вас важно. Пусть я не смогу понять всё, но буду стараться. В душе всё, как в сломанном компьютере. Все программы смешались, — говорят на всех языках одновременно. И выразить не могу. Вот беда!

Надо успокоиться. Извините. Так сердце теснит, что только плакать или смеяться — не знаю.

Пишите, пожалуйста, пишите. Не оставляйте меня без этого живого напитка. И если смогу найти в себе силы для выражения моих чувств, моих проблем, я буду Вам их пересказывать. Если от меня не сразу будут приходить ответы, не обижайтесь. Значит не было возможности.

С благодарностью, Ваша Татьяна».

Это пришло через неделю.

И вновь его ненормальная жена принесла ему факсовое послание в искрах сияющих глаз.

Мужчина снаружи от неожиданности развязно смущился, а зверь внутри раздул ноздри и повел хвостом.

Он положил листок на стол и несколько раз прошелся по кабинету.

Потом резко сел к столу и прочитал.

Его сладко кольнуло в самое сердце новыми цитатами.

Боже, неужели она и вправду любит мои стихи?

Какая-то бабушка. Причем тут бабушка?

Смешная! Она воображает меня в обществе. Воображает грустным в веселой компании, а ведь еще Михаил Юрьевич предупреждал: «Грусть в обществе смешна...»

Но кто же она такая, наконец!

Он стал перебирать считанные свои компанейства за последние шесть лет.

Но припомнил только одну послеконцертную бражку.

Саша Клёнов.....

Ах, Саша, Саша!

Ему вспомнился концерт в Майнце, куда они с женой поехали специально, чтобы еще раз услышать Клёнова, еще раз умереть в его Рахманинове и Скрябине.

Потом — обратно во Франкфурт, к Саше домой.

Какая-то толкотня в маленькой эмигрантской квартирке, — тосты, крики, смех.

Он выпил и тут же стал центром довольно-таки бестолкового сообщества.
Красивая жена у Саши — манекенщица.
Не только ноги, но и руки...какие руки!
Через полгода она придёт к нему домой.
В первый и последний раз.
Придёт, сама не зная за чем.
Придёт по влюбленности и страху.
Страх победит.
Как всегда.
Он вспомнил, что внушает женщинам страх, но почти не задержался на этой древней мысли.
До того ли, когда перед тобой разверзается «Онегин»!
Жадно перечитывал: «Я не знаю, трудно ли любить такого как Вы. Уже не смогу узнать. Я уже люблю и не знаю, как это трудно. Примите мою нежную благодарность и восхищение Вами. Я поняла и не преступлю. И дальше останусь инкогнито».
О, милая моя... преступиши!
Ты преступиши, потому что я так хочу!
Потому что я только этого и хочу!
Ах глупые мои...пугливые... маленькие! Разве знаете вы, сколь много теряете, не преступая?! Сколько золотого дождя не пролилось на ваши бестолковые головки?
«Пусть я не смогу понять всё, но буду стараться».
Конечно ты не поймешь всего! Куда ж тебе?!
... да... что это она тут про компьютер? Господи, какая пошлость!
А ведь, в сущности, недурно пишет!
Он так и не смог раскопать в памяти ничего, хоть примерно наводящего на след.
Этот день он отпустил на покаяние.
Завтра... завтра — ответ.
А сегодня, то есть, сейчас же он дал письмо своей подруге.
Почти заставил прочитать.
А чем еще ему обманывать?
Только полнейшей искренностью!

...июня 1998, Верона

«Здравствуйте, моя милая и близкая!

А вы и не представляетесь мне пушкинской Татьяной. Татьяна Ларина навеки сотворена Пушкиным, им воспета, им идеализирована, им нежно и преданно возлюблена. В том-то и чудо духовной жизни, что Вы не Ларина, но что возможно это трогательное сходство, что вообще возможно в мире это несравненное событие — любовь. В ней, — в своей любви, — Вы творите себя и творите меня. Поэтому не опасайтесь, что я Вас неоправданно идеализирую и напрасно восхваляю. Именно в идеализации и познается настоящий человек. Это обыденность ищет реализма, а дух и душа обитают в идеальном. Но чтобы отворилось идеальное, нужна любовь. Она и только она знает правду о любимом, а значит, — о человеке. То, что дается **зна-**

нию любви, того никак иначе не познаешь. То, что Вы теперь делаете Вашей душой, есть непомерная и с мирской точки зрения непозволительная идеализация. Вы ИДЕАЛИЗИРУЕТЕ меня! Но я не останавливаю Вас, не пресекаю, потому что знаю, — именно так Вы познаёте и познаете самого подлинного, самого настоящего, самого ценного Б. Л-Б. Истинно сказано: «Человек выше, чем даже самый низкий из его поступков!» Этим утверждено, что истинный человек, — в своем лучшем, а не в худшем, в самом высшем, на что способен, а не в самом низшем, до чего может пасть. Да, человек — грешное существо. Но Вы теперь познаёте и творите меня не из грехов моих и пороков, коих, увы! немало, а из моих стихов, то есть из мыслей и переживаний моих, из предстояния перед судьбой и смертью, из тоски о невозможности совершенства, из протesta против мира сего и возвзания к миру иному, которого ищет и лишь духовно-символически, лишь предчувственно и сновидчески достигает душа.

Многие, о... многие в жизни познавали и познали меня по оттопыренному уху, по ранней лысине и избыточному весу. Кто-то, очень жалкий и очень ревнивый, познавал меня так: «Ты ж смотри... этот жирный! Даже машину водить не умеет! За бабой своей на заднем сидении отсиживается!» Да что ж ему, бедному, делать-то было, когда собственная его жена уже влюбилась и барахталась в трясине непозволительной идеализации Б.Л-Б.

Ну ладно, — на «жирного» согласен!

Некто, давным давно, познала меня так: «Ну-у-у-у-у... это ж Б. Тут... где залезешь там и слезешь!» Не одобряла, видно, моей резкости и категорического нежелания тащить на себе нищету мирскую, которой «нормальные» женщины так любят навьючить своих говорчивых мужей.

Что ж... согласен и на «где залезешь, там и слезешь»!

Да, я прорываю пустоту.

Но я еще и иду сквозь пустоту, и обдираю об нее душу, а это очень больно, поверьте!

Вы говорите: «операция на глазе». Вот именно! Но эту операцию жизнь проделала надо мной с самого начала. Любимый мой поэт, Г. Иванов, сказал:

«Меня сгубил талант двойного зрея,
Но даже черви им, увы, пренебрегли».

Так что не смущайтесь, идеализируйте меня, и не возбраняйте мне идеализировать Вас, ибо так я познаю Вас по Вашему чувству, по Вашей способности его в себе зачать, питать и, что уж совсем не по жизни, — изречь!

Очень понятно, что до меня Вы не испытывали комплексов. Это оттого, что Вы никогда не думали о себе так высоко, как высоко ощутили себя в своем чувстве ко мне. Это до него, до чувства Вашего, у Вас не было комплексов. Приземленности или недостоинства стыдиться можно только пережив в себе высоту и достоинство. Эту высоту и это достоинство дает Вам Ваше чувство, ибо любовь есть самая большая высота и самое высокое человеческое достоинство. Она, собственно, и сотворяет человека. До любви человек есть лишь возможность... лишь потенциал. Ужасно, что большинству так и не удается выйти из своей потенциальности, сотворить свою человечность — полюбить. На пиру у Симона-фарисея, когда Мария Магдалина прильнула к ногам Христа, возмущенные старцы завопили: «Как можешь ты блудницу допускать до чистоты твоей?» Иисус же отвечал им так: «Ей простится многое, ибо она возлюбила много!»

Не перестанет человек, ставший в любви Человеком, грязь и дрянь свою мыкать, но любовь возвысит его, и от Бога ему простится многое!

Не теряйте же Вашей смелости, она восхитительна и она плодотворна, целебна для души. Пусть это чудо упало на мою «недостойную», но чем-то избранную голову, — я ныне имею трудность быть достоин чуда. А ведь это, знаете ли, трудность великая.

Любовь к стихам, — это не просто «одно хорошее от всего»... это очень тонкий очень аристократический нерв, очень высокий род чувствительности. Если Ваша бабушка смогла оживить в Вас этот нерв, то Вы весьма, весьма богаты внутренне. А немытое окно, — промывайте его, очищайте душу от грязи. Читайте стихи, избирайте в них любимое, живите с этим любимым и питайтесь им. Вот Вам Тютчев:

«Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их заглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..»

Вам же можно и не только молчать. Вам можно и заговорить со мною. Это необозримое богатство. Для Вас. И для меня. Думаю, вы уже убедились, сколь «богата» наша обычная «жизнь» такими сокровищами.

А лгать не стану. Есть... есть и немножко мужского в моих чувствах, приятно, что мысль обо мне способна теснить Вам сердце.

Любовь — это озеро полноты, чудесное зеркало, которое судьба подносит любимому, и в этом зеркале он может узнать себя лучшего, себя высшего и достойнейшего.

Любовь — величайший из даров!

Судя по тому, что Вы цитируете стихи исключительно из первой моей книжки — «Пожизненный дневник», Вы, возможно, и не подозреваете о существовании второй!? Хочу сообщить Вам, что второй том моих стихов — «Вердикт», продается во Франкфурте. Поинтересуйтесь в русском магазине «Петербург». Там, возможно, завался один томик. А кроме того и на русской полке магазина «Huggenduebbel», на Zeil, из четырех экземпляров до недавнего времени застоялся один.

А... вспомнил, еще есть на Keiserstrasse 51 (если не ошибаюсь номером) магазин "International Buchhandlung". Там я тоже поставил на продажу по одному экземпляру первого и второго томов. Во всяком случае, хочу, чтоб Вы знали, что такой сборник есть. Он вышел в свет в Санкт-Петербурге в 1996 году. (Комично, что продается он в Германии в русском магазине «Петербург», где торгуют крупами, сельдью и овощами в банках).

Если не найдете, подумаем, как мне передать Вам его без ущерба для Вашего милого инкогнито.

Ну, уж я с три короба наболтал. О чем пишу, чем живу, — это разговор длинный. Всего не уместить в одном письме.

Благодарю Вас сердечно и... и до следующего письма!

Ваш Б.»

Не сказать, чтобы он был доволен написанным. Мохнатость мохнатостью, а нерастраченное его нутро пробовало и никак не могло до конца обнаружить, выразить, выкрикнуть всё то сдавленное человеческое, чего он уже давно не надеялся.....

Вы возразите, быть может, — а как же женщина жизни?

Да в том-то и несчастье поэта, что он тайно желает быть узнан и обожаем целым миром.

И снова ушли листы в электронное брюхо факса.

Ушли и вернулись.

Он держал в руке собственное письмо, как будто и не отсыпал его никуда.

Чудны времена твои, Господи!

Латинский июнь, ещё недавно бывший всего лишь назойливо жарким, вдруг налег на него всей тяжестью нетерпения.

Всегдашнее равнодушие к факсу перешло в неприязнь.

Он стал теперь подозревать электронику во враждебности, в злостном замалчивании.

Их жизнь обогатилась напряжением новой темы. Они обсуждали загадочную Татьяну, гадали надвое, кто ж это такая могла бы быть. Его подруга говорила о «ней» мечтательно и нежно. Она вспоминала собственную свою любовную лихорадку, которая 15 лет назад чуть не уокошила ее, пока оба они разбирались с бывшими своими женами-мужьями. Сам он говорил о неизвестной смущенно-сухо, охотно поддерживая, но никогда не начиная разговор.

У летнего тигра открылся летний жар.

Зверь начинал чувствовать себя преступником.

...июня 1998

«Вот случилось счастье. Вы мне пишете! Вы пишете мне и называете меня «моя милая близкая». От одного этого обращения я теряюсь и прихожу в неописуемый восторг. И правда, что я не Татьяна, но спасибо Вам «и сердцем и рукой, что Вы меня не зная, так любите».

Но, пожалуйста, не идеализируйте меня. Мне от этого только тяжелее. Вы пишете, что грешное существо — человек. Но существо дела в том, что я только сейчас всерьез обратила внимание на свою грешность. А в Вас я вообще ничего грешного не вижу. Мне невыносимо слышать, что Вам больно. Так не должно быть. Вас должна ласкать и жизнь и люди, (даже если ухо чуть-чуть торчит). Г. Иванов — Ваш любимый поэт, а я ничего о нем не знаю. Надо сказать, я не совсем всё понимаю в Вашем письме. Всё это так необычно и полно восхитительных тайн. Так замечательно легко почувствовать себя вдруг поднятой над миром! Спасибо Вам. Вы человек верующий, и очень возвышенный. Я же — человек неверующий и довольно приземленный. Жизнь меня убедила в том, что женщина может обойтись общими сведениями, парой книг, знанием иностранного языка и умением обращаться с мужчинами. Вы правы, что любовь — высота, но только в тех случаях, когда она обращена на предмет возвышенный. Вы вот говорите, что любовь — это зеркало. Вам легко себя там найти — возвышенного и достойнейшего. А мне, с моими грехами... — только глаза колет. Я называю словом «грехи» всю свою жизнь. Так нелепо всё прожитое, там столько всякого...

А у любви действительно «как у пташки крылья», если Ваше сердце тронуто моей любовью... Как много можно было бы сказать Вам как мужчине. Но, — молчи женщина! О подбородке, о плечах, о руках, о движении, полном достоинства. Простите.

...«Лишь жить в самом себе умей»...

С Тютчевым я знакома благодаря аристократической моей бабушке. О ней я хочу рассказать отдельно. Не сейчас. Позже. Она была сокровищем, не «обычной жизнью».

Вы недооценили мою въедливость в Вас. Второй сборник Ваших стихов у меня тоже есть. И адреса мне знакомы (и не только те, что Вы назвали) У меня есть Ваша графика «НОМО EROTIKUS», (кстати, почему через «К»?) У меня есть Ваша кассета, где Вы поете и превращаете меня в сластолюбивую (не знаю как сказать) вакханку.

О, как я Вас чувствую! Как знаю Вашу вкрадчивую нежность, редкие вспышки страсти. Какая бездна открыта мне!

Моя Гранбуленька всегда предостерегала моего отца о том, что «в этой девочке бесёнок сидит». Он плохо ее понимал. Увы.

Я, надо признаться, не очень хорошо еще ознакомилась со вторым Вашим сборником. Это немного другая поэзия. У меня еще не наработан ключ к этим стихам. Так же, как в Вашем письме, в Ваших новых стихах есть темы, которые мне не поддаются. Видимо, нет подходящей программы в душе. Для Вас это не должно быть оскорбительным. Это мой дефект.

Пока мне понравился очень стих «Перекрёсток моей Германии», и эти маленькие стихи: «Разомкнутые звенья». Но я еще не всё могу оценить и увидеть. Там так много стихов.

Вы человек титанических сил и дарований! Как можно не любить Вас? Как можно смеяться над Вами? Кто этот.... который Вас обозвал жирным? На что он руку поднимал...

Поэтов надо ограждать от жизни, заботиться об их покое. Чтосталось бы с русской поэзией, если бы поэты занимались бизнесом? Кому нужен еще один преуспевающий бульдог? Пусть их!

Пожалуйста, объясните эти строчки, которые Вы цитируете — Г. Иванова. Я жду разговора длинного и сама себя окорачиваю. Всё хочу продлить — маленькими ложечками. Может, оттого, что боюсь голову потерять?

Ваша Татьяна»

Всего неделя прошла, и вот он вновь ощутил себя в ласкающих водах любви, восторга и целого множества наивных глупостей, спаща и правдивей

которых для него ничего не было и не могло быть, ибо отдавая себе отчет в страстной преувеличности речей этой явно «безумной» влюбленной, он знал, что всё это правда. Правда женской любви и правда его собственной неизмеренности.

Кто подлинно измерил его?

Кто мог бы сказать, что хоть приблизительно догадывается обо всем том великом, что носит в себе этот летний тигр?

Женщина его жизни?

Да, она догадывалась.

Она, быть может, и знала даже.

Но она любит, а любви легко знать.

Окружающий мир?...

Ненавидит и боится.

Значит тоже знает.

Ненависть и страх есть знание наоборот.

.....любовь наоборот.
Ненависть, вероятно, даже точнее знает, чем любовь, но это знание есть смерть, знание ради причинения смерти, ради угашения. А он мечтал о жизни, о знании всеобщем и адекватном, но не убивающем, а живящем. Он, (какая тривиальность!) мечтал о **знании-любви**.

Все мечтают о знании-любви.

Почти никому оно не даруется.

Люди несчастны.

Обораны.

Люди бедны.

«Бедные люди — пример тавтологии», — так говорит его любимый поэт.

Но теперь перед ним разверзлся «Онегин».

Его звало, ему обещалось богатство немеренное.

И это ему! Ему, который всё уже имел, который, просыпался среди утренней полутишины и видел, что даже спящими глазами женщина его жизни смотрит на него, слегка щурясь, как смотрят на высокую гору в солнечный день.

Нет!

Нет правды не земле!

Нет справедливости!

Нет равенства даров!

Одна сплошная незаслуженность... и всё равно голод, вечный голод души, которой — сколько ни дари — всё мало, потому что она утратила Рай.

Вот он и жаждал Рая.

Но она... как, откуда?

Где раскопала она всего его?

Даже «HOMO EROTIKUS», который и появился-то во Франкфурте четырьмя экземплярами только.

Даже кассету с его записями, которую он, правда, несколько раз переписывал, но дарил только самым близким знакомым.

Вот так Татьяна!

«Вы поёте и превращаете меня в сластолюбивую вакханку».

А знаешь ли ты, девочка, какая сладость — петь?

О-о-о... всего себя ощутить в гортани, остаться одной гортанью и медленно истекать из себя самого, ложась неприкасаемой наготою души на сладчайшие облака гармоний.

Это и есть жить в себе самом...

Ты чувствуешь мою вкрадчивую нежность?...
Ты знаешь редкие вспышки моей страсти?...
Господи, да что ж это за штука такая, любовь?
Ей что, прямо оттуда — сверху — выдают пакет технической документации
на возлюбленного?
Ты хочешь длинного разговора?
Тебе хочется продлить мою «вкрадчивую нежность»?

Уронив связь мыслей, он, вдруг, припомнил свою незадачливую «вокальную карьеру» — постыдное свадебное прошлое, длившееся добрых десять лет — барабаны, из которых он выколачивал прожиточный минимум; привычную тошноту с которой приходилось брать в рот все несусветные мерзости советской эстрады, все эти «миллионы алых роз», «арлекино», всех этих «лещенко-пугачево-леонтьевых», которых надо было «исполнять» вперемежку с «глесиасом» и «челентаной» во ублажение пьяной рвани за её же рваные гроши.

Его спасла водка.

Спасла и оббрала.

Дикое какое-то «**безалкогольное постановление**», — и он остался **без** работы.
(и **без** кавычек)

Кому ж на ум пойдет заказывать музыку, когда пойло урезали.

Не напьешься, не споёшь!

Потом, вдруг, чудо — тихий и серьезный Дом ученых. Случайное знакомство, приглашение в состав и два года почти студийной работы. Сбывшаяся мечта об одной-единственной кассете, на которую он напел хотя бы самое интимное. Учился он по записям Фитцджералд, а попробуй-ка угнаться густым баритоном за непогрешимой интонацией этой гениальной женщины!

Потом всё рухнуло в эмиграционный унитаз, но кассета осталась. Он даже смог проторить ею тропинку на «Радио Хессен». Один раз ему посчастливились спеть с отличной немецкой подделкой под американский свинг.

Один раз. (Теперь считают за «два» — первый и последний.)

Ну, немцы...

.....их вынужденный разум...

Разумом разве полюбишь?

Нет... дважды любить «одно и то же» — на это вынужденный разум санкции не даёт.

Так что больше не приглашали.

Вот и вся «карьера»!

А ведь любили его голос. Любили когда-то, где-то... в другой жизни, где женщины умели слушать не только ушами, а всем телом.

..... «сластолюбивые вакханки»

...июня 1998, Верона

«Здравствуйте... здравствуйте, Татьяна!

Здравствуйте снова в бесприютном мировом пространстве, где покаранные наши души страстно жаждут слияния и так мало, так мучительно мало находят отзыва себе.

Да, Вы — моя милая и близкая!

И я хочу еще и еще повторять это, напоминая себе об удивительном и незаслуженном (заслуженном!!!), что дарит мне жизнь, в которую смогли так смело и волшебно войти Вы с Вашей любовью и преданностью моим писаниям, моим деяниям.

Когда б Вы знали, как пуста и отвратительна вокруг жизненная возня! (но может быть, вы знаете?). Когда б Вы представить себе могли, как накипает ярость и отчаяние в этой серой безвоздушности! (но может быть, вы представляете?) Они ничего не хотят... ни жить, ни чувствовать, ни понимать. Они хотят только жрать!! Скажи им о судьбе, скажи им о смерти близкой, (а она нам всем близка!), поведай им о несбывшемся, которого в их поганом прозябании больше, чем песка в пустынях, — на всё посмеются или тупо икнут вечно обожранным и вечно голодным своим брюхом.

Вы говорите, — жизнь убедила Вас, что женщина «может обойтись общими сведениями, парой книг, знанием иностранного языка и умением обращаться с мужчинами». Но что ж это за «жизнь», в которой можно обойтись столь малым, и что это за «мужчины», которым не требуется большего?

Не-е-е-т, милая, это вот теперь жизнь учит Вас! Учит тому, насколько недостаточно всего этого постыдного минимума, учит чудесам, учит миру Богу, ибо любовь от Бога и вводит любящего в мир Божиих обетований. Со всем в жизни расстанется человек, только с любовью расстаться не сможет, не пожелает... не сумеет.(это всё бред....бред надежд, Таня....)

Вы мне писали, что есть у Вас «всё, что нужно для счастливой жизни».

И видите... не хватило Вам этого «всего»! Вот то-то и есть наука жизни, открывание ее глубин, откровение ее тайн, постижение ее чудес. Да, это не просто, для этого нужна смелость, смелость сначала признаться себе, а потом произнести вслух:

«...вообрази, я здесь одна,
Никто меня не понимает,

Рассудок мой изнемогает
И молча гибнуть я должна!»

А потом набраться духу, зажмуриться и добавить:

«Кто ты, мой ангел ли хранитель,
Или коварный искуstель,
Мои сомненья разреши?
Быть может это всё пустое,
Обман неопытной души,
И суждено совсем иное...
Но так и быть, судьбу мою
Отныне я тебе вручаю.
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...»

Нет... я, кажется, зарапортовался и перепутал строфы Онегинские, но всё равно, всё равно, Татьяна, — чтобы познать чудеса жизни, чтобы отворить глубины ее сокровенные, нужна смелость и сила духа. Хорошо, что у Вас ее оказалось достаточно! Достаточно, чтобы написать «письмо Татьяны». И если зеркало любви, в котором Вы теперь себя созерцаете, дает Вам муку о собственных грехах, то и это есть подлинное чудо, ибо что ж это такое, как не чудо, когда человек видит свои грехи среди непроглядной пошлости жизни, которая вся есть грех, которая готова всё принять и переварить как

«нормальное», которая спокойно записывает в нормальное и приемлемое то, что ненормально и неприемлемо.

В одном Вы ошибаетесь. Вы пишете: «...любовь — высота, но только в тех случаях, когда она обращена на предмет возвышенный».

Нет, Татьяна, любовь возвышена всегда!

Любовь — это такое, которое само возвышает и жизнь, и любящего, и возлюбленного! Любовь — не секс, хотя она жаждет и физического слияния, любовь — не инстинкт собственности, хотя она предполагает страстное желание обладания. Любовь — это открытие духовной тайны о любимом, возвышение его и себя до тайны этой, а иногда и раскрытие ему его собственной тайны, ибо часто люди и не подозревают о сокровище духа, дремлющем в них. Это вхождение в мир Божий, мир чувств бескорыстных и жертвенных. Любовь — это желание отдать себя, это подание жизни. Любовь — это служение. Даже тогда, когда нету в ней ни секса, ни обладания, ни просто личного живого контакта. Любовь реализует всё, соединяет разъединённое, отменяет грани и границы физического мира властью всеединства мира духовного. Любовь есть вообще не физическое, а духовное. Если то чувство, которое Вы испытываете, (или думаете, что испытываете ко мне), есть подлинно любовь, — тогда она обязательно окажет себя образом духовным. Только это и есть любовь. Всё остальное, — ошибочные толкования, неправильное употребление слова, ибо ни секс, сколь бы ни был он яростен и змеин в своей неутомимой изобретательности, ни обладание, сколь бы ни было оно полным и «абсолютным» в своей тиранической ненасытности, — ни что это не есть любовь. Человеческое невежество... человеческое убожество именует любовью всё что угодно, но слишком мало представляет себе, что такое любовь. **Любовь не имеет возвышенного предмета. Любовь творит возвышенный предмет.**

Данте, восхищённо идеализировавший свою Беатриче, так говорил:

«Глаза любимой излучают свет
Настолько благородный, что пред ними
Предметы все становятся иными
И описать нельзя такой предмет».

Любовь и к последнему из людей, к самому низкому и ничтожному, самому посредственному или никчёмному, самому даже темному и адскому, делает его возвышенней, ибо любовь возвышает, — такова ее духовная природа. И независимо от того, сколь возвышен человек, которого полюбили, он делается еще возвышенней в свете излучаемой на него любви. Так что и я, даже если Вы и считаете меня «очень возвышенным», становлюсь возвышенней в Вашей любви ко мне. Вы делаете меня возвышенней, преображаете своим чувством. И да будет так, e così sia, and let it be, und moege es sein!!!

Да свершится идеализация! Да сбудется возвышение и преображение! Даже если речь идёт о моем подбородке, в котором нет ничего особенного, даже если — о моих плечах, которые как у всех, даже если — о моих руках, которыми я весьма мало удовлетворен, даже если — о моих движениях, которые ничем не выделяют меня из толпы. И не надо просить у меня прощения. В любви не за что просить прощения. Пусть просят друг у друга прощения те, кто не умеет любить!

Действительно, я недооценил Вашу, как Вы ее неудачно назвали, «въедливость» в меня. Поражен... поражен и восхищен тем, что Вы, оказывается, нашли и вторую мою книгу стихов. И уж вовсе потрясён, что Вы разыскали «НОМО EROTIKUS»!!! Въедливость — штука ужасная, но за **такую** «въедливость» поэт и художник только возблагодарить судьбу может. О **такой** «въедливости» нам, несчастным, которые не Лючано Паваротти чета, только мечтать можно.

(Шучу, шучу — гениальность мою чувствую и осознаю совершенно отчетливо!),

/это тоже была шутка!/.

Так что благодарю за «въедливость» и верю, что Вы сможете въестися в меня еще гораздо глубже и расслышать всё то, чего пока не успели или не сумели. Для меня очень важно Ваше замечание, «немного другая поэзия». Это говорит мне, что я не просто живу лирической жизнью, но совершаю некий путь, новые станции которого не похожи на прежние. Связано же это, по всей вероятности, с религиозным моим движением, которое совершается в последние годы. Я ведь тоже был неверующим... да еще каким! Циником был, можно сказать, теоретическим, то есть на фрейдистско-«философской» базе. Смешно, что когда-то столь поверхностная вещь как фрейдизм, могла представляться мне философией.

А потом произошла великая встреча моей жизни. Встреча с духовным учителем, гениальным русским христианским философом Николаем Александровичем Бердяевым. В книгах его я прочитал историю и тайную правду моей души, а с тех пор уже и не расставался с Богом и религиозной философией. Теперь и сам стал писать в этом направлении. Мне кажется, я могу сказать что-то человечески важное, что-то очень нужное моим современникам, которые страшно иссушены и обезжизнены атеизмом.

Прошу Вас, Татьяна, не употреблять такие выражения, как — «нет подходящей программы в душе». В человеческой душе нет ничего от компьютера, ничего математического. Компьютер есть порождение мира бездушного, мира падшего, в котором человек вынужден опираться на машину, а в грехной слабости своей и самого себя начинает видеть и понимать как машину. Компьютер, при всей его кажущейся универсальной коммуникативности, есть губитель человеческого общения, душитель человечности. Необходимо сопротивление, духовный иммунитет, чтобы не сделался человек рабом информатики...компьютерным мутантом. Увы! Слишком часто теперь можно встретить урода этого рода (как каламбур не планировалось!). Вашу же душу... ну уж никак не хотелось бы мне видеть набором компьютерных программ. Понимаю, что выразились Вы figurально, но даже и figurальность такая мне нестерпима. Пожалуйста, откажитесь в общении со мной от компьютерной «символики»!

Вы спрашиваете, отчего «К», а не «С» в «НОМО EROTIKUS». Ответ очень прост: оттого, что буква «К» в избранном мною стиле заглавного шрифта, который называется «Арнольд Бёклин», настолько неизмеримо изящней чем «С», что если хоть один из романо-германских языков давал мне возможность избрать «К», то я не мог этого не сделать. Немецкий же язык счастливо предоставил мне такую возможность. Не скрою, — «арифметическая логика» тупого грамматического закона какое-то время боролась во мне с решением художественным. Но я заразу эту в себе выздоровил и сознательно пошел на грамматическое противоречие, написав все тексты в книге по-английски, а озаглавив ее по-немецки. Кстати, — и это весьма досадно,

— не удалось избежать в текстах опечаток. Я не уследил при всех моих проверках, а итальянцам-то английский ведь не родной... К сожалению, перфекция в этом мире — лишь степень приближения, хотя здесь скрыта и глубокая религиозная радость... радость и упование: если б этот мир мог достичь безупречной перфектности, он был бы вечен, а хуже этого ничего и помыслить нельзя, ибо мир, в котором торжествует смерть, вражда и разъединенность близких душ, можно принять лишь как мир падший и временный, как мир покарания и искупления греха. Этот мир религиозно терпим лишь как путь и надежда на Преображение в грядущем Царстве Божием. Люди, которым мир этот представляется вполне удовлетворительным, есть люди мелкие и, как Вы сами выразились, приземленные, слишком мало чуткие к мировому страданию, слишком лишенные воображения. Глубина жизни открывается в ее трагедии, а трагедия жизни касается своим обжигающим дыханием каждого из нас.

Господи,... да где ж Вы ухитрились кассету-то мою откопать??!??!! Это и со всем уму не поддается! Разве только, я сам Вам ее подарил.

Хотя кому — Вам — ?

Нет-нет... это не провокация! У меня нет мысли выпытать Вас о Вас, верьте мне. Если честно, то я даже опасаюсь определенности. Пусть продлится очарование тумана!

Представляю себе эффект слуховой! Можно сказать, что моё пение — запрещенный прием в обращении с женщиной (впрочем, опыт показывает, что женщины одобряют только запрещенные приемы). Ах, что за жизнь перевернутая!! Юношей я верил в чистоту и высоту общения с женщиной. Слишком долго, слишком упрямо верил. За эту веру я расплатился жестокими страданиями тела, жадно требовавшего карнальных безумств, но вечно скованного робостью и опасением запятнать. Что за жизнь и что за мир, в котором чистота становится казнью лютой? Видимо, в пении изошла моя невыплеснутая чувственность... чувственность постыдная, непомерная... чувственность, которая годами казнила меня, и которую я казнил годами самозапретов. Ну, видно — казнил, казнил, да всю не выказнил. Что-то и осталось «на трубе».

Зато веры в возможность высокого общения с женщиной не потерял. А ныне вот она мне помогает говорить с Вами. Только не стоит называть бездной то, что открывается Вам в Ваших чувственных интуициях обо мне. Это ли подлинно бездна?! Нет... бездна в духе, бездна в творчестве, и если действительно мыслима какая-то бездна или хотя бы глубина во мне, то она в моих стихах. А мое пение, как и мое рисование, — это лишь память о неистовствах плоти, неистовствах воображения и немножко о неистовствах позднего разнудзания, которое наступило... наступило-таки, в конце концов.

А тот, который «руку поднимал»,... что ж, его и понять можно.

Он отчаянно замахивался на «коварного искусителя» своей жены. (Хотя... какой из меня искусствитель, да ещё и коварный!) Счастье, что руку-то не с топором поднимал. Можно... можно понять! Чуял, гусь, что «искушение» происходит самого страшного рода: не простая и краткомгновенная постельная перипетийка, а отнятие души. Ощущал, чем рискует. Только зря беспокоился, потому что его-то, собственно, интересует наличие тела жены в постели, а не жизнь души в теле жены. Если я правильно понял ту несчастную, она и души своей ему никогда не вверяла, и телесно порываться с ним никогда не собиралась. Очень труслива была. Ну, да и Бог с ними. Хотя,

конечно, грех душегубства на мне остается. А самое страшное, что я в глубине души моей не расстался еще с удовлетворением от такого поедания душ. Это грех тяжкий. Называется он — гордыня. Один из тягчайших грехов, между прочим!

Что до Георгия Иванова, то винюсь, переврат я строчки его! Подзабыл, и автоматически свою поэтику применил. Вот как они:

«Мне **исковеркал жизнь** талант двойного зрења,
Но даже черви им, увы, пренебрегли».

Смысл же этих вещих строк, надеюсь, немного приоткроется Вам, Татьяна, из нескольких страничек другого гениального человека, русского религиозного мыслителя Льва Шестова. Это современник Николая Бердяева, работавший в России и позже в эмиграции. Шестов и Бердяев были друзьями, хотя и оставались во многом идеальными противниками. Рядом с ними где-то в Париже жил в те годы и Георгий Иванов. Жил и скорее всего их книг не читал, потому что был типичным поэтом, то есть вел беспорядочную и отнюдь не «философскую» жизнь. А вот сказал слова пророческие. Это особенно поражает, когда прочитаешь Шестова, который на своём философском языке сказал то же самое.

Постарайтесь вникнуть в эти странички, Татьяна. В них ответ на вопрос, что такое «двойное зрење» и откуда оно берется. Конечно, было бы замечательно, если б Вы совладали со всей главой этой книги Льва Шестова. Но, может быть, это Вам трудно, а, возможно, и рано еще. Называется книга «На весах Иова».

Георгий Иванов, один из чистейших и высочайших поэтов России, скончался во Франции в 1958 году, когда мне было восемь лет и я совсем не думал о том, что стану поэтом и конечно же не представлял, что мне в жизни суждено духовно встретиться и соединиться навеки со столь родной и похожей душой как Иванов. Теперь он издан в России и, надеюсь, любим.

Все мы, что псы голодые, любви ищем. Ищем и после смерти. Может быть, именно после смерти. Страшно ведь там и холодно, — в смерти!

Прощаюсь с Вами, моя милая и такая щедрая чувствами...

Пишите,

ваш Б. (Фр. Майн)

P. S. Вы желали разговора длинного. Надеюсь, оказался он не слишком длинным? А потом ведь еще три важные странички следуют. Это тоже разговор!!!

Итак, немножко из Льва Шестова:

ОТКРОВЕНИЯ СМЕРТИ

«Кто знает, — может, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь», — говорит Эврипид. Платон в одном из своих диалогов заставляет самого Сократа, мудрейшего из людей и как раз того, что создал теорию о понятиях и первый увидел в отчетливости и ясности наших суждений основной признак их истинности, повторить эти слова. Вообще у Платона

Сократ почти всегда, когда заходит речь о смерти, говорит то же или почти то же, что Эврипид: никто не знает, не есть ли жизнь — смерть и не есть ли смерть — жизнь. Мудрейшие из людей еще с древнейших времен живут в таком загадочном безумии незнания. Только посредственные люди твердо знают, что такое жизнь, что такое смерть...

Как случилось, как могло случиться, что мудрейшие теряются там, где обыкновенные люди не находят никаких трудностей? И почему трудности — выпадают на долю наиболее одаренных людей? Что может быть ужаснее, чем не знать, жив ли ты или мертв! «Справедливость» требовала бы, чтоб такое знание или незнание было бы уделом равно всех людей. Да что справедливость! Сама логика того требует; бессмысленно и нелепо, чтобы одним людям было дано, а другим не было дано отличать жизнь от смерти. Ибо отличающие и не отличающие — уже совершенно различные существа, которых мы не вправе объединять в одном понятии — «человек». Кто твердо знает, что такое жизнь, что такое смерть, — тот человек. Кто этого не знает, кто хоть изредка, на мгновение теряет из виду грань, отделяющую жизнь от смерти, тот уже перестал быть человеком и превратился... во что он превратился? Где тот Эдип, которому суждено разгадать эту загадку из загадок, проникнуть в эту великую тайну?

Нужно, однако, прибавить: «по природе» все люди умеют отличать жизнь от смерти, и отличают легко, безошибочно. Неуменье приходит — к тем, кто на это обречен, — лишь с течением времени и, если не все обманывает, всегда вдруг, внезапно, неизвестно откуда. А потом вот еще: это «неуменье» отнюдь не всегда присуще и тем, кому оно дано. Оно является только иногда, на время и так же внезапно и неожиданно исчезает, как и появляется. И Эврипид, и Сократ, и все те, на которых было возложено священное бремя последнего незнания, обычно, подобно всем другим людям, твердо знали, что такое жизнь и что такое смерть. Но в исключительные минуты они чувствовали, что их обычное знание, то знание, которое роднило и сближало их с остальными, столь похожими на них существами, и таким образом связывало их со всем миром, покидает их. То, что все знают, что все признают, что и они сами не так давно знали и что во всеобщем признании находило себе подтверждение и последнее оправдание, — это они не могут назвать своим знанием. У них есть другое знание, не признанное, не оправданное, не могущее быть оправданным. И точно, разве можно надеяться добить когда-нибудь общее признание для утверждения Эврипида? Разве не ясно всякому, что жизнь есть жизнь, а смерть — есть смерть и что смешивать жизнь со смертью и смерть с жизнью может либо безумие, либо злая воля, поставившая себе задачей во что бы то ни стало опрокинуть все очевидности и внести смятение и смуту в умы?

Как же посмел Эврипид произнести, а Платон повторить пред лицом всего мира эти вызывающие слова? И почему история, истребляющая все бесполезное и бессмысленное, сохранила нам их? Скажут, простая случайность: иной раз рыбья кость и ничтожная раковина сохраняются тысячелетиями. Сущность в том, что хоть упомянутые слова и сохранились, но они не сыграли никакой роли в истории духовного развития человечества. История превратила их в окаменелости, свидетельствующие о прошлом, но мертвые для будущего, — и этим навсегда и бесповоротно осудила их. Такое заключение как бы само собой напрашивается. И в самом деле: не разрушать же из-за одного или не-

скольких изречений поэтов и философов общие законы человеческого развития и даже основные принципы нашего мышления!..

Может быть, представляют и другое «возражение». Может быть, напомнят, что в одной мудрой книге сказано: кто хочет знать, что было и что будет, что под землей и что над небом, тому бы лучше совсем на свет не рождаться. Но я отвечу, что в той же книге рассказано, что ангел смерти, слетающий к человеку, чтобы разлучить его душу с телом, весь сплошь покрыт глазами. Почему так, зачем понадобилось ангелу столько глаз, — ему, который все видел на небе и которому на земле и разглядывать нечего? И вот я думаю, что эти глаза у него не для себя. Бывает так, что ангел смерти, явившись за душой, убеждается, что он пришел слишком рано, что не наступил еще человеку срок покинуть землю. Он не трогает его души, даже не показывается ей, но, прежде чем удалиться, незаметно оставляет человеку еще два глаза из бесчисленных собственных глаз. И тогда человек внезапно начинает видеть сверх того, что видят все и что он сам видит своими старыми глазами, что-то совсем новое. И видит новое по-новому, как видят не люди, а существа «иных миров», так, что оно не «необходимо», а «свободно» есть, т. е. одновременно есть и его тут же нет, что оно является, когда исчезает, и исчезает, когда является. Прежние природные «как у всех» глаза свидетельствуют об этом «новом» прямо противоположное тому, что видят глаза, оставленные ангелом. А так как остальные органы восприятия и даже сам разум наш согласован с обычным зрением и весь, личный и коллективный, «опыт» человека тоже согласован с обычным зрением, то новые видения кажутся незаконными, нелепыми, фантастическими, просто призраками или галлюцинациями расстроенного воображения. Кажется, что еще немного и уже наступит безумие, не то поэтическое, вдохновенное безумие, о котором трактуют даже в учебниках по эстетике и философии и которое под именем эроса, мании или экстаза уже описано и оправдано кем нужно и где нужно, а то безумие, за которое сажают в желтый дом. И тогда начинается борьба между двумя видениями — естественным и неестественным, — борьба, исход которой так же, кажется, проблематичен и таинствен, как и ее начало...»

Интуиция хищника подсказывала ему, что он перегибает.
Не так... не так баб привораживают!
Что ей, в сущности, до ангела смерти, до второго зренья?
Что ей — Гекуба, что она — Гекубе...
Нет.... никудышный это был хищник!
Человеческое, даже не вспотев, брало верх над звериным, толкало в серъезный разговор.
Оно в нём всегда брало верх.
.....наводил страх на женщин.....(вновь эта древняя мысль).....
Ему опять, — в который уж раз, — было совестно просто по-мужски пользоваться этой ослепшей от страсти барышней? Он чувствовал, что она влюблена до слепоты, но вместо того, чтобы распалять ее, как будто оступжал, чуть заметно отступал назад и вверх, не веря, что она станет за ним карабкаться.
Не веря, и всею душой надеясь на это.

А потом... к чему спешить?
Не вдоволь ли ему его счастливой жизни с лучезарной подругой?
Не есть ли уже в ней, — в этой жизни, — всё, о чём может мечтать человек,
мужчина... даже зверь.
Нет, всё-таки... зверь мог бы и пожаловаться.
В сильной и теплой чувственности его ненормальной жены было чуть слишком
благородно-человеческого. Ей чуть-чуть недоставало соблазнительной
животности.
С ней нельзя было даже мысленно изваляться в грязи.
А ведь зверь живет в грязи.
Вот только был ли он сам достаточно зверем? Всю свою жизнь он отступал
перед перспективой грязных наслаждений... отступал, храня в себе высоту
и ненавидя себя за стерильность. Он хотел... хотел быть зверем. Он знал,
что по гороскопу он — зверь.
Хотел... знал... но мог ли?
Возможно ему и теперь казалось, что перед ним разверзается «Онегин»,
только потому, что сам он был... всегда, т.е. с самого начала, сразу был уже
остывшим Онегиным?
И вот — Татьяна.
И ты опять, как и полагается Онегину, начинаешь с «признаний также без
искусства», употребляя на это всё искусство своего преувеличеннного мно-
гословия?
Не для того ли ты и «HOMO EROTIKUS» сотворил, чтобы только выпятить на
всеобщий срам свою полную звериную несостоятельность, чтобы выкрик-
нуть на весь мир: «Смотрите, вот каким я хочу быть! Хочу и не могу...»
.....хищная интуиция.....
.....зверь живет в грязи.....
.....баб привораживают.....
.....грязные наслаждения.....

Ничтожество!
Ты никогда не станешь настоящим мужчиной!
Уже никогда!

...июля 1998

«Здравствуйте, мой долгожданный!

Мне иногда кажется, что случилось невероятное. И нет сил удержать прав-
ду внутри себя. Так бы выплеснула на весь этот серый муравейник. Но...

...«молчи, скрывайся и таи»...

Знаю, представляю — и смерть бывает мне близка. Только подходит каж-
дый раз с новым выражением. То оскалом устрашит, то улыбкой бессмертия
обнадежит, а то тоской по небесам обетованным. И несбыточно молчит тут
же у края окна. И осточертело хихиканье и очень умная ирония по всякому
поводу. Как я Вас угадала сразу! Какое счастье, что можно говорить серь-
езно обо всем.

Вас так удивляет мой взгляд на жизнь женщины? Да почему? Взгляните вокруг. Что хочет мужеподобное человечество от себя и женщины? Да, жизнь учит, только поздно. Вру, конечно, не поздно. Только очень больно и обидно. Извините, женское... вырвалось.

А Ваши слова о любви, действительно восхитительно возвышают. Только чем могу Вам усугубить, чем порадовать? Мне нечем с Вами поделиться, кроме моих чувств, моих переживаний, моей жизни.

Вот хорошая мысль! расскажу Вам свою жизнь. Чтобы Вам не так скучно было мои письма читать. Во всякой жизни есть что-то интересное. Есть сложное. Есть вещи, которые требуют оценки, или просто нового взгляда. А Ваш взгляд мне дороже и нужнее всего на свете. И Вы не в шутку гениальны. Невозможно поверить, что Вы были фрейдистом. Большинство моих знакомых только и делают, что в эту щель подсматривают. А разговор о Боге у них носит отчетливо вульгарный тон. Первый раз слышу такие речи! Вы меня вдохновляете. Правда. Я не знаю, сумею ли прочесть эту книгу, но знаю, что буду пробовать. И от «программ» откажусь. Спасибо. Насчет «К» всё понятно. Вы — эстет и в рисунках и в шрифтах. Вообще хочу сказать, что книга очень хороша. Именно, как книга. На провокационные вопросы и замечания буду либо не отвечать совсем, либо с предварительным обдумыванием. Терпите. Но будьте осторожны в своих оценках моих чувств. В конце концов, — это мои чувства. Не судите себя за щедрость дарований. Всё нужно. И без Вашего голоса и музыкальности Ваши стихи стали бы сущее, мертвее. А без Ваших рисунков эрос остался бы сексом (это не разнузданно, это уже *sublime*).

Ваш рассказ о том, кто «руку поднимал» заканчивается грехом — гордыня. Непонятно. Каждому хочется быть любимым. Тогда, я такая же гордячка, как и Вы. У меня это с детства было. Значит и грешна в этом. Я Вам верю, даже тогда, когда ничего толком разобрать не могу. И верю, что Вы, только Вы можете мне помочь, и научить. Лучше сказать, что только от Вас я приму всё...

И прошу Вас, не отчаивайтесь! Будет любовь и здесь, при жизни. Я в этом убеждена. Ведь я не одна стихи читаю. И Георгия Иванова найду и прочту. И Льва Шестова и Бердяева. Только не говорите о том как «там» холодно и страшно. Я люблю Вас!

* * *

— **В**згляни, милая, какой облак величественный!
Мне очень весело. Слово какое смешное! А Гранбуль я сейчас поправлю, я ведь уже и писать умею — умная девочка!

- A propos, grand'maman, — не облак, а облако!
- Милая, во-первых, если ты надумала учить меня русскому языку, изволь говорить по-русски. Во-вторых, чем тебе не понравился «облак»?
- А мы уже вчера писали предложение «Облако белое» — очень гордо отвечаю.
- В школе учат вещам обязательным и простым. А вещам сложным надо учиться у поэтов. Вслушайся! В слове «облак» — есть образ неба, простора, летучести. Теперь послушай, что говорит тебе слово облако

— слышишь круглость, законченность? А вдохновение? — нет! А теперь взгляни на этот облак!

У этой женщины была особая повадка. Никогда в жизни я более не встречала ни таких манер, ни таких оборотов речи. Так, должно быть, вели себя царицы. Во взгляде покой и достоинство. Мне повезло, но ненадолго. Моя милая Гранбуль недолго была со мной. Я была ее любимицей. Из трех внучек, она всерьез переживала только обо мне. Она говорила, что я нарциссичка. Но тогда, в детстве, это не было для меня понятно. Надо признаться, что и в юности и позже, это меня не беспокоило.

Гранбуль родилась в начале века и была урожденной княгиней Г-ой. Мне мало, что известно о ее детстве и юности. Так жизнь устроена, что когда мы понимаем, наконец, что потеряли, уже не у кого спросить о самых любимых. Знаю, что училась в Смольном институте. Знаю, что был у нее возлюбленный. Скорее всего, она была помолвлена с ним, или собиралась объявить о помолвке. Знаю, что звали его Петр Алексеевич. У Гранбуль была не то тетрадь, не то альбом, в котором были записаны стихи, пометки о днях рождения. Там же, в альбоме, она сама делала рисунки — не сказать хороши ли они были. Там был портрет молодого человека с «ненашей внешностью». Мама говорила, что это и есть Петр Алексеевич Н...

Все это было до 17 года. Потом наступил 1919 год. В этом году моя бабушка, княгиня Г-а, познакомилась с моим дедушкой, Петром Крепиным, мужиком из деревни Весельная, что под Ростовом. К 1919 году мой дед определил себя окончательно большевиком, и с яростью вступил в борьбу за светлое коммунистическое будущее. Уже к концу 19 года стал начальником отряда «сотни» (не знаю что это, но так помню). Молодой, белозубый, с кудрявыми локонами на лбу из-под папахи, брови вразлет, усы выше носа. Лихой! Я эту фотографию в детстве с умилением рассматривала, и очень гордилась своим большевистским предком. А он в 19 году очищал города и села от буржуазной нечисти. И как-то, в холодную осеннюю непогоду, за городом Саратовом командовал расстрелом этой самой нечисти. А когда дело было закончено, подъехал на лихом коне (как на фото) оглядеть всех ли отстрелили. Совсем юная девочка была облита кровью, но глаза были открыты. В ней было три пули и все три несмертельные.

И прочел мой славный боевой дедушка свою судьбу в этих глазах.
— Дважды не расстреливают! — для убедительности сказал начальник лихих казаков. Приказал положить недостреленную в повозку и отвезти в госпиталь.

А глаза запомнил. Каждый день ходил к ней, еду носил, на врачей да сестер покрикивал, что плохо ухаживают. Документы изготовил. Теперь она стала просто Елизаветой Стреляной. Так, по мнению моего деда, она себя очистила от буржуазной заразы — кровью. И фамилия тому свидетель. Сам выбирал. Видать, не без пафоса. Не знаю как сложилось бы у них, если бы не тиф. Только случилось так, что когда моя Гранбуль стала выздоравливать, эпидемия тифа поразила госпиталь. Лихой казак, подкрепленный любовью, вывез Елизавету из госпиталя к себе на квартиру, и там уже, вместе с хозяйкой квартиры,

ухаживал за больной. Да так усердствовал, что сам ослабел, и заразился тифом.

Елизавета, помня добро (к этому времени она была уже почти здорова), начала его выхаживать. И выходила. Когда они стали мужем и женой?... Только в 1920 году родился у них сын, который был назван по отцу Петром. Война закончилась. Строили социализм. В разных местах страны задерживались недолго. А в 1937 году родилась у них девочка, которую назвали Лидией. Лидия была слабого здоровья, нужно было устроить оседлую жизнь. Они осели на Украине, и до начала войны проживали в Днепропетровске. Потом оба Петра, отец (дед) и сын, ушли на войну, а Гранбуль с Лидией уехала за Урал, вместе с домработницей — молодой украинкой Ганей.

Лихой казак и в свои 45 лет воевал, как молодой. Приехал один раз за всю войну к своей жене. Приехал со страшным известием. Сын Петр погиб. Он подорвался на мине. Они вдвоем это перегоревали и он уехал довоёвывать. После войны Гранбуль получила письмо от деда о том, что он ее ждет в столичном городе. Началась мирная жизнь. Не знаю, что делал мой дед, но был, видимо, человек с хорошим положением.

Гранбуленька, с дочкой и Ганей, вошли в подъезд старинного дома, в столичном городе. Не знаю, может ей это напомнило ее дореволюционную жизнь, только она потеряла сознание, и шофер, который ее привез с вокзала, начал звать на помощь. Лидочка перепугалась. Мама рассказывала мне, что тогда решила, что Гранбуль умерла. Всё обошлось. Они вошли в просторную квартиру, во втором этаже. На полу лежал затейливый паркет. Из окон были видны монастырские башни. Мама рассказывала, что первое время никак не могла привыкнуть к паркету и новой обстановке. У нее всё время было ощущение, что она в музее, и ничего трогать нельзя...

* * *

*Вот, — начинаю свою историю с моей любимой Гранбуль и мамы. Если Вам не лень, то может и Вы мне понемногу о себе расскажете.
А странички Шестова я прочту еще раз и тогда отпишусь.*

Жду с нетерпением Ваших писем, и напоминаю вам Ваши же строчки

«НА СЛЕПУЮ ВЕРУ
В ВЕЧНУЮ ВЕСНУ»

Ваша Татьяна

*P. S. Пожалуйста, отправляйте Ваши письма в дневное время (с 9 до 21).
Этот факс не мой. Там немцы живут. Спасибо».*

...июля 1998

«Как будто влетает большая птица...

Да, Татьяна... ваше письмо производит именно такое впечатление. Кажется, птице тесно и неуютно, и когда она пробует расправить крылья, в комнате действительно делается тесно. И думаешь — зачем, зачем она прилетела? Но потом оказывается, что это хорошо, что она прилетела, даже если и поцарапает, даже если и ударит от испуга крылом.

В воображении моём я вижу чайку.

Знаете, есть большие чайки, размерами подобные орлам.

Люблю я чаек глядеть! Они в Вероне зимуют, улетая с Адриатики на нашу тихую речку. В стихах моих чайки часто пролетают. Что за волшебные птицы! Когда-то в прошлой жизни, тоскуя (обычное для меня состояние) в холле гостиницы «Ялта», куда забросила меня чудесная выдумка судьбы, я так сложил:

Чайка, чайка... не кружись,
опустись на нашу стену!
Перепутан верх и низ,
кипарисовая пена

так темна, так крут подъем,
заблужденья так безбрежны,
что желанье неизбежно
хоть побыть с тобой вдвоем.

Что значит Ваши нетерпеливые слова: «Но будьте осторожны в своих оценках моих чувств. В конце концов, — это мои чувства». Я поймал, кажется, даже нотку раздражения. Вы так сильно не хотите, чтоб я Вас идеализировал? Вы хотите оставить за собой право на женственность? Вы опасаетесь, что я вообразжу Вас слишком бестелесной? Если этого боитесь Вы, то не бойтесь! Вы не растаете для меня в облаке чистой идеальности. Из Вас с таким напором «вырываются женское», что

Нет, не надо извиняться за вырвавшееся женское. Ну, хотя бы потому, что вырываясь и врываясь, оно встречает на своем пути не только человеческое, но также и мужское. Я ведь от мужчины бы таких писем не принял. Тут всё дело именно в том, что Вы — женщина! Во всяком случае, меня, например, совсем, (ну, почти совсем...) не смущает Ваше, Татьяна, замечание, что стихи мои без моего голоса и музыкальности были бы суше, мертвее, хотя как поэта оно меня весьма б удручать должно было. Что ж это за стихи, ежели их читают обволокнувшись в эротику голоса? Хорошенькое ж дело в таком случае, (должен был бы я возмутиться!). Но не возмущаюсь, ибо знаю, что о поэзии ли моей, о голосе ли, или весьма сомнительных в смысле «*sublime*» рисунках, — речь ведь прежде всего о чувстве Вашем ко мне. Если правда, любите, — так уж принимаете целиком и безраздельно. И тут было б делом глупейшим начать Вам вычитывать за неуместные параллели и несерьезность дедукций. Говорят: «любое время года надо благодарно принимать». А уж весну любви священную!... Судя по нервному биению крыльев, Вы, Татьяна, теперь совершаешьесь как женщина и сами с удивлением наблюдаете это. Может быть, даже с испугом. Ведь женщина совершается тогда, когда полюбила. Не ранее! Ни в связях, ни в замужестве, ни даже в родах. В любви одной.

А стихи мои, возможно, Вам откроются позже. Не кипите, не кипите!! Я не то хочу сказать, что они для Вас ныне закрыты. Раз Вы их читаете и любите, значит есть в них что-то сокровенное, что вашему сердцу говорит. Но

есть там и такое, чего Вы пока понимать не должны. Может и я даже не должен, хотя и проговариваю эти слова и записываю их столбцами.

Вы молоды, Татьяна, молоды! Не знаю, сколько Вам лет, но знаю, что «улыбкой бессмертия» смерть не обнадежит. Значит она еще не давила Вас подлинной кошмарной близостью. И пусть так будет подольше.

«Талант двойного зренья» — это штука страшная. Он коверкает земную жизнь человека. «Талант» этот дается для пророчества. Он дается, чтобы не спать, чтобы вечно бодрствовать над сознанием тщеты жизни, чтобы искать ответ на вопрос «зачем?», «для чего всё?», чтобы, может быть, найти этот ответ. Всякому дается по силам его. Но не все равны силами.

Вам есть, Татьяна, чем поделиться со мной. Вы мне дарованы чьей-то щедрой рукой. Ваши чувства, Ваши переживания, Ваша жизнь, — это очень много, так что не озадачивайте себя несуществующими проблемами! «Чем усугубить, чем порадовать, чем поделиться», — всем!

Теперь о грехе гордыни. Это воистину грех смертный. В сегодняшнем мире, (а может быть, и не только в сегодняшнем!!), гордыня есть самая ядовитая из дьявольских прелестей. (Я употребляю слово прелест не в привычном слуху повседневном значении, а в значении религиозном, означающем прельщение, соблазн). Каждому хочется быть любимым, — говорите Вы. И это истинно греховное, ибо здесь-то и пролезает, как раз, эгоцентрическое направление сознания, себялюбие, поразившее грешного человека и искашившее мир гримасой ненасытного «ЭГО».

Любить, — вот единственно возвышающее стремление.
Желать быть любимым, (о, как это обо мне!)... не любя, то есть пожирать любовь, питаться человечиной в самом изощренном, самом изуверском виде, — это дьявольский поиск. Он-то и приводит к тому, что люди пожирают друг друга. Они не желают любить, нет! Они желают быть любимы. И, пожалуй, не прочь вознаградить за это снисходительным участием... даже расположением, даже заботой. Они ищут подешевле купить драгоценность. А те редкие, что из глубины произносят священное: «Люблю тебя!», — те без раздумия отдают драгоценность. Но те, что отдают, — безмерно богатеют, а те, что покупают по дешевке, делаются дешевле собственной выгоды. Безбожно и бесчеловечно гордое желание взять душу из самолюбия, низменно удовольствие доказать себе свои людоедские способности. Сожрать, облизнуться и еще требовать от жертвы благодарных глаз. Взять всё, не дав ничего равноценного взамен, украсть, а пуще получить как добровольно отданное. Остаться непотраченным душевно и духовно, проглотив и жизнь и душу любящую. Грех этот карается страшно. Он карается сердечным окаменением, иссыханием живого человеческого существа под коростой «каменного гостя». Гордецы холодны и бесчеловечны. Они ужасны в бесчувствии, в человеческом бессилии своем!

Таков бывал и я в ослеплении моей гордыни. О, ужас... я мог быть таким! И ту женщину, несчастный супруг которой на меня «руку поднимал», желал я обольстить без любви, без чувства. Желал проглотить одним только обаянием моим в угоду самолюбию. Да еще и не просто проглотить, не примитивно в постель уложить, а заставить на четвереньках приползти к ногам моим, разлиться по полу слезами и мольбами, поломать всю судьбу свою из одного только упования на мою склонность. В этом поистине инфернальном намерении меня несколько не оправдывает то обстоятельство, что ей и правда надо было переменить участь, порвать с удушливым своим окруже-

нием, пойти на свет возвышенного, (не возвышенного меня, но возвышенного мира, мира духовного).

Если Вы, Татьяна, так съели кого-то беззащитного и любящего, значит общий у нас с Вами грех, и каять нам его по гроб жизни нашей. Подумайте, как это страшно! Иные, не задумываясь, платят за любовь жизнью, а ящерица-Кармен самовлюблённо лелеет в себе Блоковское: «Ценою жизни **ты** мне заплатишь за любовь». Вы говорите, у Вас это с детства было. Ах, милая моя... ведь и у меня с детства! Вот и говори после этого о невинности детей, об их безгрешии ангельском. Настоящие дьяволята. Не может от гречной плоти произойти плоть безгрешная. В самый час зачатия земного получает она низменное наследие отцовских грехов. Мы все виновны, все грешны, и потому спасение наше только в Боге. В Боге мы — всё, без Бога — ничто!

Особенно важно понимать, что мы грешны в помышлениях наших. Они, — помышления, — есть жуткая изнанка нашей греховности. Перед Богом грешны не одни дела, но и помышления. Вот почему внешняя, так сказать, материальная **«пристойность»** нашей жизни ничего не **стоит**, если помысли наши темны. Макбет перед лицом своего преступления, еще им не реализованного, но уже замысленного, стенал:

«О звезды, с неба не струите света
в мир чёрный тёмных замыслов Макбета!»

И правда, человек должен быть себе самому страшен перед пропастью се- бялюбивой тьмы, толкающей его на преступления, на пожирание душ, которым не отдал он сердечного избрания. Для безбожника тут нет проблемы, потому и жизнь безбожная напоминает джунгли, а люди в этих джунглях — суть хищники или добыча.

Среди грехов и пороков наших гордыня есть самый страшный род саблезубости. Бойтесь ее Татьяна... бойтесь и борите в себе. Помните, как напоминаю себе и я всякий день: лишь то в нас человеческое, что — Божие, а Божие всё от любви и милосердия, от сострадания и надежды, от Духа Свято-го, несущего нам дары благодатные. Совесть наша есть голос Божий внутри нас, и потому она всегда ведает наши греховные поползновения уже в зародыше, уже в побуждении темном болит и судит нас, карает самой болью, самим непокоем, неладом внутренним с самими собой.

Не подумайте, что я Вас поучаю! Нет... всего лишь делаюсь опытом грехов собственных, понимания собственного и раскаяния, хотя и знаю, что до сих пор не сломил в себе грехи, знаю, что темен нутром. О... я один лишь знаю, — насколько! Вот почему никогда не слишком часто или слишком много думать о Боге, взывать к Нему о прощении, о просветлении. Сколько ни молись, — всё мало! Сколько ни кайся, — всё недостаточно!

Оттого и смерть стоит стражницей у стихов моих. Художество, (не искусство! искусство — порочный термин!) есть духовное созерцание совершенства и мука о своих грехах, ужас о своих несовершенствах. Бердяев писал с присущей ему духовной проницательностью: «Искусство связано больше с грехом чем с благодатью». Он пользовался термином искусство, который я теперь переосмысливаю и вижу необходимость заменить его термином — художество, ибо искусство происходит от искусности, от ремесла, от труда, художество же есть дар Божией благодати и не имеет трудовой природы. Это не материальное, это духовное. Не заработанное трудом, а дарованное от Бога. Художество — это дар зреть красоту. Но в мире падшем художество есть мука человека о своём уродстве, а ещё прославление совершенства

Божия Творения, на фоне которого наша падшность, наши грехи, наша виновность и обреченность смерти ещё страшней, ещё больней.

Да — «там холодно и страшно». Вы, Татьяна, так же остро чувствуете это как и я. Это чувствуют все, хотя большинство трусливо гонит от себя эти чувства, давит совесть, пробавляется такими пошлостями психофизиологии, как фрейдизм, бестиализм... Но Вам того и знать не надобно. Вам, думаю, суждена теперь дорога прямее и труднее. Ведь всякая подлинная дорога есть дорога вверх. Всё остальное — топтанье на месте. Дорога же вверх есть дорога внутрь себя, в глубины совести, в самопознание духовное. (смотрите «ПОЖИЗНЕННЫЙ ДНЕВНИК» с. 171).

Да, в смерти холодно и страшно. Смерть дыханием своим дает нам переживание последнего, безвыходного одиночества. Она грозит нам самой страшной бедой, — остаться навечно без Бога. Но любовь побеждает смерть. Из смерти извлечен будет человек силой Любви Божией и силой любви человеческой. Потому я склоняюсь в трепетании сердечном перед Вашими словами: «Только не говорите как там холодно и страшно. Я люблю Вас!» Нет на свете ничего более драгоценного чем «Я люблю Вас»... «я люблю тебя»...«я люблю»...Любовь исполняет человечность! Она не отменяет смерть, а именно побеждает её... побеждает надеждой на вечность.

*«Мне странен вальса лёгкий звон
и душный облак над тобою!
Ты для меня — весенний сон,
сквозящий пылью снеговою...»*

Я так благодарен Вам за то, что Вы мне верите. Ведь это вера ни за что, это вера любви.

Сколь много даровано мне, не по заслугам даровано!

За что же?

И вот сразу же неблагодарность.

Ну конечно лень... конечно же, Татьяна, лень мне повествовать теперь мою жизнь нехитрую. Не о том, не о том ныне мысли мои. Но Вам повезло, — я имею уже написанную автобиографию. Могу, если захотите, слать вам ее частичками по несколько страниц. История возникновения этой повестушки такая. Когда впервые я увидел на столе перед собой овировскую анкету для подачи на зарубежную визу, а было это в году 1988, в Киеве, меня охватила такая ярость, что я долго искал утраченную речь. А придя в себя, вдруг, сообразил, что передо мной уже готовый план памфлета. Надо было только не полениться достаточно развернуто и в меру литературно ответить на предложенные мне от щедрот КГБ вопросы. И я это сделал. Сделал со всей злобностью и литературной язвительностью, на какую был тогда способен. Я ответил на всё, — даже на подзаголовки... даже на рамку с написью «место для фотокарточки». Повесть так и называется — «АНКЕТА». Думаю, ныне она уже устарела литературно, но некоторых смешных подробностей не утратила. А если Вам интересна моя жизнь, мое происхождение, то вот и сможете познакомиться. Имена там кодированные, но догадаться будет нетрудно. Себя я обозначил вполне загадочно Анис Кевид-Бодун, а вот отчество сохранил подлинное. Смешное оно очень, это отчество.....

Ну что Вам еще сказать, Татьяна.

Я благодарю Вас глубоко и от всего сердца. Благодарю за сам факт Вашего существования, благодарю аристократическую струйку Вашего происхождения, делающую возможной это наше идеальное общение.
И обнимаю Ваш образ так крепко, чтобы кроме идеальности осталось в объятии этом что-то и для неудержимо рвущегося женского.

P. S. Просьбу Вашу исполню и буду соблюдать расписание с учетом того, что факс «**немой**».

ДА, Я ТОЖЕ ГЛУПЫЙ И ТОЖЕ ВЕРЮ В ВЕЧНУЮ ВЕСНУ!

Ваш Б.»

Он был смущён патетичностью собственной проповеди, в то время как женщина его жизни была восхищена рассказом Татьяны о Гранбуль. Его же рассказ этот, скорей, удивил. В ответном письме он ничего не сказал о своем удивлении, но не забыл как, прочитав — «урождённая княгиня Г-а», начал перебирать в уме известные ему княжеские фамилии старой России. Аббревиатура «Г-ой», «Г-а» наталкивала на три возможности: Горчакова, Голицына, Гагарина. Только на это его эрудиции и хватило. Как еврею и потомку евреев, носителю библейского родства по колену Левия, было ему всё это, в общем, безразлично. Левита четырехтысячелетней выдержки не смутишь происхождением от русских князей. Перед библейской древностью почти что весь свет — нувориши.

А все-таки хорошо, что была аристократическая прививка!

Кому теперь втемяшишь воздухоплавательную прелесть слова «облак»?!

После нобелевских лауреатов в ватниках русский поэтический язык стал напоминать крашеный забор с колючей проволокой и сомнительным многообразием всего того, что на нём начертано неусыхающей десницей дворовой российской премудрости.

А тут, вдруг, пробивалась какая-никакая струйка голубой крови.

Может она еще и красоту чувствует (?!).

Хотя, конечно, ожидать этого.....

Во внутреннем диалоге с самим собой он понимал, что все его, «вдруг...», «может быть...», «хотя, конечно...» — не более чем снобическая риторика. Женщина, цитировавшая его стихи, имевшая «нахальство» понимать sublimity его эротической графики, — эта женщина, конечно же, чувствовала красоту. Может быть, даже любила... может быть, даже и его полюбила именно за эту внутреннюю красоту побуждений, с которой он ничего не мог поделать, как ни боролся ... которая превратила его жизнь в схиму.

Опять — «может быть»....

Да-а-а, труднее всего верить.

А подруга его доверяла каждому слову этих писем, плакала над чувствами влюбленной, потрясенно молчала над жутким и спасительным мезальянсом кавалериста и недостреленной княгини, которая, казалось, и выжила только для того, чтобы подарить ее любимому летнему тигру эту фантастическую, эту неправдоподобную внучку.....

..... эту «Татьяну-я-вам-пишу».

...июля 1998

«Здравствуйте, мой дорогой человек!

Научите как отвечать на такие письма!? Ведь это нужно как-то всё в себе собрать, осмыслить, найти подходящее место в душе! Только по Льву Шестову можно написать целое сочинение!

Пойдем по порядку, и будем переживать неприятности по мере их поступления (Жванецкий). Я Вас видела на его концерте. Вас, и всю Вашу семью: бывшую и настоящую. И сделала вывод, что Вам так же нравится Жванецкий, как и мне. Но перейдем к Льву Шестову и таланту двойного зрения.

Прежде всего, я достала эту книгу, и прочла уже много больше страниц, чем те, что Вы мне послали.

«Только посредственные люди знают, что такое жизнь, что такое смерть»!? Абсурдно и замечательно одновременно. Впервые слышу такое. Впервые задала себе вопрос, что я знаю об этом и как знаю. Как посредственный человек, или как «вдохновенный» человек. Конечно же, ангел смерти ко мне не прилетал, и запасных глаз не оставлял, и, возможно, я никогда не смогу ответить на этот вопрос. Но есть одна вещь, которая меня натолкнула на открытие. Г-н Шестов пишет, что человека ранит мучительное чувство небытия. Вот это я сознаю с абсолютной очевидностью (на собственном опыте).

Отсюда, припомнив всех своих знакомых, я сделала вывод, что этим болеют абсолютно все, кроме абсолютно больных. Следовательно, каждому даны вторые глаза, даже, если они ничего не видят и, не слышат, и знать не хотят.

И вопрос стоит так: либо надо быть очень внимательным, либо должно повезти, чтобы кто-то очень умный и уже прозревший, подтолкнул тебя к этому открытию. Видимо, надо не бояться ставить себе абсурдные вопросы, и давать на них такие же абсурдные ответы. Да, с такими мыслями к обыденной жизни не подойдешь — она ощетинится, и ты окажешься в положении избранного идиота. Начнутся муки и т. д. и т. п.

... «И только без этого жить невозможно» ...

И только с этой мукой ощутишь жизнь. Правда, что поэты платят дорогую цену за свое вдохновение.

Мужайтесь! ...не пропадет Ваш скорбный труд!...

Но что делать нам, одноглазым? Быть птицами? Красиво. Всегда хотела летать. А за принципиальность Вашу, за сочувствие — спасибо. И за стих красивый. А ответ на Ваш вопрос — в Вашем же стихе:

... «заблужденья так безбрежны»...

А что я именно женщина для Вас, меня крайне радует.

И не скажу больше ничего.

Только не поняла, почему от мужчины Вы бы писем не приняли. А насчет стихов и музыкальности, Вы перемудрили. Всё проще. Чтобы писать красивые стихи, нужна высочайшая музыкальность. Это еще моя Гранбуль мне растолковала, когда я музыкой не хотела заниматься.

Да, Вы правы... крылья нервно дрожат.

Я совершаюсь как женщина... с испугом и восторгом. Пьяным, вседозволяющим восторгом. На секунду испугаюсь, и опять летаю.

Как можете Вы не понимать, что пишете? Несмотря на мою молодость, должна заметить, что Ваши стихи удивительно понятны и умны. Смерть ранит, но бывает и желанной, «как талант двойного зрения» — страшно, а хочется. Да и гордыня тут, как тут. В общем — очень хочется.....

Больше озадачивать себя не буду. Когда бы Вы знали, какая радость, и какое вдохновение охватывает меня, когда я получаю Ваши письма! И когда бы Вы ведали, как сложно во всем этом разобраться с насока.

Да, я действительно безмерно разбогатела. Вся свечусь. Может я еще не всё понимаю, но Вас действительно должно любить. Было же время, когда поэтов на руках носили. Жаль, просто невыносимо жаль, что сейчас времена прозаические. Даже не прозаические, — газетные. Правда, гордыня та же. И мне, порой, хотелось взять чью-то душу, и самолюбие сладко облизывалось, глядя на очередную жертву.

И вот — я, в самом деле, ничего не могла дать взамен. Не про вас разговор. Мне кажется, что вы не умеете не давать. Из Вас, извините за выражение, всё прет, как из чернозема. Вас вполне хватит на сотню-другую возлюбленных и влюбленных. Вы их всех вдохновите и облагодетельствуйте просто беседой, стихом и Бог еще знает чем. И не можете быть Вы холодны и бесчеловечны. У Вас это просто не получится. Разрешите поспорить?

Простите, Вы свои стихи когда-нибудь читали? Разве это пишет холодный и бесчеловечный человек? А в окраску Вашего голоса Вы когда-нибудь вслушивались? В нем столько чувственности и нежности. О'кеу, возможно Вы могли иметь мысли на этот счет, но Вы их не могли бы осуществить. Я бы еще сказала, что это подавленная сексуальность, в уме принявшая форму страстного порыва обладать всем. Нет. если Вы и горды, то совсем в другом роде. И если Вы себе представите ту женщину, о которой рассказали, распластанной у Ваших ног, Вы ведь содрогнетесь. Не так ли?

Я, конечно же, не Кармен-ящерица (об этом я должна еще подумать). Хотя грехи за мной есть, и я буду искать путей к Богу. С Вашей помощью. Без Вас не смогу. Насчет помыслов, я не совсем поняла. Мало ли какая чушь забежит в сознание — через секунду и следа нет. Макбет совсем другое дело. Он вынашивает, планирует и весь, если можно так сказать, в процессе зла.

Да и отношения человеческие значительно сложнее, чем просто — любит-не-любит.

Преступление — это удел избранных, особо ограниченных людей (может даже болезнь? — не знаю), обычные люди строят свои отношения иногда на самых тонких привязанностях. Кстати, часто и на сострадании. Не всегда гладко выходит, но всё же. Попробую понаблюдать за своей совестью. Что узнаю, — расскажу.

От Вас я всё приму — и поучение, и назидание. Потому и пишу, что хочу слышать.

И мне нравится Ваше разделение на искусство и художество. Это очень точно.

Дорога вверх... одиночество... страх... Бог... стихи... люблю... смерти нет... любовь...

...«Мне странен вальса лёгкий звон»...

О, как знаком мне этот роман! Его любила петь моя Гранбуленька. Еще немного о ней (в благодарность за аристократическую струйку).

* * *

Мы остановились на том, что квартира представлялась Лидочке музеем. Музей постепенно обжили. После войны в лавках можно было купить за бесценок старинные и дорогие вещи: мебель, какие-то невероятные зеркала и картины, бронза и хрусталь заполнили пять комнат. Всё было подобрано с явным желанием создать вид богатого дома начала столетия. Мама рассказывала, что Гранбуль в это время была сама на себя не похожа. В нее как будто другой человек вселился. Всегда скромная, привыкшая к самоограничениям и нечеловеческим условиям, она теперь всё стремилась успеть. Театры, выставки, музеи, кино, антикварные лавки — столичная жизнь в полном ее объеме. У Гранбуль появились красивые наряды, украшения и шляпы. Особенно поражали Лидочку шляпы. Она могла часами их разглядывать. В шкафах она находила целый мир загадочных вещей, и у нее возникало необоримое желание одеть своих кукол в такие же вещи. Из мелких лоскутов, кусочков кружев и тесьмы, она делала своим куклам удивительные платья и шляпы. Эта любовь к рукоделию и куклам осталась у нее на всю жизнь. А Гранбуленька завоевывала столицу. Скорее, она брала ее штурмом. Всё неисполненное, позабытое, обрезанное революцией и жизнью в рабочих городах — всё теперь рвалось реализоваться.

В доме появился проигрыватель, рояль и гости. В основном это была артистическая публика — шумная, необузданная и возбуждающая всех вокруг себя. Звучал рояль, смех, громкие голоса. Лидочку не пускали в зал, где собирались взрослые, и она через террасу подглядывала за происходящим. В недоумении она смотрела на свою мать. Гранбуль вдруг приобрела такой блеск и такую величественность, что Лидочку это даже пугало.

Дедушка уже давно вернулся из Германии, получив новое назначение. Этот новый пост съедал всё его время. В семье он появлялся раза два в неделю. Иногда сопровождал Гранбуль в театр. Иногда увозил ее и Лиду на дачу. Лидочку начали учить музыке, английскому и французскому языкам. Хотя по всем этим предметам были у нее учителя, Гранбуль сама с ней разбирала на рояле новые пьесы и учила французскому языку в живой речи. Она просто по несколько часов в день говорила с ней по-французски. Как говорит мама, это была самая замечательная пора ее жизни. И для Гранбуленьки тоже.

Я часто думаю о моей необыкновенной Гранбуленьке. Какая судьба у этой женщины, родившейся в одной из самых знатных и богатых семей России?! Ужасы революции, потеря всего дорогого и близкого, расстрел, госпиталь, вши, тиф. Потом скитания по коммуналкам, война, эвакуация, потеря сына и наконец... столица. Человеческая жизнь, яркие интеллигентные люди, театры. Как, должно быть, была она хороша в эти годы! По фотографиям можно судить только приблизительно. В душу заглянуть нельзя. Но лицо ее, — на многих снимках такое одухотворенное и такое значительное, — таит в себе маленькую горчинку... то ли в изгибе губ, то ли в легкой морщинке между бровей. Бедная, родная моя Гранбуленька! Что еще ждет тебя впереди...

* * *

Вашу «Анкету» буду читать с огромным удовольствием. Начало и сама идея замечательно остроумны. Вы точно описали реакцию на этот «вопнующий документ», но еще лучше сама идея. И имя замечательное, и отчество, и все удивительно смешно. BRAVO!

Ох, как Вы неосторожны. Помилосердствуйте.

У меня и так головокружение от нахлынувших чувств. Нет, продолжайте, пусть неудержимо рвется женское. Пусть через расстояния моя рука коснется Вашей, и просто нежно ее пожмет.

Спасибо. И всего Вам доброго.

Обнимаю Вас.

Ваша Татьяна.

4 августа 1998, Верона

«Ну, Татьяна, — вода, вода. Просто большая вода.

Не зря ж Ваша бабушка опасалась. Темперамент у Вас, однако ж! И всё сразу, с налету... и терпения нет, и мочи не собрать. Ну точь-в-точь — птица, из клетки вырвавшаяся, или вода разлившаяся. Куда ж? Всюду, а вот куда...?

Правильно понимаете, — «это нужно как-то всё в себе собрать, осмыслить, найти подходящее место в душе». Кстати, о месте в душе! Что ж, душа Ваша так не на месте? Неужели так пусто живете, так неполетно... так низко, что надобно моим словам некое место специальное в душе изыскивать? А Вы не трудитесь... просто в душу примите и всё! Пусть не станет в ней места для иных «вещей», пусть в ней воцарятся светлые сущности и рассеют тьму, прогонят скуку жизни, отринут скучных. Если Вы всё то, что я Вам говорю, в каком-то темном подвале собирать будете, тогда жизнь Ваша действительно станет адом. Она либо заставит Вас предать свое чувство, либо разорвет на куски противоречиями. Нет дела страшней, чем душа с перегородками. Это не путь... это тупик.

А чтобы Вам было не так несносно переполнение, — не спешите. Не летите в думах Ваших. В чувствах — можете! Чувствами Вашими я алчно питаюсь и их жду, без них скучаю. Чувствам Вашим отвечу всегда. Слишком я жаден до любви, чтобы хоть что-нибудь упустить. Но об этом — позже, а теперь — о мыслях. С мыслями нельзя в спешке... нельзя одной страстной смелостью, хотя нельзя и без нее. Мыслить — это значит именно осмыслить. Иначе и начинать не стоит.

Хорошо, что Вы Шестова достали. Он Вам, может быть, и пригодится в будущем. А теперь Вы его пока отложите и еще разок задумайтесь над теми страничками, что я Вам слал. Из того, что «человека ранит мучительное чувство небытия», вовсе еще, однако, не следует, что каждому даны иные глаза. Когда человеку даны, когда в нем раскрылись иные глаза, тогда уж он не разбирает, «подходить ли с такими мыслями к обыденной жизни» или нет. Он тогда пленник и избранник данного ему второго зрения. Ему смешны постановки вопроса типа: «Видимо, надо не бояться ставить себе аб-

сурдные вопросы, и давать на них абсурдные ответы». Это для одноглазых вопросы абсурдны. И ответы абсурдны для них же... для одноглазых. Для **второго зрения** абсурдность вопросов и ответов есть самая живая наущность, сама жизнь, единственно правдивая, единственно глубокая и настоящая. От мучительного чувства небытия одноглазые бегут опрометью во что угодно, в любую дребедень, во всяческие соблазны и опустошения: в потребление, в эротоманию, в похоть власти, в презренную жажду наживы. То есть, от мучительного чувства небытия большинство людей еще больше уходит в небытие, еще полней опустошает свое «бытие». Вы совсем не представляете себе, что означает открытие второго зреня, если полагаете, что глаза иные даны всем, но просто эти «все» ничего не видят, не слышат и знать не хотят. Когда открываются вещие зеницы этого **самого второго зреня**, тогда и не хотят, — а видят, и прячутся, — а слышат, и голову под подушку, — а знают. Второе зрение не оставляет душе выбора. Оно само избирает души, приговаривая их к видению. Второе зрение есть Божий дар, как и ангел смерти есть, на самом деле, Божий посланник, прояснитель, напоминатель, предостерегатель. Он приносит с собою то знание, от которого уже нет спасения, нет забвения, нет незнания.

«Не страйся более испытывать о множестве погибающих. Ибо они, получив свободу, презрели Всевышнего, пренебрегли закон Его и оставили пути Его. А еще и праведных Его попрали и говорили в сердце своем: “нет Бога”, хотя и знали, что они смертны» (3-я книга пророка Ездры, гл. 8, ст. 55—58).

Ангел смерти есть страшное напоминание о конце, который может сделаться концом тотальным, если в сердце своем не верит человек во Всевышнего! Ангел смерти приносит глаза для предвидения жизни вечной. А еще он отверзает уста пророческие, уста поэта, уста сновидца. Верьте мне, Татьяна, **страшно глядеть на тех, которые говорят в сердце своем, — Бога нет!** — **хотя знают, что они смертны.** Глаза другие — для того, чтобы увидеть смерть так близко, так ужасающе интимно, так невыносимо вплотную, чтобы вопль потряс глубины твои и глубины тех несчастных, что говорят в сердце своем, — нету Бога. Где-то в письме Вашем затерялась фраза: «...пути к Богу я искать буду». Милая моя, неосторожная... не «буду», а **уже теперь, уже вчера...**

Вы страшно запаздываете. Не отлагать в благую перспективу, нет! **Сейчас, немедленно, ибо коротка жизнь и смертна.** Как справедливо заметил Михаил Булгаков: «Человек не просто смертен. Он внезапно смертен».

Умейте презреть обыденность, и пусть не страшит и не заботит Вас, что она ощетинится. Иглы дикообразьей ее щетины не достанут до Вас, если подлинно прозреете, если отверзнутся «вещие зеницы, как у испуганной орлицы». (Ха-ха! опять птица...) Ангел смерти приносит глаза для пред-видения вечной жизни, которая может ускользнуть, растаять, как призрак, в душе неверующей. Все грешны мы, но всякому воздастся по вере его. Понимаете ли... не по грехам и даже не по добрым делам, а **ПО ВЕРЕ!!!!!!**

Не спешите проглатывать чтением, раскройте душу Вашу, спросите совесть Вашу. Она ответит Вам голосом Божиим. И будьте духовно внимательней. Если Лев Шестов говорит, что лишь некоторым спосыпаются глаза иного зреня, (не «запасные» глаза), то стоит над этим призадуматься. Ваш вывод о наличии иного зреня у всех и всякого явно поспешен. Ваш ум скор, а должен стать основателен. Не спешите произносить Ваше «следовательно». Из него ничего не следует кроме одной, хоть и весьма многообещающей для чувств, порывистости Вашей.

В избранные же «идиоты» угодите Вы не прежде, чем станете подлинно думать, пристально глядеть и мудро умозаключать об окружающем Вас шевелящемся муравейнике.

Да, только «с мукой ощутишь жизнь»... только мукой познаешь глубину ее.
Это так!

Что, спрашиваете Вы, делать одноглазым? Отвечаю, — не влюбляться в поэтов. Либо влюбляться и уж тогда, будьте добры, отворять другой глаз.

А пуще, скажу я Вам, — он (другой глаз) у Вас и так уже отворился. Меня одним глазом не то что полюбить... даже и заметить нельзя. Оттого и не везло мне в жизни на женское количество, что оно, это количество, однинимо глазком только и глядит. А одним глазком меня можно увидеть, разве что, как большое и непонятное препятствие. Так его, препятствие-то, всего лучше будет загодя обойти. Вот так и поступали женщины. Так поступили и некоторые, у которых случайно другой глаз на минутку раскрылся. Они его быстренько затворили и для верности пластырем подности залепили, так что я снова стал для них нерезким объектом, непонятным препятствием, а их семейная помойка вновь зажурчала присяжной Адриатикой. Там и остались они «купаться», и да вознаградит их жизнь за это хотя бы пощадой. Пусть хоть навсегда заклеит им другой глаз kleem «УГУ», чтобы не отворился он у них, не дай Бог, снова, и не завыли бы они в ужасе «У-у-у-г-г-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у!» Страшен смертный крик безнадежно опоздавшего, который вдруг понял, что всё уже поздно. Бойтесь этого, Татьяна! Не закрывайте другой глаз, уж если он во власти Господней Вам отворен. Глядите в оба глаза, и да не изменит Вам острота зрения! Даже не во мне тут дело, хотя, конечно, горько пережить отречение от чувства ... предательство от низости, от ползучей сиюминутной расчетливости, от глупых и самоубийственных потуг во что бы то ни стало сберечь провонявшее своё спокойствие. Это не о Вас ... еще не о Вас ... пока не о Вас! Дасть Бог — и не будет о Вас. Но дело тут страшней ... дело не во мне и не в моих разочарованиях. Дело тут о падении назад, в низ, от которого уже оторвалась душа. Хуже этого обратного падения и не вообразишь ничего. Пусть не произойдет это с Вами!
Пусть птица не сложит крылья!

Дорога ли цена моего вдохновения?
Не знаю ... я ее плачу.
Плачу и баста!

Не понимаете, почему от мужчины бы я писем таких не принял? Ну, ...откройте еще разок «НОМО EROTIKUS». Может ясней станет! От мужчин — уважение, почитание, внимательный и глубокий взгляд. А от женщины мне этого всего мало. Мало, Татьяна! От женщины, — ЛЮБОВЬ, только ЛЮБОВЬ! Чтоб «совершалась с испугом и восторгом», чтоб именно с «пьяным вседозволяющим восторгом». Чтоб только «на секунду пугалась» и снова летела. Ко мне. Не знаю, наверно сил много в себе нерозданных, нерастраченных чувствую. Хотя, конечно, и на женщину ныне гляжу уж не так, как прежде. Не бешеным оком голодного зверя, а спокойней и строже. Но, видно, алчное уснуло еще не совсем. Еще кипит под коркой **магма неразделимости нежной**. Как это там у Вас: «вы их всех вдохновите и облагодетельствуете просто беседой, стихом и еще Бог знает чем». Да-да ... вот именно «Бог знает чем».

Несмотря на Вашу молодость вот что скажу Вам, Татьяна, насчет «умности» и «понятности» моих стихов: «Только посредственные люди знают, что та-

кое жизнь и что такое смерть». Говорю это Вам именно потому, что Вы — душа **непосредственная**. Вот именно не-посредственная, неопосредованная... Вы воспринимаете мои стихи так, как я их пишу, то есть непосредственно. Непосредственно вижу я перед собою улицу в тумане, непосредственно вижу небо без dna и осень без надежды. И как тот незатейливый акын, — что вижу, то и пою. Когда я вижу перед собою серый промозглый лик собственной апатии, собственного ничтожества и бессилия, я пою апатию, пою ничтожество, пою бессилие. Пою и пью — как заслуженный яд. Но божественная загадка поэзии в том, что даром данная нам непосредственность имеет тайные ходы и опосредования, имеет многодонность, которая, в конечном счете, и есть бездонность. И часто ...о, милая моя и нетерпеливая, — очень часто я открываю в давно уже написанном смыслы и содержания, которые были мне абсолютно закрыты в тот миг сердечной непосредственности, когда слагались стихи. Взрослея и неизбежно мудрея, я с изумлением, порой, наблюдаю, как раскрываются в моих старых стихах новые горизонты. И тогда я бормочу: «Ах вот, оказывается, что я сказал!» И привычная понятность, привычная «умность» предстает лишь незрелым и давно пережитым мальчишеством. Опыт жизни показал мне, что мои стихи часто знают и предвидят обо мне больше, чем я сам в состоянии знать или предвидеть.

Пусть Вам, Татьяна, не будет так уж жаль, что миновали времена, когда поэтов на руках носили. Да и не тех носили: носили длинноволосых позеров, карточных бесов, громких завывателей, — одним словом, «ананасы в шампанском»... А подлинные плакальщики и чувствователи, настоящие медиумы, как правило оставались в тени. А потом, есть место, куда более привлекательное для поэта, где он тайно желал бы быть носимым, — сердце. Если хотите носить меня, носите в сердце. Да к тому же Вам на руках меня не снести. Для этого я слишком «большой» поэт. Вы, может быть, на взгляд меня недооценили, но доложу Вам, — во мне 100 кг живого поэтического веса. Туда же входит и графика, и голосовые связки, и философические заблуждения, и еще вот это самое «Бог знает что». По частям я себя не взвешивал, так что имею только самую общую картину. Если сможете всё это уместить в сердце своем, тогда носите. И пусть не станет Вам тяжко от ноши этой. Предупреждаю, она не из легких.

Теперь о помыслах.

Вы, Татьяна, не видите очень глубокой и важной вещи. Грех это совсем не то же самое, что преступление. Преступление есть прикладная категория социума. Категория преступления регулируется внешними уложениями законов. Грех же есть категория духовная, и регулируется она человеческой совестью. Преступление есть нарушение внешних законов, установленных и соблюдаемых людьми ради хоть сколько-нибудь удовлетворительного минимума общежития. Преступление есть неправильный с точки зрения внешних уложений поступок. Грех же есть искажение Образа и Подобия Божия в человеке, отступление от правды совести, от Божией правды. Грех не есть обязательно внешне неправильный поступок, но он есть всегда внутренняя неправильность, внутреннее искажение, противление совести. Вот почему греховны в человеке прежде всего помышления. Всякое преступление, всякий внешне неправильный поступок начинается изнутри, прокладывает себе порочную дорогу неправильным помыслом, эгоистическим желанием, сея любивой надеждой. Преступление видят люди и судит закон. Грехи видят Бог и судят совесть. Есть низменные грешники, вполне пристойно живущие в человеческом законе, а по закону совести судимые тяжко и постоянно. Грех не есть только и обязательно то, что материализовалось в преступле-

нии, но и то, и прежде всего то, что «забежало в сознание». Конечно, легче грех помышления, пресеченный совестью в корне, чем грех помышления, пущенный в рост против совести в угоду похоти, (похоть совсем не означает только половое алкание, но всякую греховную наклонность, пущенную в рост!), Но насчет помышлений, «забегающих в сознание», у Вас не должно быть никакой двусмысленности. Всякое помышление, хоть на минуту «забежавшее к Вам в сознание» и оставившее там нечистый след, есть грех!!! Так обстоит дело в духовном плане существования, где, собственно, и уместен разговор о грехах. В материальной жизни давно уже не обсуждает человечество грехи. Только преступления. А те самые «тонкие привязанности», на которых, как Вы говорите, обычные люди, часто строят свои отношения, есть целая пропасть греха, нечистоты, обмана и самообмана. Сострадание же здесь совершенно ни при чём. Сострадание не только не грех, но высочайшее человеческое побуждение. Оно истинно есть Богочеловечность.

Говорите, вам знаком роман Шапорина на процитированные мною стихи?! Что ж, значит, в молодости Вашей была и прекрасная музыка. Это меня радует и обнадеживает, потому что в моей жизни музыка занимает первейшее место. Ей посвящаю я много времени. Слушаю ее почти ежедневно. Но музыку высокую, классическую, какую усвоил с детства от моей мамы, и по сей день еще играющей. Я почти совершенно теперь отдалился от джазовой музыки, которой по прихоти судьбы занимался добрых 15 лет. То пришло и ушло, а это осталось и пережило поверхностные увлечения.

Продолжайте Вашу повесть о Гранбуль. Это интересно, хотя пока я не могу понять, что ж она была за человек. Может в дальнейшем это прояснится из Ваших рассказов.

Рад, что пришла Вам моя «Анкета». Буду и дальше слать по кусочкам. И не спешите, не ищите познать насоком. Познание — долгий и медленный путь.

Чувства же Ваши я чувствую и «милосердствовать» не собираюсь. Не затем начали Вы с пушкинского «Я (к) вам пишу...», чтобы водить со мной одни учёные дискурсы. В переписке нашей и так довольно «учености». Вас же хочу видеть женщиной и только так принимаю. Без женской руки Вашей что б это было за цветение. Полынь одна. А рука, женщиной протянутая, — это жизнь, это любовь. В любви же — нет смерти!!!

Обнимаю Вас.

Ваш Б.»

...августа 1998

«Здравствуйте, долгожданный!

Ваше письмо, признаюсь, меня обрадовало и озадачило. Если совсем честно, я только большим усилием воли сдержала радостный восторг от надежды, которую Вы мне дали. Неужели это возможно?! Вы хотите видеть во мне

женщину, — значит, возможна живая встреча?!! Мне стало страшно от этой перспективы! Что будет потом? Я говорю откровенно:
... не пробуждай ...

Всё взволновалось во мне, и нет силы, которая бы успокоила мою страсть. Не шутите со мной. Я сама не своя. Смириться, потом пробудиться к мечте ... о, это слишком жестоко! Я ведь не девочка, когда всё без оглядки, всё преодолимо и возможно. И только огонь пожирающий. Уже не могу так. Сейчас огонь и лёд с одной стороны, а с другой — либо всё, либо ничего. Что делать с этими потоками, заливающими меня? Как не утонуть в этом? Я и так хватаю воздух через раз, а если...

Я люблю Вас, и желала бы быть для Вас всем, но знаю, что это невозможно. Не казните меня за осмотрительность. Не взвешивайте мое чувство к Вам. История «Я к Вам пишу...» заканчивается «но я другому отдана и буду век ему верна». Это, конечно, не обо мне. В том смысле, что просто **потом** не смогу уже жить. Или Вы вправду жаждете крови? Любви и поклонения Вам недостаточно, смесь недостаточно живительна для Вас?

Вы пишете о помышлениях, что это грех.

Так всё это грех? Я падаю! Не могу отказаться, не могу закрепить! Да хочу, всем существом, хочу встречи с Вами... и узнать хочу и быть узнанной, и подтвердить все интуиции и чувства. Как хочу! А может, о ужас, я неправильно поняла Вас? А может это всё условия игры? Горячка мыслей от запекших чувств? А впереди ад. О, мне совсем не скучно жить! И в подвалах ничего удержаться не может долго. Вот вырвалось же! На что Вы меня толкаете? Или не толкаете, но подзадориваете, как дети в игре.

С такими, как я, шутить и дразнить не годится... Гранбуленька не зря ведь опасалась. Я опасна. И не столько для других, сколько для самой себя. Это правда. И если Вы утверждаете, что у меня открылся второй глаз через мое чувство к Вам, то не лучше ли вести ученыe беседы. Долгий и медленный путь окажется более перспективным, чем насок на вулкан чувственности. Лава горяча, и может сжечь дотла. Мне страшно в равной степени, как и желанно. Только прикрываю глаза от горячей волны. Я перенесу, подождите, я успокоюсь. Вода постепенно найдет подходящую форму. И уже оттуда, из успокоенного омута, я смогу сказать более разбочиво. А пока...

...«куст обугленной сирени
как засада на пути»...

Спасибо Вам. Вы всё точно определили, даже точнее выразили, что именно я хотела сказать. У меня, к сожалению, нет никакого опыта такого рода. И ученыe беседы я веду в первый раз. Простите, что не могу охватить всего сразу. Я сама ведь это понимаю. Понимаю, что путь долгий и очень тяжелый. Особенно для меня. На днях получу книги Георгия Иванова и Николая Бердяева. Но буду, не спеша, очень осторожно подходить ко всему. Вы меня действительно проведете к Богу. Я верю в это.

Ответьте на этот раз побыстрей, пожалуйста. У меня сердце неспокойно. Я вся напряжена и жду.

P. S. Еще одна мелочь. Мои немецкие друзья не выдержали эпистолярного потока. Поэтому, лучше, если Вы будете отправлять письма почтой.

Postlagernd: TATYANA 60313 Ffm
Frankfurt am Main, Germany

Ваша Татьяна

Счастливая пора в жизни Гранбуленьки кончилась одномоментно — 5 марта, в день смерти Сталина. Каждое утро за дедом заезжала машина и отвозила его на работу, а Лидочку в школу. В тот день всё было как обычно, только Лида забыла какую-то книгу и должна была бегом вернуться за ней. Когда она выбежала на улицу, где ее должен был ждать отец и машина, она увидела сцену, которая приморозила ее к месту...

Рядом с отцовской машиной стояла еще одна, как две капли воды похожая на нее. Трое здоровенных мужчин пытались скрутить активно сопротивляющегося отца. На тротуаре, возле машины, в странно вывернутой позе, лежал шофер отца Лиды. Даже среди этих здоровенных мужчин, отец выглядел еще более крупным. Он наносил сильные удары куда попало и ему на секунду удалось освободиться. В руке его появился револьвер. Раздались выстрелы — один, потом еще много подряд. Лидочка зажмурилась от ужаса, а когда открыла глаза, успела лишь увидеть, как один из трех мужиков с трудом влез в машину и со страшным ревом стартанул вдоль по улице. Наступила тишина. Потом появились люди: дворник, соседи, прохожие и Гранбуленька. Лида не шевелилась, и больше ничего не слышала. Кто-то, поддерживая, привел ее назад домой. Больше ничего она не помнила. Сознание покинуло ее надолго. Полгода прошли в больницах... Смутно помнились белые халаты, Гранбуль, шептавшая что-то, ее рука на лбу, лампы. Страшные белые лампы. Свет и тьма сменялись, но в одно пасмурное утро она открыла глаза и увидела лицо Гранбуленьки, все в слезах, а глаза — такие счастливые, и услыхала ее слова: «Господи, ты услышал! Господи!»

Через два дня Лидочку привезли домой. Она боялась задать вопрос об отце. А близкие тоже боялись сказать, опасаясь рецидива.

В доме все изменилось. Зеркала были завешаны, исчезли какие-то вещи. В одной из комнат, в которой раньше был кабинет деда, сделали перестановку, и там Гранбуленька устроила себе мастерскую. Она стала зарабатывать на жизнь изготовлением шляп и перчаток, искусственных цветов. В доме каждый день появлялись разные женщины. Заказывали что-то, смеялись, громко говорили (или Лидочке казалось так, ее вообще стали пугать громкие звуки). Уходили дамы счастливыми, со словами восторга и благодарности.

Лидочка в школу не ходила. Ей оформили академотпуск до следующего учебного года. Из дома она тоже не выходила — у нее появился панический страх улицы. Дома она с огромным наслаждением помогала Гранбуленьке делать цветы и шляпы, а вечерами и в свободные дни Гранбуленька занималась с ней языками, музыкой, читала вслух книги.

Лидочка заметила две новые странности в своей матери. Первое — та перестала выходить из дома. Второе — она носила только темносерое строгое платье с белыми воротничками. Все наряды исчезли. Из спальни был вынесены все безделушки, духи, картины. В углу под лампадкой стояла маленькая икона «Умиление». Лидочка не задавала вопросов. Она как будто была готова к такому затворничеству и приняла его легко.

Всем хозяйством заведовала Ганя. Она бегала по магазинам, готовила еду, убирала. Но и в ней появились, такие же как у Гранбуленьки, серьезность и сосредоточенность. Только Карлуша не изменил своей веселости и зловредности, каждое утро картаво приветствовал всех кого видел. Карлуша — это любимый попугай деда. Тот его привез из какой-то своей поездки. Он пережил и деда и Гранбуленьку и маму, думаю, что и меня переживает.

На всё лето Лидочку отправили в санаторий, а когда она вернулась, — свежая загоревшая, повеселевшая, — Гранбуленька и Ганя долго всплескивали руками, целовали ее, счастливо восклицали: «Слава Богу, здорова!» Радость была короткой. В городе Лидочка не могла преодолеть своего панического страха перед выходом на улицу. Но Гранбуленька убеждением и лаской всё-таки научила Лидочку преодолевать свой страх, и выходить из дома. Начались занятия в школе. Счастьем для Лиды было то, что школа располагалась совсем рядом — через двор и пятьдесят метров по переулку. Училась она хорошо и легко, но больше всего любила рукоделие. Гранбуленька научила ее плести кружево, и Лида с увлечением и фантазией сама сочиняла сюжеты, делала целые картины. Ее работы выставлялись в школе, потом в Доме пионеров.

Прошли выпускные экзамены, надо было что-то выбирать. Учиться дальше? Но чему? Гранбуленька приняла, на радость Лидочке, мудрое решение:

— У тебя золотые руки, терпение и любовь к рукоделию. Иди в школу учить девочек тому, что умеешь. —

Гранбуленька понимала, что дочь никогда окончательно не оправится от своего потрясения. Навсегда в ней останутся ужас перед улицей, ужас перед людьми. Она не давала Лидочке закостенеть в болезни, но и не хотела перенасиловать ее хрупкую психику.

Лидочку взяли на работу в ту же школу, где она училась. Всё сложилось так удачно — и работа рядом, и никаких перемен в лицах. Дети на первых уроках не слушались ее, шалили, а она не умела их унять. Но постепенно она их увлекала своими идеями, своим мастерством. Давала такой оборот всему, что дети чувствовали радость и необходимость этого труда. Ее любили все: и дети, и другие учителя. Прошел первый учебный год. Выставка, которую устроил ее кружок «Умелые руки», имела даже отклик в газетах. Лидочка нашла свое место в школе, и была счастлива.

Начались летние каникулы. В школу приехали строители, делать ремонт. Стучали молотки, воцарился грохот и пыль. Лидочка старалась побыстрее сложить в ящик учебные пособия и работы своих учеников — надо было освободить классную комнату для ремонта. Дверь неожиданно распахнулась и в проеме появился лохматый, синеглазый молодой человек. Лидочка охнула от испуга и побледнела. Молодой человек растерялся на секунду от произведенного эффекта, а потом белозубо рассмеялся и сказал:

— Да что же Вы так пугаетесь? Такая милая девушка, и такая пугливая! Вас, что, на второй год оставили? —

Лидочка совсем смущилась, покраснела до корней волос и слезы выступили ей на глаза. От всего...

Молодой человек, увидев такое, подскочил к ней и мягко усадил на стул. Теперь он возвышался над ней, и смотрел на нее с нежностью и

любопытством ребенка. Под этим взглядом Лидочка совсем растерялась, не могла даже слова молвить. А он заулыбался, заговорил весело, непринужденно. Стал заглядывать в ящики, восхищаться. Рассказал, что он на практике, прорабом у строителей, что заканчивает строительный, что получил распределение здесь, в родном городе, что счастлив и рад всему. Лидочка оглохла от его трескотни, но успокоилась и уже посмела на него взглянуть. Высокий, кучерявый, глаза синие в обрамлении густых загнутых ресниц. Нос крупный, губы красиво очерчены. Сквозь раскрытый воротник рубашки видна густая растительность на смуглой коже. Она опять смущалась, а он, заметив смущение, еще пуще разошелся. Выразил желание помочь собрать все эти «шедевры» и отнести куда надо. Лидочка благодарно согласилась. Они вдвоем перенесли ящики в другой класс, а последнюю коробку Лидочки хотела забрать домой, чем обрадовала нашего героя еще больше. Они пришли в ее дом. Гранбуленька вышла из своей мастерской и внимательно взглянула на молодого человека. Под ее взглядом он смущался, но ненадолго. Предложено было выпить чаю, на что вихрастый молодой человек голодно согласился. Звали молодого человека Рувим».

* * *

Тут уж оба они, — то есть не только отзывчивая его подруга, но и «бесчувственный» он, — содрогнулись. Простой и реальный кошмар, не слишком умело описанный, сделался только еще реальней от простоты выражения. Сквозь истыканые буквами лирических излияний листы на миг проглянула вечная фантасмагория жизни. Мертвенно-бледное лицо человеческого бессилия перед тупым истуканом власти полыхнуло вспышками выстрелов в утренней бодрости столичного города.

Он отчетливо разглядел эту короткую и яростную борьбу на дочиста подметенном московском асфальте: косо припаркованную к бровке машину, застреленного шофера с широко раскрытым от удивления ртом и большого нестарого еще человека, стряхивающего с себя трех дрессированных доберманов громадной сталинской псарни, которых он еще вчера водил на коротком поводке и которые теперь так же честно рвали на части его самого, как прежде — других, на кого он их натравливал.

Зашедшееся сердце случайного наблюдателя едва ли позволило бы ему постигнуть жуткую и одновременно комическую суть этой цветистой будничной картинки сталинской Совдепии: чудовище, пожирающее само себя, — бесчисленные пасти, рвущие друг друга без всякого сознания принадлежности одному и тому же гигантскому дебильному телу.

На некоторое время его оставили, но скоро вновь к нему вернулись сладкие чувства от первой страницы письма, воображения той страстной бури, которую он уже возбудил в ней, своей Татьяне... Татьяне, которую уже мог чувствовать своей. Он даже не обратил внимания на новый огрех в цитировании Пушкина («**и** буду век ему верна», вместо «**Я** буду век ему верна») В грохоте низвергающегося водопада страсти плохо различимо занудное ворчание эстета.

Да, милая моя, никакая смесь платонических бальзамов не может быть достаточно живительна для меня!

Да, я жажду крови — сердечной крови, которой любящая всегда наполняет бездонный кубок возлюбленного.

Так платят за счастливое право любить.

Всех своих мыслей и чувств он, конечно, не поверял подруге, но не мог и спрятать окончательно за мирным обменом впечатлениями. Под счастливым взглядом его ненормальной жены ему становилось не по себе. Всё казалось, что ей слышен тихо работающий внутри него мотор удовлетворенного урчания.

**«Куст обугленной сирени
как засада на пути...»** — о, давняя тяжесть...раненная память.... первая жена..... томительная невозможность проговорить страшные слова ... ночной сад, куда он сбежал от всех вцепившихся в него невозможностей..... но они гнались за ним..... и он бежал дальше.... бежал и продолжал бежать, уже сидя на своей вечной ночной скамье..... бежал строками, слогами, звучаниями, буквами... пока не пробежал три спасительных четверостишия, которые тоже ни от чего не спасали, но давали хоть воздух для очередного вдоха, хоть пространство очередного шага, а дальше.....далее куст отцветшей сирени возник, как засада, на обреченном его пути домой, то есть —обратно.....то есть туда, где его неторопливо, даже сочувственно поджидала неизбежность выговорить одну-единственную короткую фразу: «Я ухожу от тебя».

...августа 1998, Верона

«Здравствуйте, Татьяна! Не в шутку, здравствуйте!

**«...от надежды, которую Вы мне дали — Неужели это возможно?! —
Вы хотите видеть во мне женщину — значит возможна живая встреча?!!..**

Бедная моя... Вам сделалось страшно от этой перспективы.
И мне!

Вы воскликнули — не шути со мной, это жестоко! И я понял... еще раз понял, как ужасно скована жизнь наша узами плоти, как бьется наш дух в тенетах страстей, как тяжек плен наш.

Но что же делать, милая моя, что делать нам?????????????????????????

Любовь не ведает преград и... разбивается о неосуществимость.

Воление полноты жизни во мне неудержимо, но оно преступно. Мои помыслы — всегда о счастье разделенности, мои силы давать кажутся мне беспредельными! (о, какое заблуждение!!!). Нет, я не жажду крови! Я жажду беспредельности слияния, я безумно еще порываюсь вобрать всё любящее. Вобрать, чтобы вознаградить, ибо преклонение мое перед гениальностью любви глубоко.

Я родился с чувствительностью страшной, с раздирающим внутренности гимном всеклеточной полноценности, со страстью вместить весь мир, всё живое и нежное, всё страстное и отдающее. Я родился не водку пить, а вулканическую лаву, которая, увы! горяча и может сжечь дотла. В холодном мире всё это спряталось, затаилось внутри меня, но на зов любви оно вскипает как огненное озеро. Оно разливается призывом, оно кипит ненасытностью, оно не знает берегов, оно пожирает берега. Когда-то в юности

дальней оно металось в искации одной бесконечно всасывающей женственности, оно порождало кошмары эротических удуший. Не находя объекта, оно сжигало меня самого, было чистым огнем **самопожирания**. Если нашим отношениям суждено продлиться, я дам Вам, Татьяна, прочесть то страшное, с чего началось мое писательство. И заглянув в эту печь, Вы лучше, может быть, поймете, что я есть на самом деле. Потому что **огнь пещи первоначальной** никогда не угасает вовсе. Не угас он и во мне. Но ныне я не ищу бесконечно всасывающей женственности, ибо знаю уже, что такая женственность слепа и пожирает всё без остатка. Ныне, — в зрелости моей, — я хочу большего и более грешного... я хочу любви, вышедшей из себя и вынесшей на протянутых руках душу. Мне в безумии моем всё еще кажется, что я могу принять и одарить протянутую мне душу. Именно потому, что любовь — редчайший и благоуханнейший цветок жизни, именно потому, что ее не сыщешь и днем с огнем, именно потому и кажется мне, что всякий раз, — этот всякий единственный раз, нужно принять всё, потребовать всего. Груз нераздаренности нежной тяжел и порождает бред титанизма.

Вы почувствовали лишь слегка, еще не ожогом, еще лишь только первым жгучим касанием, эту печь. Но вижу, — и оно стало обжигающим, пугающим, опрокидывающим. Нет, милая, никакие это не условия игры. Это условия моего безумия! Безумие не знает, куда стремится оно. Безумие, как Фауст, повелительно заклинает духа...исступленно требует огненного явления. А потом в шоке падает почти без чувств, раздавленное ужасающим зрелищем того, что так долго, так неосторожно призывало.

Чем-то схожи в этом наши с Вами ситуации. Сначала Вы вызвали меня из волшебной лампы моего одиночества, а теперь я вынимаю из Вас Вашу страсть, Ваше безумие и сладость, Ваши желания. Кому из нас двоих быть ужаснувшимся Фаустом, а кому ужасающим духом? Того не ведаю.

На Ваш смятенный вопрос: «На что Вы меня толкаете?» — я мог бы цинично ответить Вам: «Вы уже сами себя на это толкнули!» Но я не могу так ответить Вам, ибо знаю, что это именно я теперь толкаю Вас на тотальное самоотдание Вашему чувству, толкаю на беззаветность. Вы падаете, и я это знаю. Вы падаете вверх и кричите: «Не могу отказаться и не могу закрепить!» И я, Татьяна, не могу отказаться, хоть и чувствую, что Вы падаете в какое-то новое пространство, в котором — что будет? — гибель или свобода осуществленности?!? Что будет там, в этом пространстве? Это можете решить, узнать tolko Вы!

Есть женщины, которые готовы «любить», но только бы не сбила их «любовь» с насеста. Такие разгоняются шибко, а после тормозят еще шибче. Их я не осуждаю, потому что и правда — страшно. Всякий себе судьбу сам выбирает. А судьба — это не всегда семейная жизнь. Судьба — это Жизнь. К какой Вы хотите видеть Вашу судьбу, то знаете только Вы.

Увы, грешная жизнь наша так устроена, что свет, который я несу в себе и могу пролить на женскую судьбу, оборачивается тьмой. Так, по крайней мере, его воспринимали те, которые разбежались от меня по углам, как овцы от волка. Я не в ладах с чем-то очень существенным в самих основаниях жизни?! Есть, однако, в моей судьбе и женщина, которая, несмотря на разъединенность наших «фактических» путей, думаю, не пожелала бы «если б сначала, то по-другому». Так что и такое мне тоже ведомо. Мало в жизни такого, это правда. Но оно есть.

Никакой наскок на вулкан чувственности со мной невозможен. Это для «быстроньких-быстроньких». Этого Вам опасаться не следует. А в «успокоенном омуте» и черти водятся. Этого тоже забывать не стоит!

Нет, Татьяна... я не засада на пути, хотя и довольно-таки обугленный уже куст сирени. Я не желаю Вам зла, я не хочу взять Вашу жизнь. Но, может быть, могу стать для Вас злом, если Вы твердо намерены посвятить Вашу жизнь без остатка чему-то... кому-то другому или другим. Говорю это, ясно сознавая, что Вы готовы отдать Вашу жизнь мне. Нельзя отдавать то, что уже дано кому-то. И только Вы сами можете решить, насколько я для Вас опасен. То, что я чувствую в себе и способен отдать, есть свет. А как мне знать, не станет ли свет этот для Вас смертоносным облучением. Я не ищу изгнать из Вашей жизни других, но может статья, что наши продолжающиеся отношения, — новое зрение, новые понимания, новые горизонты, — сами собой произведут в Вашей жизни опустошение. Впрочем, (эта мысль только сейчас пришла мне в голову!), если Вы так неудержимо ворвались в мой мир, значит душа Ваша в тяжкой неполноте, значит вокруг Вас довольно-таки пусто. Могу, конечно, и ошибаться, но думаю, что не слишком преувеличиваю. Знаете, ведь душе может не хватать лишь чего-то единого, казалось бы, немного, а ощущать она при этом будет тотальную опустошенность или, точней, незаполненность. Песенка даже такая есть: «Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить!» Такой вот парадокс.

Вы говорите: «В том смысле, что я просто **потом** не смогу уже жить».

Ну во-первых, когда это **потом**? Что это за «потом» такое? Если Ваше чувство — любовь, то какое **потом** может быть у любви? Разве любовь — однократное действие, до которого ее нет и после которого наступает опустошающее **потом**? Может быть, Вы спутали страстное влечение, вспыхнувшее в Вас, с любовью? У любви не бывает **потом**, а без любви никакое **сейчас** не действительно!

Я думаю, — любовь это соединение духовное и соединение навечно. Слияние души любящей с предметом любви не подлежит никаким разрывам.

Если Вы прежде всего и любой ценой хотите обеспечить себе заполненность жизни кем угодно и чем угодно, тогда бегите от меня опрометью, потому что быть беде. Я-то принял Ваши слова всерьёз, без всяких там скидок на эвфемизмы! Вы сказали — «Люблю тебя!» А если это так, то Вам, Татьяна, нет пути вспять, а только противогаз самоудушения, только закусывание языка вплоть до полного откусывания. Была тут одна такая. Вот и откусила себе язык, сама себя сделала душевной калекой. Бог же нам судья! Мне и ей. Потом, (вот именно **потом**!) она пыталась обратиться ко мне. Да откушенным-то языком много ли скажешь? Так, бульканье какое-то раздалось и всё!

Не загоняйте себя в тупик. Не ставьте вопросы душевые и проблемы духовные в практический план телесной событийности, если они действительно душевые и духовные, а не только телесные.

А впрочем... чувствую Ваше смятение, понимаю Вашу болезнь; «огонь... вода, либо всё, либо ничего.....» Бедная моя, бедная! Попали вы в асфальтовое болото. Не только затягивает... еще и жжет. Глядя в Ваши строчки, хочется и улыбнуться, и утешить. Увы, моя милая, и счастье несет с собой муки. Всё на свете несет муки, кроме пустоты. Пустота не несет мук, потому что сама есть мука. Она — пустота. Ваши же муки — это муки переполненности. Боюсь, что если не сбежите от меня, то прибавятся еще и муки цепей, ибо жизнь Ваша нынешняя, (не могу судить с точностью какова она?!),

видимо, не по Вас. Если пойдете путями восходящими, то перестанете понимать, что вокруг Вас, и окружающие Вас узнавать перестанут.

Как хотите, Татьяна, но образ который я вижу перед собой, которому адресую речь мою, есть образ женщины, котоая смеет свободно любить. Так что одни «ученые споры» вести не получится. Вы для меня не оппонент на ученоом совете, а я для вас не школьный учитель. Я для Вас, как Вы волнующе произносите, «долгожданный». Это очень важное, очень большое слово... очень сильное и страстное.

Я с радостью и терпением отвечу на всякие Ваши вопрошания, но именно потому, что — долгожданный, — а не справочное бюро, не толковый словарь, не энциклопедия!!!

Что до помышлений — и Ваших тоже — то судите сами... сердцем судите, грех ли это! Уж если грешны чьи-то помыслы, так уж тогда — мои! Не все грехи нам в жизни покаять суждено. Человек слаб и природы горячей. Посторить с ней можно, но победить — не всегда. Не зря народ русский головой качает: «Не согрешишь, — не покаешься». Это, конечно, не индульгенция, а только правда в этом есть и правда глубокая. Не разрубить нам гордиевы узлы! Вот и помышляем, вот и желаем: и любить, и быть любимыми. Вот Вам и «...падаю! Не могу отказаться, не могу разрешить! ... хочу всем существом...» Человек живет в скрежете зубовном, в тоске недостижимости, в лепете невместимости.

Как объять... как взять всё Ваше существо, чтобы это не стало для Вас гибелью? Хороший вопросик, правда? Вопрос одного, живущего в искупительном аду, другому, в этом же аду обитающему.

«ты уводишь в сон из ада,
а во сне всё тот же ад».

Только и остается Вам, моя бедная женщина, — идти на куст обугленной сирени и верить, что это не засада на Вашем пути. Есть еще, конечно, в запасе и «спасительное» бегство. Что ж, мне такое «спасительное бегство» было бы грустью и разочарованием, а Вам. ... только Вы можете решить, чем оно стало бы для Вас.

Бог дает день и Бог дает пищу. Давайте жить и верить в лучшее, как ни трудно это делать людям, уже имеющим этот самый трижды проклятый жизненный опыт. Кто знает, а вдруг Вы выйдете из опыта этих отношений новой, нежданной для себя самой. А вдруг Вы станете писательницей. Может оказаться, что в Вас откроется сокровенное, ищущее себя поведать!? Вы неплохо пишете, хотя это еще ничего не гарантирует в окончательном смысле призыва. Но способности Ваши несомненны.

Меня восхищает Ваша энергия и стремительность, с которой Вы ринулись на всё, дорогое и близкое мне. Ну, не на всё, конечно, потому что мир мой огромен. Его не исходить и за годы. Но Иванов ... Бердяев, — это из самого интимного, из самого сокровенного моего. Помните, однако, что и Иванова надо читать с разбором. Он стал великим Георгием Ивановым лишь очень поздно, лишь в глубокой тоске эмиграции. Именно эмиграция вскрыла его закупоренный до того духовный мир и душевную щедрость. Иванов гениален как трагический Иванов «Портрета без сходства» и «Посмертного дневника».

С Бердяевым не спешите. Сначала расскажите мне, что именно Вы получили. Может быть, я смогу посоветовать Вам порядок чтения.

Вы смешная, право! К Богу проводить нельзя. Только своим духовным усилием, только своим мужеством верить сможете Вы войти в Бога. Не пре-

увеличивайте моего значения и сил. Я могу в лучшем случае указать дорогу. Помните — **ВЕРА ЕСТЬ ОБЛИЧЕНИЕ ВЕЩЕЙ НЕВИДИМЫХ!**

Может быть, моя книга, которая теперь в Питере готовится к изданию, (называется она «НА БОГА НАДЕЙСЯ»), могла бы Вам в чем-то помочь. Надеюсь, к осени она выйдет.

Новые **условия** переписки, которые нам на **условиях** безоговорочной капитуляции навязали немецкие «друзья», несколько отодвигают сроки прихода моих писем, но зато открывают новые возможности. Теперь переписка может быть не только перепиской, но и пересылкой. На первый случай, отправляю Вам целиком «АНКЕТУ». А вдруг Вы решите исчезнуть...ну, в смысле — сбежать от меня? Так хоть судьбу мою прошлую знать вполне будете. Будете знать, каким образцом хронического неуспеха Вы пренебрегли.

А когда будут у меня в руках экземпляры книги, то я (если не сбежите до тех пор), смогу Вам ее почтой-то и переслать.

Теперь соберитесь с духом и задумайтесь: насколько важно и нужно для Вас это рискованное предприятие, которое я уже условно (безусловно) окрестил **«нашими отношениями»**. И помните, движения души совершаются из свободы, а в свободе всегда есть риск. Свобода отворяет небеса, но она же разверзает и бездны. И поймите, милая моя, я не могу... не способен относиться к Вам иначе как к женщине. Мужские отношения — совсем иное дело. В мужских отношениях нет яда, но и сладости несравненной тоже нет. Получив в некий день жизни своей признание в любви... не знаю, кем надо быть, чтобы остаться равнодушным?! Как хотите...а я не могу отказаться от звуков этого признания, не хочу, не желаю соблюдать менторский тон в сердечном деле. Сердечное же оно, ведь так?

Надеюсь, Ваши письма будут и дальше приходить по факсу. Впрочем, если захотите слать их почтой, то вот адрес:

L-B

Via.....

.....**VERONA**

ITALIA

Вместо обратного адреса напишите в уголке просто: ТАТЬЯНА. Этого будет достаточно, чтобы письмо попало в мои руки.

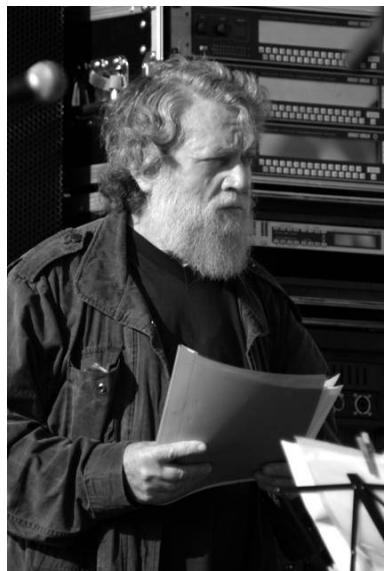
И успокойтесь сердцем, хотя... как тут успокоишься? Глупости говорю, конечно!

Не уходите!

Ваш Б.»

++ + + + + +

Владимир Алейников. Еще недавно. Большой мадригал. Стихотворения.



Русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился 28 января 1946 года в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Работал в археологических экспедициях, в школе, в газете. Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. С 1965 года стихи публиковались на Западе. При советской власти в отечестве не издавался. Более четверти века тексты его широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых годах был известен как переводчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках, в том числе собрания сочинений в восьми томах. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной Отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Бунара, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Тадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии, книга «Нрав и права» — шорт лист премии «Писатель XXI века».

Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс», альманаха «Особняк». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба.

Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

Владимир Алейников — персонаж почти античный. Как Макс Волошин; как неведомый Анакреонт, и это он идет по берегу Понта Эвксинского, внимательно слушая далекий авлос, близкую звонкую лиру и чуть глуховатый, чуть хриплый голос отжимающей мокрые, после купанья в море, косы Сапфо. А может, он беседует с Публием Овидием Назоном в виду прибоя, на морском берегу, и это вовсе не вымысел, поэты и не на такое способны.

*«Неужели и средь виноградин,
Для какой-нибудь смуты украден,
Не найду я созревшую гроздь?..»*

Его безбрежные композиции повторяют божественные длинноты античных трагедий, симфоний Брукнера и Малера, широту полдневного солнечного моря; это и зеркало времени, и отражение вечности: поэт не может без вечности, он слишком хорошо знает, что такое смерть, но он не может умереть и не умрет; он — портик Парфенона, лик Эрехтейона, амфора с родосским вином, лиловая волна Коктебеля.

В текстах Владимира Алейникова мифология становится живым Эросом и огненным Эребом, она становится нашей плотью и кровью, в ее ритме бьется сердце, и это так же непреложно, как Цефей и Кассиопея над ночным Карадагом.

Елена Крюкова

ЕЩЕ НЕДАВНО

I

Потянуло ли дымкой с Леванта
Или люди вокруг загорели —
Коктебельского духа Веданта
Возрождается заново в теле,
И свирелью пастушьего лета
Под навесом неспешного склона
Появляется музыка где-то,
Чтобы слушала нас Персефона.

II

А наивная мысли уловка
Никого успокоить не смеет —
И расплёснуты листья неловко,
Но они никого не жалеют,
Потому что, спеша раствориться
В этом воздухе осени ранней,
Поневоле душа загорится,
Чтобы облако стало желанней.

III

Непослушное тешится море
Охлаждением синего цвета,
Чтобы с августом спорила вскоре
Сентября затяжная примета,
Но зелёному надо настолько,
Поднырнув, на корню удержаться,
Что не странно ему и не горько,
И нельзя на него обижаться.

IV

Торопливые плачи оркестра
Желтизу на беду не накличут —
Что же птицы срываются с места,
Начиная поверхностный вычет?
И становятся в ряд музыканты,
Чтобы трубы их громче сверкали,
И погода стоит, как инфанта,
В беспредельной дали Зазеркалья.

V

О великая лепта фантастов
Да реликвии вредных теорий,
Перемирие слишком уж частых
Фанаберий и фантасмагорий,
Мемуары игры на фаготе,
О народе вопрос и Вселенной,
Чтобы кто-то держал на отлёте
Ослепительный шлейф впечатлений!

VI

О незлобивый говор долины,
Ожерелий нетронутый выбор,
Оживления клин журавлиный,
Промелькнувший, как выговор рыбам!
На театре разыгранным фарсом
По террасам страдание длится,
Словно где-то сражается с барсом,
Помавая крылами, орлица.

VII

А по лицам, что подняты к небу,
Промелькнули бы, что ли, улыбки,
Не рискуя вовне, — да и мне бы
Оказаться б извне не в убытке,
Отказаться бы мне от участья
В этом сговоре давних знакомцев,
Да на пальцах не высчитать счастья,
И скитальцы не в роли питомцев.

VIII

Точно, карие выплакав очи,
Собирается плакальщиц стая —
И бессонные выплески ночи
Ни за что ни про что я впитаю,
И с пылающим факелом яви
Прокричит предрешённая встреча,
Что теперь отшатнуться не вправе
От того, что вблизи я замечу.

IX

И чеканная выучка взмаха
Отвечает заученным вехам,
Что отстало уж лихо от страха,
Откликаясь измученным эхом,
Что не нам на потеху эпоха
Подпихнула утеша помеху,
Но и нам убедиться неплохо
В неосознанной власти успеха.

X

И ухабами цвета индиго,
Панагию снимая итога,
Не сморгнув, надвигается иго
И торчит на пороге чертога,
И горчить начинает немного
Непочатая благости влага,
И тревога ругает отлого
Неподкупность твердынь Кара-Дага.

XI

И к кому обратиться нам, Боже,
В этом смутном, как сон, пантеоне,
Чтобы, судьбы людские тревожа,
Возникало, как лик на иконе,
Выражая от света дневного
До скитанья в ночи по отчизне
Постижение чуда земного, —
Продолженье даруемой жизни?

XII

Может, наши понятья резонны,
И посильная ноша терпима,
И пьянящие чаши бездонны,
А судьба у людей — неделима,
Может, в жилах отвага не стихла
И горячая кровь не свернулась,
И ещё голова не поникла,
И удача домой не вернулась.

XIII

Это там, за управой прибоя,
За преградою грани жемчужной,
Наконец-то встречаются двое —
И участия больше не нужно,
И надежда, вскипая, дичится,
И предчувствие бродит поодаль
И уже ничего не случится,
И не в убыль им осени опаль.

XIV

И разлука уж бусины нижет,
Начиная будить спозаранку, —
И она наклоняется ближе,
Точно врубелевская испанка,
И ему, помертвев от волненья,
Будто кровь их отхлынула сразу,
Повторяют в округе растенья
Расставания кроткую фразу.

XV

И разорванным зевом призыва,
Словно прорезью греческой маски,
Расстояние самолюбиво
Уж не сможет пугать без подсказки —
И оставшийся здесь, на дороге,
Человечьей хранитель науки
Понимает, что муки нестроги,
Потому что протянуты руки.

XVI

И туманная Дева, увидев
Где-то в зеркале их отраженья,
Чтобы их не смутить, разобидев,
Им дарует отраду сближенья, —
И туда — к листопаду и снегу,
К наготе, дерева стерегущей,
Точно древнее судно ко брегу,
Приближается странник идущий.

БОЛЬШОЙ МАДРИГАЛ

I

Я прохладные клавиши трону,
Я прислушаюсь к долгому стону —
Обречённая вздрогнет струна,
Отречённого горя полна,
И нескладная жизнь моя снова
Уж не станет тужить бестолково —
Я и так холодам послужил,
Словно крыльям, что вместе сложил

II

Миновал бы я происки хмеля
От щедрот добряка Ариэля,
Втихомолку ладони не грел
Да в окно по утрам не смотрел,
Чтобы въявь для меня закипело
Всё, что в памяти билось и пело,
Что успело спастись наконец
Для сближения звёзд и сердец.

III

Тянет месяц туманы ночные,
Пробираются звери ручные
К очагу, где покой и тепло, —
А тебя далеко унесло
Неизбежностью всячины всякой,
Первобытною вскормленной тягой, —
И судьба твоя вместе со мной
Високосной полна пеленой.

IV

Может, этого года так мало!
Что ты знала и что понимала,
Словно, глядя всегда в белизну,
На пути повстречала весну?
Да простятся зрачков чернотою
Отчужденье твоё да устои,
Если бьётся давно впереди
Неизбежное счастье в груди.

V

Задевать бы мне дни мои злые,
Да подальше, чтоб дали златые
Затерялись, как будто во сне,
Заблудились в своей желтизне, —
И тогда не спрошу я советов,
Если оклик всегда фиолетов,
И смирилась холмов синева,
И кружится моя голова.

VI

Как полуночью выйдешь из дома,
Ликованье покоя знакомо —
Но не знать ли проверенных свойств
Обретенья родных беспокойств!
Где голубкою в зыбке воспето
Небывалого возгласа лето,
Приближение что-то решит
Да ресницы, спеша, распустит.

VII

Что же встрече мы так благодарны?
Прошуршать бы листве календарной,
Где дрожит под ногами земля
Да порыв сторожат тополя —
До поры ли во времени позднем
Не морозным, так разным иль грозным
Набрякая, как реки без дна,
Одиночества чаша полна?

VIII

Молчаливы ли ивы на диво?
Не ворчливы так велеречивы,
Разговоры заводят с водой,
Вероломной пугают бедой —
Только что им во власти поклона
Оговаривать так непреклонно
Расстояния бренный укор,
Если есть и другой уговор!

IX

Виноградная медлит дремота,
Будто весточки ждёт от кого-то —
Только кто это только что был,
Постучался и адрес забыл?
Я бумаги скорей перерою —
Точно косточка под кожурою,
В потаённой дыша глубине,
Притаилась ты где-то во мне.

X

Неужели и средь виноградин,
Для какой-нибудь смуты украден,
Не найду я созревшую гроздь?
Я уже вам не жалобный гость,
Не попутчик в купе до столицы,
Не плету я былой небылицы
Из развернутой правды бровей! –
И не троньте любимой моей.

XI

Монотонная тщится текучесть
Поучать обещания участь,
Сознаётся в покорности грусть –
И бесспорности я не боюсь,
Если слово созвездья настигли
И в заждавшемся сердце, как в тигле,
Опаданья расплавленный шум
И гаданье приходит на ум.

XII

Говорливые птахи распелись,
Осыпается шелеста прелесть,
Раскрывает зеницы Морфей
Да играет деннице Орфей –
О любви да доле радея,
Уж не пустят они Асмодея,
Разрушенье упрячут в бочаг
И надежду поддержат в очах.

XIII

И в краю, где былое пригрето,
Где бродили сарматы и геты,
Я сухую траву соберу
И развею её на ветру,
И костры разожгу белокуро,
И увижу средь гульбищ Амура,
И стрелою приму я завет
На ближайшую тысячу лет.

XIV

Может, гурий напевы я слышу,
Может, тиши пробирается в ниши,
Зажигает на крыше огни –
И окажемся скоро одни
Средь полей и лесов беспристрастных,
Средь жалеющих, жаждущих, властных,
Преисполненных ясности дней,
Где вдвоём пребыванье длинней.

XV

О чудес и завес почитанье!
Очертания предназначертанье!
Очарованный слушал Эол
Воркование флейт и виол,
Где незыблема неба Валгалла,
И колеблемый строй мадригала
Волхвованию арфы внимал
И меня наконец понимал.

XVI

Мифологии жаркое лоно,
Предрассудки, крушения, кроны,
Восходящие звуки цевниц,
Голосящая толща темниц!
Ахерон, Ипокрена, Элизий!
Непокорное логово близи! –
Да воспримешь ли верность мою,
Что отныне тебе отдаю?

Новый роман БОРИСА КУРЛАНДА!

Перед вами семейная сага,
щедро сдобренная элементами
авантюрного романа.

*Встреча Натальи Снегиревой
и великого музыканта Никколо Паганини
в 1832 году в Эдинбурге (Шотландия)
влечет за собой ряд событий
на протяжении почти двух веков.*



ЛИТЕРАТУРНОЕ  ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

Леонид Нетребо. Одесса на сырдарьинском берегу. Рассказ



Леонид Нетребо родился в 1957 году в Ташкенте. Детство и юность прошли в Бекабаде (старое название — Беговат), промышленном городе Узбекистана.

Окончил музыкальную школу, Бекабадский индустриальный техникум, Тюменский индустриальный институт, долгое время работал на Крайнем Севере (Пангоды, Ямал). Проживает в Санкт-Петербурге. «Родился в Ташкенте. Этот солнечный край, колыбельная родина, является для меня синонимом рая. Россия, где я окончил Индустриальный институт (Тюмень) — моя родина духовная. Крайний Север — воплощение свободы. Все эти понятия сформировались давно, когда мне было немногим более двадцати. Но, несмотря на то, что неумолимое Время вносит поправки в астрономические и социальные пропорции, иногда переводя привычные понятия в разряд потерь, я остаюсь прежним: Рай, Родина, Свобода — всё то же, всё во мне»

Член Союза писателей России

Член Международной Федерации Русско-язычных Писателей

Автор шести книг прозы, нескольких коллективных сборников, лауреат и дипломант многих литературных конкурсов,

Публикации:

- в еженедельниках — «Литературная Газета», «Литературная Россия», «Красный Север»
- в журналах — «Сибирские огни» (Новосибирск), «Крещатик» (Берлин), «Подъем» (Воронеж), «Tygiel Kultury» (Лодзь, Польша), «Уральская новь» (Челябинск), «Север» (Петрозаводск), «Луч» (Ижевск), «Венский литератор» (Вена), «Мир Севера» (Москва), «Тюркский мир» (Москва), «Ямальский меридиан» (Салехард), «Фактор» (Москва), «Северяне» (Салехард), «Надым» (Надым), «Дарьял» (Владикавказ), «Сибирские истоки» (Ноябрьск)
- в альманахах — «Окно на Север» (Надым), «Обская радуга» (Салехард), «Врата Сибири» (Тюмень) и др.
- в сетевых журналах — «Русский переплет», «Русская жизнь» («Русское поле»), «Молоко» («Русское поле»), «Заповедник», «Новый канадец», «Лебедь», «Эрфольг», «ИнтерЛит», «Зарубежные задворки», «ПЕРЕМЕНЫ» и др. и во многих электронных библиотеках Интернета
- представлен своими произведениями в Антологии ямальской литературы и Хрестоматии тюменских писателей

Продолжение следует...

Как можно перекинуть мост от одной географии к другой?

Сшить колорит одной местности с цветом и ароматом другой?

Как полюбить, искренне и горячо, Одессу-маму и жаркое, прокаленное солнцем небо Узбекистана?

А очень просто. Надо, чтобы у тебя был друг из Одессы; и он тебе, рожденному под солнцем Ташкента, говорил, щедро рассказывал про лучезарное, весело танцующее в степи над морем солнце Одессы.

Вкусная, яркая, веселая жизнь! Ее простота, ее молодая сила, ее непрятательность, ее могучий солнечный свет. Все это есть в прозе Леонида Нетребо, и радостно окунуться в эти свет и чистоту: что греха таить, они уже забыты нами, но как же счастливо их вспомнить, увидеть снова — и мысленно прижать к груди, и оказаться там, где еще так понятно и дорого сердцу словосочетание «дружба народов»...

Елена Крюкова

Конечно, ничего оригинального в том, что, лежа в ванне, под журчание горячей струйки, мечтаешь, например, о теплом море или о жаркой степи, или...

Мало моря или зноя? — добавь соли, включи фен, закрой глаза.

"Детский грех".

С чего начать? Ну вот, хотя бы.

...У нас в техникумской группе на первом курсе оказался (именно так, занесло случайным ветром) паренек из Одессы, что было редкостью для нашего провинциального среднеазиатского городка, — настоящий одессит, с фамилией Городецкий. Его так и стали звать — "Одэсса" (через "э", как тогда было принято произносить) или "Одэсса-мама". У него было все как бы "слегка" — рост ниже среднего, слегка смугловат, нос слегка с горбинкой, слегка кудреват. При этой обильной "несочности", он имел и кое-что из категории "очень" — очень добродушный, очень улыбчивый, очень словоохотливый.

Наверное, ему, одесситу, было удивительно видеть в одном обучающемся коллективе интернационал, непривычной для него пёстроты. В нашей группе были русские, корейцы, татары ("казанские" и "крымские"), узбеки, таджики. В соседних группах были также украинцы, белорусы, евреи, немцы, греки и другие малочисленные представители других национальностей, населявших наш азиатский городок, — но все они шли как "русские", никто таковых не сепарировал и сами они в большинстве своем не пытались отдельить себя от русских. Вообще же, в техникуме (как и в других учебных заведениях солнечной Узбекской ССР) учащийся контингент разделялся на две официальные категории — "националы" (узбеки — то есть обучение на узбекском языке) и "европейцы" (все остальные — обучение на русском). Таким образом, наша группа была "европейская".

Мы иронизировали: "Для Азии, причем Средней, куются вполне европейские кадры". И в шутке, как водится, кроме доли шутки, был и высокий смысл, на который, впрочем, наше ироничное, и даже нигилистичное поколение (начало семидесятых двадцатого века) всерьез не претендовало.

Бекабад (старое название — Беговат) — знаменитый, ветреный город Узбекистана на берегах древней Сыр-Дарьи. Сюда во время войны было эвакуировано множество производств Советского Союза, быстрыми темпами возведен металлургический завод, ставший крупнейшим в Средней Азии. Построился новый деривационный (Фархадский) канал, который вскоре погнал сырдарьинские воды в Голодную степь, и в низовьях которого позже зашумела Фархадская ГЭС — завершилось то, что было начато еще Великим князем Николаем Константиновичем в конце девятнадцатого века, Степь обрела воду.

В городке обосновался не только квалифицированный инженерно-технический персонал, но здесь обрела пристанище и тьма отсидевшего и просто "неблагонадежного" многонационального народа. Беговат был местом депортации дальневосточных корейцев, крымских татар, греков, турок, финнов и послевоенной ссылки для пленных немцев, японцев (в черте города есть заброшенные японские и немецкие кладбища).

"Цветут сады в районе Беговата" (из стихотворения Долматовского) — это о краях нашего детства и "Кто перед богом виноват, того ссылают в Беговат" — это тоже о нас.

Выходит, мы, юное поколение Бекабада, были потомками инженеров, пролетариев, туркестанских переселенцев, казаков, ссыльных, неблагонадежных, депортированных и тому подобных. Но данное поколение уже, в смене эпох, было отмыто временем, причесано, унифицировано — близкая история была не в почете, не в ходу, семьи не афишировали своего происхождения и сильно не посвящали в него своих детей (на всякий случай, язык мой — враг мой). То есть это было поколение, не слишком помнящее родства (и только, пожалуй, крымские татары, благодаря живым предкам и их — предков — неуспокоенной памяти и явного устремления к исторической родине, в этом смысле от всех отличались).

"Унифицированность" и "отмытость" имели один существенный плюс — мы, "рожденные здесь", считали себя не только местными, но и равными. Поэтому судили друг друга, что называется, по делам нашим, а иерархия выстраивалась не по "породе", а "по возможностям" (физическая сила, лидерские способности, приспособляемость, трудолюбие, ум). Конечно, вырастая, мы могли ощутить на себе все, или некоторые, последствия "происхождения", но у детей и юношества (гуляй пока!) было именно так — не порода, а... всё остальное.

И все же, сложное происхождение городского населения сказывалось на современной жизни, критические массы делали свое дело превращения количества в качество. Пролетарский город был в числе лидеров Узбекистана по преступности, а уж по "хулиганости" — и говорить нечего. Все это — плюс удаленность от культурных центров — определяло слагаемые молодежной романтики: коллективизм (границающий со стадностью), "блат" (в данном случае, категория уголовная, а не "дефицитная"). Хотя и спорт был в городе на высоте (о, чем я только не занимался!).

Мы, наша жизнь, наш город-на-реке, наш Узбекистан, — всё было обыденностью для "здесь-рожденных" — "отмытых" и "усредненных". Только уехав оттуда навсегда, я понял, что жил... если не в Раю, то в Сказке, — но это отдельная и сложная песня, которую не споешь под три аккорда.

Итак, вернемся к "жемчужине у моря", раз уж начали с фена. Особенность Аркаши Городецкого, естественно, жила в том, что он был "неместный", причем прибывший издалека, да еще из легендарного города Одессы. Это вызывало восхищение, и в студенческом сообществе он сразу попал в кокон всеобщего охранения, что было очень важно для него в нашем, в общем-то, жестоком мире. Он стал оберегаемым, как оригинальная — в штучном, неповторимом исполнении, — игрушка.

Мы, раскрыв рты, слушали его рассказы об одесской жизни, об одесских хулиганах, о правилах и законах одесского мира. Узнавали, что такое Молдаванка, Пересыпь, Дерибасовская — слова, знакомые из песен. Мы думали: у нас — жестокая постная реальность, а там — сочная экзотика, классика, романтика.

...Хлопок — это неповторимая, вечно — и высоко-звучавшая песня Узбекистана.

В хлопкоуборочную страду Одесса сохранял свою оригинальность, которая в данном "сезонном" случае явилась тем, что он, "оказывается", совершенно не умел собирать хлопок, наше "белое золото".

Мы, выросшие в Узбекистане, познавали технологию сбора "золота" постепенно, что называется, от младых ногтей: младших школьников вывозили "на хлопок" по выходным дням, старших — на недели, "с ночевкой". Мы, горожане, уже к двенадцати годам знали, как повязать вокруг тулowiща хлопкосборочный фартук (на манер сумки кенгуру), как цапать хлопковую коробочку, как быстро переходить от куста к кусту, как укладывать собранное в кучу, как потом эту кучу частями переносить на "хирман", взвешивать и так далее.

...Одесса-мама останавливалася возле хлопкового куста, срывал коробочку, не торопясь выковыривал из нее дольки (по одной!), бросал их в фартук... Словом, на взгляд тех, кто понимает, — карикатура и смех. Уж какая там "норма"! Вместо положенных за день восьмидесяти килограммов сбора, он приносил на хирман, в лучшем случае, килограммов пять-десять.

Как ни странно, карикатурная картинка "от Одессы" использовалась в воспитательных целях, что называется, «от противного».

...По утрам, на хлопковой "линейке", устраиваемой после завтрака между казармой и полем, произносились речи по разбору вчерашних полетов: кто и сколько собрал-недобрал (за систематическое невыполнение плана дневного сбора можно было запросто загреметь из учебного заведения).

— Вот, — вещал гневным революционным голосом, как на митинге, зам-директора техникума, — вчера студент Городецкий принес на хирман всего восемь килограммов!.. вместо восьмидесяти!.. — Следовала тяжелая пауза. — Но ведь он же из Одессы!!! — неожиданно тонко выкрикивал зам, чуть приседая и делая страшные глаза. — А вы-то почему так мало собрали, киреной узбекистанец? Какое ВАМ может быть оправдание?!

Сейчас вспоминать об этом смешно, но тогда всё было серьезно.

Пасха в наших краях, особенно для детей, была "универсальным" праздником. Мама красила яйца, и мы угождали ими соседскую детвору. На улице было всего несколько "условно-христианских" семей, однако в Пасху все дети "махаллИ", независимо от национальности, бегали с крашенными "писанками", трещала скорлупа, — бились ими "на выигрыш".

Это был своеобразный символ дружбы народов, взаимопонимания, взаимопроникновения.

Наверное, и мы, пятнадцати-, шестнадцатилетние студенты, еще, по сути, дети, приходили с этим чудом языческо-христианского творчества в техникум, чтобы в большую перемену постукиваться ("чи яйца крепче!") для хохмы, а потом и "по-праздничному" отобедать в буфете или в ближней лагманной, употребив под "мусульманское" блюдо и замученные в борьбе православные яйца.

В один из пасхальных дней, на перемене, Одесса, обращаясь ко мне, спросил тихо:

— У тебя в семье одну Пасху справляют?

И не дожидаясь ответа продолжил, также тихо, "по секрету", с детской гордостью, мол, "у меня больше":

— А у меня две, русскую и еврейскую!

И заметив мое неловкое удивление, торопливо заверил, просияв своей открытой улыбкой:

— И всё нормально!..

В этих его словах, наверное, тоже был какой-то интернациональный символ, который Одесса хотел до меня донести, но в них, странным плюсом, услышалась и, еще не знакомая мне, нездешняя, солёная разбитная весёлость и, солёная же, неизвестная грусть. Я понял вдруг, что в этой его кроткой эмоции было все, о чём он рассказывал, — и Дерибасовская, и Пересыпь, и Роза с Молдаванки, и "компания блатная", и море, и "Мясоедовская улица моё", и Япончик, и многое другое "всё нормально!", что не передать словами и, скорее всего, не пожив в Одессе, до конца не понять.

Одесса долго у нас не продержался, всего один курс, и уехал в свой родной город. По одной версии — "из-за хлопка" (а ведь и правда, для многих ежегодная хлопкоуборочная страда была настоящим периодическим адом, существенным слагаемым в решении поменять место жительства на другую республику Союза).

Чуть позже у меня, возможно, случайно, появилась магнитофонная кассета, целая часовая бобина, с записью шансон-банды, которая сама себя именовала "Одесские евреи" — "Одессу-маму пер-вернули, гоп-ца-ца!" Скорее всего, это была подборка выступлений Алика Фарбера.

Магнитофон во дворе, в отсутствие родителей, гулял на полную катушку. Песняры, Битлы, Высоцкий, одессы и прочие самоцветы. Соседи, по мере слышимости, приобщались к "европейскости". Ровесник-узбек иногда кричал из-за дувала: "Эстудэй давай, а!"

Сам Эркин предпочитал крутить синглы из индийского кино — музыка, наиболее близкая к узбекской. А слова... "Э, какой разница! Главное — сердце!" — он прикладывал руку к груди, прикрывал глаза, кривил губы и покачивал головой, сейчас заплачет.

Я запускал заказанную "Yesterday", прибавлял громкость и представлял, как за саманным дувалом, под сенью винограда, лежа на топчане, прикрыв тюбетейкой глаза, балдеет от Битлов мой добродушный сосед. Чужая музыка, непонятные слова, своё сердце.

Потом, тоже, наверное, случайно, у меня была приятельницей девушка, прелестная татарочка Роза, умная и проницательная. Не-одесской национальности, да. Но — Роза! Смуглая, кудрявая.

Однажды, в вечерних сумерках, мы сидели с Розой на теплом весеннем берегу Сыр-Дарьи, которая несла свои воды в Аральское море-озеро и в Голодную степь, для ненасытных, жадных до влаги хлопковых полей. На другом берегу светился тусклыми огнями Шанхай — район компактного проживания корейцев (глинобитные, когда-то на скорую руку построенные домишкы). Вокруг нас, в прибрежных окрестностях цвели сады и улицы, засаженные вишней, персиком, урюком, источая медовый пьянящий запах. В моих руках мучилась вялыми серенадными аккордами гитара с обшарпанной декой.

Уютная, но очень деловитая Роза вполголоса рассказывала мне историю своего Финского поселка, расположенного в окрестностях метал-завода, "Металла", в котором, по ее словам, раньше проживали исключительно финны и ингерманландцы, сейчас их осталось немного, да и те не признаются... О старом Кировском канале (исконное название которого — Романовский, "Князь-арык"), построенного еще в... и бегущего от дореволюционных Беговатских шлюзов Дарьи — вот они, в сотнях метров от нас, — в Жадную Степь Мирзачуль... О "Буденовских горах" — глиняных предгорных холмах на окраине города...

И вот тогда я, по-юношески уставший от Истории, и легкомысленно пьяный от благоухающей весны, от реки, пахнущей водорослями и рыбой, от мерцающего Шанхая, приглушив струны, глядя на другой, уже почти ночной, берег, сказал Розе, что, мол, ты, Роза, — как та девушка с Молдаванки.

— Как та, — эхом отозвалась Роза. — А куда смотришь, маэстро, подбородок кверху? Подирижирай еще, Силантьев!

— Потому что ты — прекрасна, как гордая гречанка, — закончил я мысль, не споткнувшись о Розину иронию.

— Всё о себе, эгоист, — разоблачила меня утонченная Роза, и, разувшись и ловко подцепив мизинцами босоножки, ушла, в кримпленовых брюках-клеш, торжественно-босая, по теплым прибрежным камням в звездную бекабадскую ночь, в сторону "Князь-арыка", к автобусной остановке, навсегда.

...И правильно сделала. А чего ждать от эгоиста? Такой начинает вам про заморскую невидаль, про какую-нибудь гоп-ца-ца, а оказывается — всё про "сырдарью". А когда вы ему, дескать, ты о чём? — то он, уличенный, за грудь держится, головой качает и бормочет глубокомысленно и невпопад: "Главное — сердце!.."

Знаете ли вы среднеазиатскую ночь? О, вы не знаете среднеазиатской ночи! Чудна Сыр-Дарья при тихой погоде. Редкая птица долетит до середины...

Тук-тук-тук: "Дорогой, ну хватит уже мучить фен, ведь сгорит же опять!.."

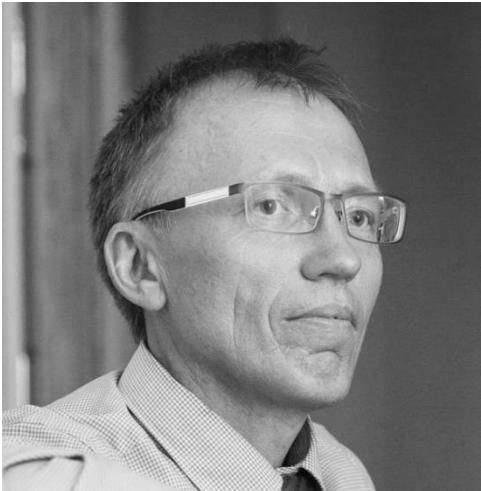
Санкт-Петербург, холодное лето-17

Новая книга Григорий Пруслин
состоит из избранных произведений
автора — рассказов, очерков,
интервью,
написанных в Кельне,
где он живет уже 18 лет...



ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

Олег Абрамов. По касательной. Рассказ



Абрамов Олег Васильевич, 1964 года рождения. Живу в Казани: не зарубежные, но задворки. Люблю свои задворки. Дважды автор был в лонг-лисах литературных конкурсов: "Новая детская книга"-2013 г. издательства "Росмэн" (Повесть "Дитеркюнхель") и "Выбор"-2014 "Новой газеты" и издательства "Самокат" (рифмованная "Сказка про Натаху"). В электронном журнале «Зарубежные задворки» начал публиковаться в феврале 2016 года. На сегодняшний день у меня 5 публикаций в электронной версии Za-Za и четыре — в бумажном журнале.

Это проза многонаселенная, как московские многоэтажки; и это проза полиморфная, когда простое жизнеописание вдруг превращается в бесповоротность судьбоносного события; и это проза судеб, когда за простой и суворой тканью простой биографии угдаются промыслы, предопределенность, мистика. И это проза о любви и ненависти, когда люди бьют друг друга, не умея сдержать себя, — а может, надо бы миром, ладом? — и когда люди, напуганные вездесущим терроризмом, всякое известие о гексогене и людях мусульманского вида воспринимают как призыв к действию — или приказ бояться и ненавидеть...

Рассказ Олега Абрамова — о нас с вами. О нашей повседневности и о наших страхах. О наших работах и о нашем отдыхе. И, может, о нашей неспособности (а часто — и невозможности) услышать, понять, полюбить друг друга...

И о том, как ценна и неповторима — между людьми — подлинная человечность.

Елена Крюкова

Проводница уже упаковала до времени свою дежурную улыбку, когда Володька Комаров, менеджер отдела закупок «Инь-Ян-Фарма» тридцати двух лет, утром 5 октября 1999 года одним из последних выбрался из опустевшего купейного вагона на шершавый асфальт Казанского вокзала столицы, расправил плечи, и тут же почувствовал, что воздух ещё слишком свеж, поэтому стоит накинуть куртку. Всех вещей, кроме каждодневной «офисной» одежды, у него: портфель с удобным ремнём через плечо и вот эта светлая бежевая курточка, которую он то напяливает, то сбрасывает и вешает петелькой на указательный палец. А какие могут быть баулы, если приезжаешь всего на одну ночь? Хуже, если на две. И не дай бог застрять в Москве надолго, потому как командировочных выдано — три дня не умереть. Ещё есть деньги на обратный билет, на всяческие платежи в таможне и на «Газельку», которая довезёт груз от «Шереметьево» до стоянки в Марьино. Там — и на этот счёт имеется строгая договорённость — будет дожидаться «КамАЗ». Фура в Москве дежурит третий день, собирает товар по фармацевтическим складам столицы.

Гостиницу бухгалтерия не оплатит, об этом его сразу предупредили. Не по чину, братец. Ночевать придётся на съёмной квартире, которую компания «Инь-Ян-Фарма» второй год арендует для экспедиторов и дальнобойщиков. Володьке ещё только предстоит оценить прелести вахтового жили-

ща: стены, прокуренные на несколько сантиметров бетона вглубь, трагически покосившиеся створки шкафов, скользкие лужи на щербатом кафеле в ванной, старый простуженный телевизор с хриплым голосом и мельтешением из-за периодически теряющейся кадровой синхронизации. Постельное бельё здесь выдать некому, поэтому на диване Володька заснёт, обезопасившись подстилкой из шуршащей всю ночь «Литературной газеты».

Москва этим летом стонала, словно раненый зверь. Сначала — от трагедии на Манежной площади, а потом от двух подряд терактов на юго-востоке. В офисе Володька взял линейку и измерил по карте, сколько от их квартиры в Марьино до взрывов на Гурьянова и до Каширки. Получилось где-то километров по пять в обе стороны. По масштабам его родного города это довольно далеко. По московским — рукой подать. Экспедитор Айрат, вернувшись из столицы, рассказывал, что к развалинам не подойдёшь, там три кольца оцепления. А самое жуткое, что люди за несколько дней привыкли, мимо проходят спокойно и обыденно, будто и не случилось здесь ничего.

Володька трижды побывал за последние месяцы в Москве, но каждый раз пробегом, одними и теми же тропами, чтобы успеть на обратный вечерний поезд. И тоже, кстати, не замечал на бегу, чтобы что-то изменилось в вечной московской суете. Милиции, разве что, в метро прибавилось.

Свой личный ключ от жилья Комарову выдал племянник владельца «Инъяна», протянул он брелок с таким прискорбным выражением лица, словно впускает в святилище стадо нечистых животных.

Днём обещают около двадцати. Бабье лето танцует по стране в ярком цветастом платье. Скорее всего, придётся носить куртку исключительно на пальце или, скажем, на локте, на плече. Можно и в портфель сунуть, но жалко — помнётся. В остальном удобный портфельчик подарили друзья на прошедший день рождения. Теперь, мол, тебе, как будущему крутому менеджеру, акуле, так сказать, бизнеса просто необходим вот такой большой кошелёк на ремне со множеством карманчиков, где всегда можно упрятать заначку от жены. Но сейчас в портфеле документы, каждый из которых нельзя потерять или испортить. Сорвётся не только командировка, но и труд последних месяцев, и нарисуются жирные — крест накрест — чёрточки на менеджерской карьере Володьки Комарова.

Мария Яковлевна, бойкая 65-летняя жительница одного из типовых домов на юго-востоке Москвы, несмотря на раннее время тоже вышла в эту минуту на улицу. Светлая летняя кепка, решительно сдвинутая чуть набок, скрывает скрученные в валик на затылке неровно прокрашенные седые волосы, привычная чёрная хозяйственная сумка с плохо удерживающим магнитным замочком позякивает привязанной к ручке связкой ключей. Очень удобно, чтобы не потерять. В сумке тоже долго искать не надо, потянула за верёвочку — ключи в руке. Ещё внутри — пара бутербродов с колбасой и укутанная в старый клетчатый шарф стеклянная бутылочка со сладким чаем. Одета почтенная женщина в тёмные немаркие брюки, в матерчатые кроссовки, из которых выпирают бобышки артрозных суставов, в длинную кофту, доставшуюся от категорически отказавшейся носить «этот отстой» дочери, под кофтой светлая мужская рубашка, оставшаяся от зятя. Живыми тёмными глазами негодующе оглядела Мария Яковлевна дверь подъезда с появившейся за ночь надписью «Лёха — ЧМО!», поворотила носком обуви окурки около скамейки, скопившиеся в связи с увольнением дворника, покачала головой, глядя на носилки с застывшим раствором около соседнего

подъезда. Всюду безобразие! Всюду! Вот ешё и подозрительный чучмек с тощей бородкой сидит напротив дверей в ЖЭК. Дразнит дворового Тузика сложенной в трубку газетой, и тот, разумеется, лай поднимает в семь утра на весь двор. Газету свою, наверняка, потом тут же бросит на землю — мало нам около дома мусора.

Работает Мария Яковлевна в одном из не так давно построенных крытых рынков уборщицей. Вот уж на вверенной ей территории никакой такой разрухи в принципе быть не может. За то, что не пропускает она ни одного факта безобразия и работу свою делает с душой, братья Мансур и Нияз называют её «наша мама». Братья — хозяева рынка. Кучерявый большеглазый улыбчивый Мансур — директор, а хмурый Нияз — он младший — «решает вопросы». Так, по крайней мере, они ей объяснили. Они четыре года назад приехали из Азербайджана, сначала сами торговали на Черкизовском и «вот, слава Аллаху, хорошо поднялись».

— Ты у нас почти замдиректора, тётя Маша, — повторяет Мансур, — мы каждый день молимся за твоё здоровье, и за твоих детей тоже молимся.

Мария Яковлевна работает не ради их басурманских молитв. Зарплата у неё тут хоть и в конверте, но достойная, пенсию несколько раз перекрывает. А однажды начавшиеся в стране тяжёлые времена всё никак не кончаются и не кончаются, дочкам помогать надо, пока силы есть.

Таджик Алёшка тоже рано вышел из плотно-заселённой однокомнатной съёмной квартиры хрущёвского проекта, где от кислого запаха кружится голова, а храп семи звонких глоток не даёт уснуть, если нет полного изнеможения за день. Дома Алёшку звали Анзуром, но сейчас он согласен быть и Алёшкой, лишь бы найти более или менее постоянную работу. Додар ему подсказал, где освободилось место дворника. Откуда только Додар всё находит?! Недалеко от их жилья работа, меньше часа добираться. Сегодня он придёт в ЖЭК первым, может быть, ему повезёт. Светлая в серую полоску рубашка, довольно чистая, тёмный пиджак, старые вельветовые тёмные штаны (впрочем, они и новые были такие же бесформенные). Паспорт гражданина СССР в кармане, в другом — несколько мятых купюр. В последнее время без документа и денег на улицы Москвы лучше не выходить. Всегда можно напороться на человека с погонами, которому не глянулось твоё лицо. И даже если паспорт у тебя с собой — он будет изучать документ придирчиво и строго, постучит документом об ладонь и пристально глядя в лицо заявит, что прописка фиктивная. А станешь возмущаться — только хуже будет, потому что, во-первых, и в самом деле так и есть, а во-вторых, трудно объясняться по-русски. Тут лучше сразу деньги наготове держи. После взрывов милиционеры ещё больше требовать стали.

К дверям жилконторы таджик Алёшка подошёл очень рано, побродил туда-сюда по тротуару, сел на лавочку, стал играть с рыжей лохматой дворовой собакой, дразня её брошенной кем-то газетой. Из-за спины появилась грозно на него взирающая пожилая женщина, встала перед ним, уперев одну руку в бок, а на локоть другой повесив сумку, что-то ворчливо начала объяснять. Анзур слушал её со ставшей здесь ему привычной улыбкой вежливого внимания и полного непонимания. Если по-русски говорят медленно и простыми словами, то он в основном улавливает смысл. Но эта женщина строчила фразы, словно швейная машинка. На газету пальцем показывает, на собаку. Алёшка цыкает языком и неопределённо качает головой. Пожилая женщина раздражённо машет рукой и идёт дальше. Собака, потягивая пуговицей чёрного носа воздух, мечтательно жмурился и семенит за ней,

находя привлекательным и многообещающим запах бутербродов в чёрной хозяйственной сумке.

Евгений Саныч где-то потерял свой возраст. Если спросить кого-либо постороннего, сколько Санычу лет, мало кто угадает. Вроде, молод, и даже почти юн, а может, и совсем не так. Один раз взглянешь — двадцать пять от силы, другой — под сорок или вроде того. От освещения зависит, от улыбки, расправил ли он сутулую спину в светлом мешковатом плаще или идёт задумчиво-сгорбленным. Серые волнистые волосы свисают чуть ниже воротника, кожа на лице юная, мяконькая. Сам Евгений считает свои длинные локоны признаком свободолюбия и романтичности. В редкие минуты приподнятого настроения он высоко поднимает подбородок, легко тряхнув светлой гривой, стремительно движется навстречу свежему ветру, ощущая, что весь мир готов лечь под его импортные ботинки с толстой рифлёной подошвой.

Он привык вставать рано и, слушая хриплый кашель вечно-больного отца, проходить босиком по коридору до ванной, долго мыться в неровном дождике тёплой, почти горячей воды до тех пор, пока не пройдёт утренняя зябкость. Потом с большим махровым полотенцем на плечах сидеть на кухне, листая вчерашнюю газету, прихлёбывая горячий чай, хрустя только что выпрыгнувшей из тостера булочкой румяной прожарки. Чуть позже он, как всегда, энергично пойдёт пешком до метро. Ходьба — самая лучшая утренняя гимнастика, особенно осенью, когда прохладный воздух едва уловимо горчит увядающей пожелтевшей листвой, лёгкие сами открываются на встречу.

Ему предстоит добираться с двумя пересадками до родного номерного КБ, про которое по прежнему он не имеет права ничего рассказывать, хотя конструкторское бюро и не выполнило за последние пять лет практически ни одной существенной военной разработки. Делается, конечно, кое-что, но уже без прежнего размаха. Финансирование урезано втрое, зарплаты ужалились, половина коллектива по коммерческим организациям разбежалась. На собраниях всё еще пытаются рассуждать о конверсии, а между собой шутят про ложки с вертикальным взлётом и сковороды с оптическим дальномером.

Когда он заканчивает завтрак и ставит посуду в раковину, на кухню в халате поверх ночной сорочки выходит мать, держась по-стариковски за поясницу. Да-да, он уже позавтракал. Баночку с чем-нибудь вроде куриной лапши, бутерброды и яблоко она всегда сама ему укладывает в наплечную сумку, завязывая десятки узлов вязками на пакетах. Нет, он пока ещё не опаздывает, но скоро нужно выходить.

Всё как всегда.

Раздвигая пространство берцами, на платформу выпрыгнули двое могучих парней в защитной одежде. Семшов и Субеев вернулись из Черустей в Москву на электричке. Камуфляж по тем временам ещё не вошёл в повседневный быт рыбаков, охотников и просто любителей побродить по лесу, внушал окружающим боязливое уважение к его владельцам. От двух богатырей распространялась тугая волна перегара. Может, отчасти ещё и поэтому никто не решился сесть на соседние с ними места, хоть и была электричка почти заполнена.

Да, вчера пили немало. У Леши Бузыкина (а он до ранения служил вместе с ними) родился сын, и пока жена в роддоме, отпраздновали это дело по полной. Разлили в семь вечера, и до двух, не меньше, куролесили. Куда-то, помнится, ходили в темноте, песни горланили. А ровно в пять их уже поднял свирепый Бузыкинский будильник «Севани», квадратный и непоколебимый, как майор Колесов, и они ещё мало что-либо соображая, поспешили на станцию. Славик Семшов вспоминал, что ночью они, похоже, купались где-то голые, хотя Субеев и утверждал, что Славка, по-видимому, спутал море с тазиком замоченного белья на кухне у Бузыкина. Я, мол, помню, как ты пытался сунуть туда голову после принятого. Субеев — он на язык лёгкий, жди подковов на ровном месте. Договорились днём прояснить это дело по телефону у самого Бузыкина.

При входе в метро стокилограммовый Субеев случайно задел плечом за зевавшегося интеллигента с портфелем через плечо. Тот потерял равновесие и приложился коленом к полу. Тут же вскочил, потёр место ушиба и вежливо извинился, словно не его колено только что оценило твёрдость гранита, а их несчастные тела пострадали. Взглянули строго, со значением и поспешили дальше. Задача — не опоздать на утренний развод, иначе Батя влепит от души. Причём может не только фразой, но и физически влепить, а у него металл вместо костей. Батей они майора Колесова прозвали.

— Нет, Субеев, мы точно где-то купались. Горло у меня першит — перехладился, наверняка.

Началось всё с горчичников чуть меньше года назад. Начальник отдела закупок, а он же и коммерческий директор по совместительству, расправил ребром ладони на Володькином столе скрутившийся в трубочку прайс-лист, несколько минут назад выплюнутый факсом, и торжественно провозгласил:

— Ну, вот тебе, рекрут, и начало славной карьеры. Зима уже за поворотом. Горчичники скоро пойдут, как горячие пирожки. Твоя задача — организовать поставку. Не бледней так уж сразу! Все мы тут из инженеров вышли. Объяснять будем по ходу дела, что и как. Цены, я вижу, нормальные, но твоя задача заработать скидку ещё процентов в пятнадцать-двадцать. Если нет, то зря ты, мил человек, здесь штаны просиживаешь, в «Инь-Ян-Фарма» это не принято.

Володя сразу ощутил, что во рту разом пересохло, как в тот день, когда он прыгал с десятиметровой вышки в воду. Сиганул солдатиком — первый и последний раз в жизни. Нельзя было не прыгнуть. И постепенно не получится.

Но там другая история, с девушками связанная, мы не о ней. На прежней работе он привык иметь дело с паяльником, рыться в каталогах научных библиотек, писать заявки, готовить эксперименты. Впрочем, за последние полгода после того, как фактически прикрыли институт, он приобрёл ещё и хороший водительский навык. В слепящей от встречных машин вечерней темноте Володька научился выхватывать глазами взметнувшуюся руку потенциального клиента, соревнуясь в «кто быстрей» с другими «извозчиками». Ещё он начал отличать состоятельных девушек, с пренебрежением поднимающих одну лишь кисть руки, от тех, что придвигнут томные глаза к приоткрытой окну и многообещающие низким и прокуренным голосом сообщают: «Я работаю». Желающих жить извозом в трудные времена всегда становится много, заработанного хватает лишь на следующий день существования, а вечером — снова за руль. Случись что с машиной — и они с женой Машей, которая добровольным штурманом и наилучшим талисманом сопро-

вождала все егоочные бдения, оказались бы совсем уж на мели. А ещё попадаются брутальные типы, от которых исходит такой терпкий аромат опасности и крови, что радуешься уже даже и не деньгам, а тому, что удалось невредимым отъехать на безопасное расстояние.

— Да, и ещё... А договорись-ка ты с ними на отсрочку платежа, — Коммерческий даже расцвёл от одного ему понятного творческого удовольствия. — На шестьдесят дней, скажем. Вот так!

Телефонный разговор неожиданно сложился самым наилучшим образом. Новички «горчичного бизнеса» были наслышаны, что «Инь-Ян-Фарма» — крупнейшая региональная компания, с ней стоит «зазываться» всерьёз и надолго, можно первый раз пойти на уступки. Володя, который и на овощном рынке-то никогда не торговался, тут вдруг вошёл в роль: убеждал, менял интонации. В какой-то момент остановился и произнёс с некоторым драматизмом в голосе: «Я не уверен, но попробую поговорить с руководством о ваших условиях. Дайте мне несколько минут». Просидел эти минуты перед молчащим телефоном, аккуратно укладывая в органайзере канцелярские принадлежности, и снова набрал номер:

— Вы знаете, отдел маркетинга никак не устраивают ваши десять процентов скидки, на таких условиях у нас уже есть поставщики. Нет, я не могу сказать, кто это. Вот по срокам оплаты мы можем немного подвинуться. На две недели.

Горчичных дел мастера проглотили остатки гордости и «ударили по рукам». И тут же хлопнул в ладоши сидящий за спиной и слушающий весь этот концерт коммерческий директор. Похоже, представление ему понравилось.

И покатилось: договор — отдел маркетинга — юрист — продавец — юрист — продавец — юрист — продавец — финансовый директор — продавец — Генеральный — экспедитор — водитель — продавец — отдел маркетинга — оператор — начальник склада — бухгалтерия — оператор — финансовый директор — бухгалтерия. Закрутился маховик, вбирая в себя всё большие суммы в счетах, разбухающий список препаратов, многочисленные прайслисты, инвойсы, накладные, отсрочки, комиссии, консигнации, бартеры. Вечер каждой пятницы — стресс. Утро понедельника — отчаянье. Суеты одного дня хватило бы на неделю. И попробуй чего-нибудь упусти. Каждый забытый звонок, не доведённая до экспедитора записка, неподписанный вовремя документ сулят потерями предприятию, а значит и штрафами, и презрительным взглядом коммерческого на «разборе полётов».

Но зато уже через месяц названия препаратов перестали для Володьки быть затейливыми и неразборчивыми завитушками в рецептах врачей, материализовавшись во вполне конкретные пузырьки, в коробочки с цветными этикетками и сертификатами. Ампулы можно везти зимой только в подогреваемом «термосе», иначе лопнут. Пузырьки аптечных настоек слабый мороз перенесут, сиропы засахариться могут, а таблеткам — им всё равно, и свечам тем более. Всякие там «ксантинола никотинат» и «цианокобаламин» произноситься стали легко, полетели как скрипичные пассажи из-под смычки мастера. А рядом ансамблем журчат голоса остальных менеджеров отдела закупок:

— Тиаминчик капсульный 250 микрограмм, если подвинетесь немного, то возьмём тысяч пять.

— А метилурациловые свечи у вас нижегородские или «пенза»?... Нет, тогда не надо, дорого.

— Возьмём мы вашу «болгарию», но только если на бартер. «Татхим» нужен? По заводским, разумеется.

Поправляет волосы Лариса, девушка с тёмными карими глазами и коэффициентом IQ под 150. Вечный шутник Валерка, сидящий за столом напротив, обозвал как-то её очи «тёмно-кариесными». Лариса рассмеялась и тут же поправила, что грамотно будет не «кариесный», а «кариозный», но у неё с глазами всё в порядке, что она и подтвердила, глянув на Валеру взглядом испанской королевы. Вот уж у кого каждая сделка складывается, как удачный пасьянс. Ничего не забудет, и на милый трёп с подружками из соседних отделов время останется. Александр, старший в их компании, тот всегда по-английски строг, причёска как у принца Чарльза, губа верхняя неподвижная — натуральный лондонский джентльмен. Вот он, не отрываясь от монитора, делает Володьке укоризненное замечание по ведению рабочего файла, а английская губа даже не дрогнет. И костюм у Александра строгий. Каждый день он его утюжит, что ли?

Валерка, тот вальяжно на стуле откидывается, галстук набок, с клиентом балагурит с задушевной хрипотцой: о жизни расспросит, о погоде, анекдот свежий (или не очень) ввернёт. От судачков в два кило легко на просьбу какую-нибудь перескакивает: доставку попросит за счёт продавца или возврата плохо идущего товара.

Словно звёзды эстрады озаряют своим присутствием их комнату солидные региональные представители с дизайнерскими визитками наперевес. С одной стороны на этих карточках русская надпись, с другой — на английском. У некоторых «Dr.» перед именем значится, а спросишь насчёт учёной степени — мнутся. Я, мол, имел ввиду «доктор медицины», а не со стороны человек. Случайное совпадение понятий. Лучисто улыбаются, проходят в кабинет к Коммерческому, держа в руках пакеты, набитые рекламными буклетами и сувенирами. Через некоторое время возвращаются, чтобы на минутку задержаться около «прикреплённого» менеджера, жмут руки, вручают очередную шариковую ручку с логотипом или ещё одну свою солидную визитку. Глядя в глаза, рассчитывают на длительное сотрудничество и, особенно, на своевременность платежей в этом месяце.

Если Коммерческий выходит через минуту с блуждающей улыбкой, то это означает, что представителю удалось-таки донести до него благость расширения ассортимента. Коммерческий складывает перед менеджером листы с обведёнными ценами и равнодушно цедит:

— Давай-ка, этим вопросом срочно займись — договор и всё-такое проще. К концу недели надо организовать поставку.

Однажды после очередного визита симпатичной улыбчивой дамы в умных очках он вышел «к зрителям» и торжественно сообщил:

— Вот мы с вами, господа, и доросли до прямых контрактов с западными компаниями. Что ж, будем понемногу осваиваться в этом направлении: разрешения, растаможки, Минздрав, Минторг. Хватит отдавать деньги Москве. Займётся этим... займётся... — словно учитель к доске вызывает. — Держика, Володь, осваивай. Будешь нашим пробным шаром.

На Володькин стол шлёпнулся предварительный контракт на русском и немецком языках на очень приличную сумму, в душе вспыхнула гордость, а на плечи тяжёлыми погонами возлегла ответственность. Что появилось в пятой точке, Володя осознал позже, через пару месяцев не шаткого и не валкого продвижения к цели. Сначала отдел маркетинга решительно зарезал цифры контракта, сократив их втрое. Затем подключились Финансовый и Генеральный, они сообща продумали, как сократить налогообложение до абсолютного нуля. Но чтобы провести всё это через родственный офшор, потребовалась сложная схема, которая заставила собирать дополнительные

документы в течение целого месяца. И поставку к тому же придётся делать через Москву, чтобы не оплачивать налоговикам их радостных прозрений.

«Представительница» тяжело вздохнула, выслушав весь этот бред, но ей очень нужно было себя проявить, и новый вариант договора полетел в Германию. Далёкая и неведомая госпожа Мюллер, действующая «на основании Доверенности» и благожелательного расположения духа, подпись свою поставила, и паровоз сделки пошёл на разгон.

— «Ещё пара-тройка командировок, и прибыль по этому договору превратится в пшик», — грустно размышлял Володька Комаров. Стоит прибавить к этому, что и собственное Володькино время уходило в зыбучий песок этих поездок. Он едваправлялся с другими поставками, которых тоже никто не отменял. Да и премия отдела закупок зависит не от потраченного времени, а от объёмов и сделок.

Как солидно звучит: «менеджер крупной региональной фармацевтической компании»! А когда с тоской смотришь на свою зарплату, то гордости становится значительно меньше. Но что поделаешь, когда на улице очередь из таких, как они? Офис — наспех переделанный полуподвал жилого здания сталинских времён. Зимой в потрескавшиеся рамы пробирается морозный воздух, заставляя умницу Ларису прятаться в тёплую и, действительно, тёмно-вишнёвую шаль, а остальных дышать на ладони и прятать их между стулом и ягодицами. Ещё хуже летом, когда запах домовой канализации, десятками лет сочившейся в подвал сквозь щели и дефекты уплотнителя, смешивается с июльским зноем, и на просьбы о кондиционере хозяин лишь трагически морщит лоб. У него свои проблемы. Всю прибыль он уводит на раскрутку новых проектов. Они тоже скоро будут приносить доход. Не зря он внимательно читает всю литературу по бизнесу. В расчерченных им ячейках бостонской матрицы «Инь-Ян-фарма» занимает устойчивое положение «дойной коровы».

Прижимистость хозяев «Иньяна» давно переросла в жадность, выданных командировочных хватило бы на проживание в мелком заштатном городишке, но для Москвы приходится добавлять из собственной скучной зарплаты.

В один из своих приездов в столицу Володька побывал в офисе у постоянных клиентов на Котельнической набережной. Там, разомлев под кондиционером в высоком светлом кожаном кресле с чашечкой ароматного кофе, он случайно обмолвился о размере своей заработной платы. На него посмотрели, словно на прокажённого, а сложившиеся за несколько предыдущих месяцев уважительные партнёрские отношения рухнули глиняным кувшином на пол, Володька просто физически почувствовал, как трудно стало вести переговоры. Он для них теперь не солидный клиент, а жалкий попрошайка. Больше он таких ошибок не повторял. На любые пытливые вопросы шутливо и стандартно отвечает: «Я получаю много, — следует картино-преувеличенный вздох, — но мне не хватает».

Была летняя беготня по Москве, жарко. В пятый кабинет «комитета по наркотикам» важно прошествовал инспектор в клетчатой рубашке с коротким рукавом и светлых льняных брюках. Он вложил своё крупное породистое тело в удобное кресло и включил дополнительный вентилятор. Володька здесь не первый раз. Тогда инспектор сквозь дорогие очки в золотой оправе молчаливо просмотрел контракт и спецификацию, столь же молчаливо шлёпнул штампы на листах, подтверждая, что ничего ужасного наркотического данные господа не провозят, а потом очень благодушно заявил, что в Минздраве контракт их всё равно завернут. Такая формулировка

в пункте 4.5 их теперь перестала устраивать. Кстати, и регистрация у одного из препаратов скоро закончится на территории РФ. Эх, мог бы и не ставить свои печати, кому они в таком случае нужны? Но каждый штамп — оплаченный счёт, и инспектор свою работу выполнил честно. Теперь он в других очках, и пострижен покороче. Проштамповывает, подписывает и, не произнося ни слова, протягивает бумаги Володе.

Между тем и этим приездом — три недели. Договор, за это время отошёл на пару препаратов и успел совершить ещё одно путешествие в Германию к фрау Мюллер. Фрау слегка поморщилась, но снова повторила свою витиеватую подпись на каждом из подшитых листов.

Наконец, все инстанции позади, да и срок договора уже подходит к концу. Успели сделать заявку, и дождались приглашения с Шереметьевской таможни.

Мария Яковлевна проживает в Марьино уже больше десяти лет. Все клумбы перед окнами — это её рук дело. Зять Игорь два года зубами скрипел, перевозя с дачи очередную «тарочку» с цветами или пакеты с декоративными кустиками. Теперь вот и Игоря нет, а клумбы живут. Зять, конечно, не умер, молодой ещё, но исчез навсегда из поля зрения вместе со своими потрёпанными «Жигулями» четырнадцатой модели. Даже сына Юрку не приезжает проводить. А ведь тот — натурально фотокарточка из сопливого детства этого непутёвого.

В нынешних домах соседи почти не знают друг друга, но с Марией Яковлевной здороваются все. И под её строгим взглядом окурки летят только в урну, а бдительные мамочки строго пришпоривают детей, если те начинают носиться по газонам и клумбам.

Те недавние жуткие взрывы. Мария Яковлевна до сих пор хватается за валокордин при одном воспоминании. Если бы террористы попытались сунуть мешки с гексогеном в подвал именно их дома, у них ничего бы не получилось, не сомневайтесь. Тётя Маша бы заметила. Она всё видит: и что замок по другому повешен, и если почтовый ящик помяли, и что ветка на шиповнике надломлена.

Поинтересовалась бы она строго у этих бородатых: «А что это вы тут делаете, ребята?» А потом прямым ходом в жилконттору: «С какой это стати наш подвал под склад с сахаром используется?»

Взрывы не её одну напугали. С кем не поговоришь, все одно и то же твердят: «Жить страшно». После случая на Каширке тётя Маша сразу же в лоб вопрос Мансуре:

— Мансурка, надеюсь, не вы это устроили?

Братья в тот день сами сидели тихие и растерянные, даже не обиделись в своей обычной темпераментной манере.

— Тётя Маша, — мягко произнёс старший, переглянувшись с Ниязом, — мы же сюда не воевать, мы работать приехали. Чтобы нам хорошо было, чтобы тебе хорошо было, чтобы всем хорошо было.

— Ага, — ершисто заявила Мария Яковлевна, — Не воевать, а пистолет в столе лежит!

Пистолет она заметила давно. Убиралась однажды около стола Нияза и заглянула случайно в выдвинутый ящик.

— Ох, тётя Маш, ты все наши секреты знаешь, — шутливо схватившись за голову, проголосил Мансур, — Надо бы тебя устраниТЬ, но где ж мы ещё такую хорошую бабушку найдём. Придётся зарплату повысить.

Потом что-то коротко проговорил на своём не русском брату и продолжил:

— У нас врагов много, тётя Маш. Нам самим иногда защищаться приходится. А эти нелюди, которые дома взрывают — они всем больно сделали, они и нам тоже враги.

Перед своим уходом Мансур сунул шелестящие бумажки в белый конверт и протянул, заглядывая ей прямо в глаза:

— Говорила, день рождения внука скоро? Купи ему чего-нибудь на здоровье.

Алёшка приехал весной в Москву не для того, чтобы дворником работать. Его Додар взял в строительную бригаду. Алёшка месил раствор, таскал кирпичи, кладку делал, дорожки бетонировал. Хорошо стало получаться. Денег не так много, но если не кидают, то нормально выходит. На родине мать и жена, там сын без него разговаривать начал, первое слово сказал — «биби». Их всех кормить надо. Каждый месяц он посыпает им переводы. Себе меньше оставляет, хоть тут и дорого очень всё. Когда-нибудь он свою бригаду сколотит, тогда и денег больше будет. Тогда он снова станет Анзуром, а не Алёшкой на подхвате. Вот только в конце лета неприятность с ним случилась в виде гепатита. Слабый совсем стал, глаза пожелтели. Три недели в инфекционной больнице пролежал. Там и борода отросла, сбрить никак не соберётся. Врачи объяснили, что ему тяжести теперь полгода нельзя поднимать. Алёшка и сам чувствует, что не может. Полдня проработал у Додара — два раза в обморок падал. Додар говорит: «Дворником устрайся. Мне ты пока не помощник». Жена по телефону: «Приезжай, ухаживать за тобой буду». А что он там, около её юбки сидеть будет? Работы нет. Не на Халида же теперь батрачить? Он там всё село в руках держит, кто не уехал. А даёт столько, чтобы кое-как не умереть. Своим охранникам нормально платит. Но Анзура не возьмёт, какой из него охранник?!

— Саныч, мне сказали, ты завтра в командировку? — бухгалтерша Степанова остановилась около стола Евгения. В пухлой ручке с крупным перстнем томным веером документы порхают. Сильный запахочной фиалки, словно огромный букет на стол поставили. — Мою макулатуру для них прихвати? Тут акты, завизированные с нашей стороны, а их печати и подписи вот тут и тут пусть поставят, они разберутся.

— Хорошо, Светлана Константиновна, — Евгений оторвался от чертежа на экране и аккуратно уложил листочки в картонную папку с завязками. Чего это она не отходит?

— Жень, а ты уже слышал?.. — Степанова наклонилась и приблизила букет фиалок к самому уху Саныча, — Люблю помнишь?

— Какую Любку? — дрогнул голосом Евгений Саныч. Он, разумеется, сразу понял, какую Любку имеет в виду Светлана. Все прекрасно знали об их взаимоотношениях от самой первой поездки в подшефный колхоз и до её внезапного замужества и увольнения из КБ.

Когда задают вопросы таким свистящим шёпотом, ничего хорошего не жди. Вот и сейчас Евгений напрягся, стараясь не смотреть в округлившиеся фиалковые глаза бухгалтерши.

— Они же с мужем, оказывается, недавно в ту самую девятиэтажку на Гурьянова переехали, которую взорвали. Оба погибли. За пять минут до взрыва в квартиру вошли. Представляешь — судьба?!

Евгений Саныч кивнул головой. Не то чтобы до него сразу дошёл смысл сказанного. Так, автоматически кивнул. К нему ещё потом кто-то обращался с вопросами, но их он уже не слышал, сидел уткнувшись в свой монитор.

Да, хорошо, что поезд ранний. К началу работы таможни в грузобагажной части «Шереметьево-2» Володя уже был там и одним из первых протянул уведомление о приходе отправления и свою доверенность. Ему вручили пакет документов, и он сосредоточенно стал сверять их, заполнять дрожащей рукой все эти декларации, формы и бланки. Скромные буквы СИР в графе «условия Инкотермс» привели его в полное оцепенение. Здесь же должно быть DDU! Ну конечно, вот договор — вот DDU. Хвалёные немцы ошиблись?! Он даже оглянулся по сторонам, словно пытаясь найти поддержку. Если не обращать внимания на эти буквочки, условия поставки схожие: и тут и там поставщик доставляет груз до таможни, а покупатель платит пошлину. Разница только в моменте перехода прав на товар. Но что на это скажут бдительные таможенники?!

Правильно было бы искать междугородный телефон, предупреждать «Инь-Ян-фарму» а заодно и целиком снять с себя ответственность. Кто-нибудь из отдела будет звонить региональному представителю, а главному представителю в Москве, который в свою очередь начнёт трезвонить своим работодателям из маленького Баварского Хольцкирхена и кричать: «всё пропало, шеф». Сколько-то времени каждому понадобиться, чтобы вникнуть в ситуацию. Интересно, они будут сначала неделю виноватых искать или сразу же вышлют новые накладные и счета — самыми быстрыми голубями? Володька тем временем будет бегать, узнавать, как их заменить. Вероятней всего, это можно сделать. Но за каждый день хранения груза нужно платить деньги и немаленькие. А до окончания договора остаётся всего-то четыре дня, два из которых — выходные, и если не успеть, то груз умрёт на этих складах навсегда, позвякивая холодным счётчиком дней, недель и, вероятно, месяцев. И что дальше? Судиться с поставщиком? В Хольцкирхене? М-да...

Остаётся полагаться на чудо. Так школьник надеется, что мамка не заметит сегодняшней двойки по географии, если её отвлечь разговорами о геометрии. И Володька смело ринулся вперёд. Целый день он провёл в тягучих очередях, где все кроме него знали друг друга в лицо и приветливо общались с девушками в погонах. Как только ворох его бумаг попадал очередному прапорщику таможенной службы, то лицо прапорщика, независимо от того женское оно или мужское, становилось удивительно мрачным. Они покачивали головой и говорили: «Даже не знаю, что с вами делать. А к семнадцатому (третьему, пятому, двадцать шестому) окошку вы уже подходили? К нам отправили?» или ещё что-нибудь в этом роде. То ли им обидно за Родину, которая тратит валюту на западные лекарства, то ли Володькино лицо им казалось слишком уж ненадёжным. А ещё у Володьки в голове звучал строгий голос Коммерческого: «Денег не предлагать. Задача пройти так». Да и не было у Комарова лишних денег, как вы помните. Были квитанции о пошлине, о таможенном сборе, о страховом валютном депозите. Смотрите: вот они — все тут. Тяжело вздыхали инспекторы, накладывали маленькие личные печати, похожие на докторские, и уже не поднимали на Володьку натуженных об бумаги глаз.

Со скрипом переходил он из кабинета в кабинет, от окошечка к окошечку, пока на исходе рабочего дня не остановила его движение к цели радостным выкриком пышная дама средних лет:

— А я Вам ничего не подпишу, дорогой Вы наш! Вы уже знаете почему? Володька догадывался, но не хотел произносить вслух, чтобы не давать повода, если всё-таки ошибается.

— Подскажите, пожалуйста.

— Так Вы что же, ничего не знаете про условия Инкотермс? — торжественно вопрошал воркующий инспекторский голосок.

— Вы про СИР и DDU? Но, ведь, в нашем случае это же ничего не меняет, — стараясь придать своему голосу дружелюбную уверенность, гипнотизирует даму Володька. — Они товар до «Шереметьево» поставляют, мы пошлины и сборы платим. И тут и там — то же самое. И страна не в обиде.

— В целом, согласна, — мотнула головой в мелких кудряшках инспекторша, — Хотя у меня и есть, что Вам возразить. А штампик я Вам не поставлю, не положено.

Слово «штампик» она произнесла с особым удовольствием, растягивая ш-ш-ш и активно артикулируя пухлыми губами.

— Что же делать? — и Володька стал перечислять ей все круги ада, которые ему предстоят, а она согласно кивала головой на каждом новом повороте.

— Ой, да Вы всё прекрасно понимаете, как я погляжу. Думайте! У вас ещё пятнадцать минут до конца моего рабочего дня.

— А может, — соображает Володька, к чему она клонит, — Может, Вы пойдёте мне навстречу, тут ведь нет ничего криминального, а я бегом в буфет за конфетами?! За самыми лучшими!

— Ну наконец-то, — совсем уж развеселилась пышная дама, — я уже решила, что Вы так ничего самостоятельно и не поймёте. Только не спешите, буфет уже закрыт.

— Тогда завтра?

— Нет, ну почему же. Вы же можете деньги оставить, а конфеты... — она повернулась и подмигнула своей молчаливой товарке за спиной, — С конфетами мы сами как-нибудь определимся. Не стесняйтесь, кладите ещё столько же, и тогда будет в самый раз. Как это вы такой непонятливый вообще до нас дошли?

Изливая благодарности, Володька поинтересовался, припомнят ли ему ещё где-нибудь это несоответствие? Получил отрицательный ответ и радостный выскочил за дверь.

Прозрачный до самых звёзд вечер встретил его удивительной свежестью. Сегодня уже никуда не надо спешить. Чрезвычайно довольный собой, Володька шёл в сторону остановки и смотрел в небо. Остановился, совершенно опешив: прямо на него бесшумно и плавно двигался треугольник ярких звёзд. Он приближался и становился огромным, и если бы кто-нибудь был сейчас рядом, Володька давно бы кричал, полный ужаса и восторга: «Смотрите! НЛО!» Но тут донёсся рёв авиационных двигателей и чудо рассеялось. «Вот балбес, я же в Шереметьево», — и стало немного обидно, что это всего лишь самообман.

К девяти вечера Володя добрался до съёмной квартиры. Экспедитора с водителем там не оказалось, зато на кухонном столе его ожидали неубранные хлебные крошки и записка карандашом:

«Здорово, Володь!!! Фура забита под крышу. Твоё уже не влезает по любому. Короче, мы уехали. Оставляй груз на квартире, скоро Славик на смену нам прибудет, он всё заберёт. Накладные сверху коробок положи. Айрат».

Володька поморщился от ещё одной досадной помехи. Он стряхнул со стола крошки в пакет и раскрыл газету объявлений на странице с грузоперевозчиками. Заказать машину надо на середину дня. Осталось пройти совсем немного инстанций, и всё это, наконец, закончится.

Евгений молчаливо ел гречневую кашу с молоком, уткнувшись в тарелку. За стеной кашлял отец. Мать жарила оладьи на скисшем молоке, как всегда очень жирные, с сильным привкусом соды. Сдаёт она в последнее время, не следит за собой. Голова непричёсанная, халат дырявый. Плита на кухне тоже вся в подтёках.

– Мам, — поднял голову Евгений, — Мне сегодня наши рассказали — Любы не стало. Тот взрыв в Печатниках был, помнишь?

– Это какой ещё Любы? — поморщилась мать, — Этой проститутки твоей не стало? Вот уж огорченье-то! Собаке собачья смерть. Са-а-ша-а! Слышишь, что Женя рассказывает?

Прихромал отец. Приставляя ладонь к правому уху, и вытягивая шею, стал вслушиваться в то, что рассказывает жена.

– Помнишь, Саш, Любку — ту заразу, что свои порядки у нас здесь полгода устанавливалась. Шалава такая, ни одного дня ненакрашенная не ходила. Фыркала всё — королева драная. Это ей не так, да это не эдак. Запах ей в туалете не понравился. А чем ей говно — цветами должно пахнуть?!

Мать всё больше распалялась. Евгений уже знал весь последующий сценарий практически дословно. Сейчас она вспомнит о выкинутой Любой ветхой клеёнке, потом начнёт кричать, что все деньги она из Жени повытаскала. Потом достанется и отцу, что тот молчал, когда твёрдо сказать следовало бы. Наконец очередь дойдёт и до самого Жени. И мать будет в истерике кричать, что «чем такого неблагодарного сына — лучше вообще никакого».

Евгений отставил тарелку с недоеденной кашей и скрылся в туалете. Сегодня он не может этого больше слышать. Хочется уйти, хлопнув дверью. Только куда? Квартиры ему в родном КБ теперь уже точно никогда не видать, про очередь профком несколько лет не вспоминает. Снимать, даже самую скромную, и то — большие деньги. Люба в общежитие предлагала, но он думал, что она постепенно привыкнет, подружится с матерью. Тут всё-таки у них полноценная трёхкомнатная, третий этаж. До метро пешком при желании можно дойти. Евгений ещё с института здесь живёт. С гитарами сидели когда-то под окнами, там где ракушки гаражей сейчас выстроились неровными рядами.

Люба собиралась решительно и молчаливо. Вещей оказалось у неё совсем немного. Она разрешила ему проводить себя до метро, но по дороге не проронила ни слова и ушла, не оглянувшись. Казалось, что всё это несерьёзно, и завтра она вернётся. Он и сам тоже чувствовал обиду на неё и опускал глаза при встречах в коридорах КБ. Мать, конечно, каждый вечер добавляла дыма. Однажды всё же попытался заговорить, но в Любинах глазах появилось столько горечи, а в словах язвительности, что тут же отступил. Через пару месяцев увидел её на улице со спортивного вида коротко стриженным спутником. Несколько дней ходил потерянный, словно бы случайно раз за разом проходил мимо её лаборатории, ещё раз пытаясь заговорить, но даже не нашёл в её глазах родного взгляда. Они были равнодушны, словно не было в них никогда счастливых искр на Крымском берегу, словно не звенело счастьем сердце от солоноватых поцелуев, не замирали от долгих объятий под холодным дождём посреди тяжёлой липкой пашни подшефного колхоза.

Евгений день за днём возвращался в свою квартиру к неизменным маминым оладушкам. Серые дни проходили один за одним. Он понял, что вся жизнь до Любы тоже была серая. Если бы не было в груди того осколочка боли и радости, который остался от неё, мир бы сделался серым окончательно. И вот теперь её нет, и он не встретит её даже гипотетически. Он иногда представлял себе. Случайно в автобусе их прижимает толпой друг к другу, а у него в этот день нет плохого запаха изо рта, и ему удаётся её рассмешить, как когда-то рассмешил в колхозе, и они берут друг друга за руки. Теперь этого не будет уже никогда.

Ночью почти не спал. Хорошо, что завтра в командировку — на работе можно уже не появляться. Никого не хочется видеть. Они все виноваты в том, что её больше нет. Он часа полтора лежал без сна со скрюченными позой эмбриона ногами. Ему было очень жалко себя.

Младший лейтенант Слава Семшов долго ворочался в постели, никак не мог нормально устроиться. В горле нестерпимо щекотало, нос закладывало. Позвонили они сегодня с Субеевым Лёхе Бузыкину в Черусти, насчёт купания поинтересовались.

— «Точняк, — отвечает, — Славка в двенадцать ночи в пожарный пруд недалеко от железки нагишом сиганул. Полная темнота, а он пятнадцать голых баб немедленно требует. Совсем без Ленки одичал».

Жена Елена, после того, как прогремел очередной взрыв в Москве, не выдержала:

— Я боюсь, — плачет, — я очень боюсь, Слав. За тебя, за Нюшку нашу. Я перестала спать по ночам — прислушиваюсь к каждому шороху, к окну подбегаю по нескольку раз. Давай уедем отсюда куда-нибудь.

— Ленусь, ну я же с тобой. Кто тебя может тронуть, — прижимает он её к своей могучей груди, вытирая пальцем дорожки слёз на любимых щеках.

— Ну да, конечно, мой любимый Бэтман. Я знаю, что тебе и пятерых раскидать не проблема. Но эти — их не увидеть. Помнишь, мы ездили в кемпинг на море, и там оказались воры, которые по ночам резали брезент палаток, вещи вытаскивали? Мы с тобой полночи не спали, прислушивались, выпрыгивали на каждое дуновение ветра, улитку, слизывающую влагу с тента, принимали за звук лезвия. А когда они подошли — мы и не заметили. Если бы не твой мочевой пузырь, остались бы мы тогда и без вещей, и без документов, и без денег.

— Ленусь, ну посуди сама, куда я могу уехать? У меня присяга, контракт. Давай, ты у своих в Рязани месяц или даже два поживи, а там всё успокоится, и ты успокоишься. Мы же работаем, очистим город от этой шелупени. Руководство очень решительно настроено в этот раз. Всё будет хорошо, Ленусь.

Лена с дочерью уже десять дней в Рязани. Была б она здесь, заварила бы травы какой-нибудь, таблетку на блюдечке подала, горячее молоко в синей фарфоровой чашке с золотистым ободком. К утру был бы огурцом.

Дичать он без жены начал. Сегодня идиотскую рекламную газету изучал. Целая страница интимных услуг: «Ты хочешь хорошо полетать? Я твоя. Звони. Элеонора-Ягодка». Смех, просто.

Утром делали выемку документов на одном предприятии. Прижали охрану, ворвались в офис. Там бухгалтерша молодая остервенелая попалась. Сама фигуристая такая, в бордовом обтягивающем коротком платье, туфли на шпильках, колготы соответственно, серёжки трепыхаются в маленьких мочках ушей, волосы короткие, волнистые. Как тигрица бросилась своё хо-

зяйство защищать. Семшову пришлось её, вырывающуюся, удерживать. Сложил он дамочку аккуратно, а у самого от женского запаха голова кружится, и маленькие тёмные пятнышки пота под её подмышками волнуют. Субеев, зараза, подмигивает ехидно из-под «балаклавы». Всё-таки с бабами воевать — хуже нет. Эта повернулась и шипит в лицо змеёй: «Не дыши на меня, алкаш похотливый!»

В ближайшие выходные обязательно надо Ленусю повидать. До Рязани три часа на электричке. Цветы купить, дыню самую пахучую выбрать, куртку синюю Лена просила привезти, Нюшке — посуду для её Барби.

Небо хмурится. Главное, чтобы не пошёл дождь до приезда машины. Коробки скоро вывезут на площадку перед ангаром и на этом почти всё. На складе около указанной секции Володю уже дожидаются две девушки и замотанный в пластик груз на деревянных паллетах. Каждая коробка украшена фирменной синеватой эмблемой крестиком и надписью «Hexal AG».

Все девушки таможенницы одеты одинаково. Чтобы отличать «своих», Володя запомнил, что одна — с чёрной чёлкой из под пилотки, а другая — с рыжими кудряшками. Ещё рядом неторопливый верзила в спецовке, актёрской внешности, но с совершенно вялым полуоткрытым ртом. Он ставит коробки на весы перед девушками и вскрывает их крупным ножом для бумаги.

Чёрненькая взялась пересчитывать, вторая — сверяет вес и количество с накладными.

— Так... «Гексал». Это похоже на лекарства, Анжел.

— Отлично, будем лечиться, — жизнерадостно хихикнув, отвечает рыженькая Анжела.

Заглядывает «чёлка» в очередную вскрытую коробку и тут же живо интересуется:

— Ух ты, это от чего?

Володька не всегда искренне недоумённо пожимает плечами, в глубине души уже догадываясь, к чему звучат здесь такого рода вопросы. Сейчас удобнее всего включить дурачка, решил он для себя.

— «Амброгексал». Ты знаешь такой, Анжел?

Анжела вписывает очередные цифры в бланки и тоже с любопытством тянет свой острый вздёрнутый носик, рассматривая коробочки.

— Не-а.

— Что же это Вы, товарищ, совсем ничего не знаете? — сокрушённо вопросит чёрненькая Володьку.

— Да я не фармацевт, — виновато улыбается наш герой, не погрешив при этом против правды.

— «АЦЦ», Анжел, слышала такое?

— «АЦЦ» слышала. Это от кашля, хорошая штука.

— Хорошая, — эхом отзвалась «чёлка» и бросила испытующий взгляд на притихшего Комарова.

Одна из коробок с «АЦЦ» остаётся вскрытой, и чёрненькая переходит к следующей. Иногда рыженькая снова повторяет куда-то в воздух:

— Да, «АЦЦ» — штука хорошая, у меня сестра лечилась от бронхита.

Наконец, коробки заканчиваются, и чёрненькая не выдерживает:

— И что, даже по упаковочке «АЦЦ» не подарите?

— Девчонки, — взмолился Володька, — Не могу я. У нас с этим делом в компании строго, мне проще деньгами вам дать.

— Ну нет, — скисла рыженькая, — деньгами — это не к нам. Ладно уж, живите, только больше так плохо не поступайте, а то карму испортите! Не в последний раз, наверное, у нас.

Улыбнулась, лихо несколько раз стукнула печатью во всех листах, а чёрненькая тем временем ловко заклеивала всё, что было вскрыто, специальным «шереметьевским» скотчем. Верзила с полуоткрытым ртом уложил коробки обратно на паллеты и пошёл вызывать автопогрузчик. Володю попросили покинуть склад и дожидаться груза на стоянке.

Алёшка проторчал вчера около жилконторы больше, чем полдня. Управляющему было не до него. Два раза бросал короткое «подождите немного», потом исчез «на минуточку» и только в два часа усадил Алёшку-Анзура перед собой и надел на нос плюсовые очки, чтобы рассмотреть внимательно паспорт.

— Так, прописка, вижу, на месте, — произнёс он прокашлявшись и поднял на Алёшку глаза поверх толстых линз. — У нас сейчас с этим очень строго. Сам понимаешь, какие времена.

Потом встал, прикрыл дверь, защищая разговор от посторонних ушей, и провёл короткий и внятный инструктаж:

— Территорию покажет управдом. Стараться нужно хорошо. Понял? Если будут недоразумения, то обращайся прямо ко мне. Зарплата здесь, пятого и двадцать второго. Тридцать процентов возвращаешь вот сюда, — на секунду вытащил ящик стола и тут же задвинул. — К зиме, думаю, комната для жилья в доме появится. Сейчас там у нас стройматериалы лежат. Ремонт в двух подъездах не закончился. Если всё устраивает — вот тебе листок бумаги, пиши заявление о приёме на работу. Не бойся, сейчас вместе его сообразим. Не первый раз чурок принимаю. С управдомом встретишься завтра. Рукавицы, инструменты — всё выдаст. Да, кстати... Бороду свою сбрить можешь?

Алёшка утвердительно мотнул головой.

— Сбрай, не тревожь народ.

Утром Алёшка снова появился во дворе очень рано. Пока дожидался управдома, мимо прошла вчерашняя пожилая женщина в летней светлой кепке. В этот раз ничего не сказала, но так выразительно взглянула ему в лицо, что Алёшка невольно отвёл глаза. Надо побриться. В последнее время что-то все плохо смотрят.

Управдом появился через час. Выдал ключи от кладовки. Провёл по периметру территории, много чего объяснял. Алёшка понял далеко не всё, но каждый раз согласно кивал головой. Сегодня обязательно нужно собрать в мешки весь крупный мусор. Две недели без дворника жили, накопилось.

— Пожалуйста, подождите, пока я коробки на седьмой этаж перевезу, чтобы не оставлять без присмотра.

— Брат, не могу, — водила приложил ладонь к груди. — Я уже на следующий заказ опаздываю. Надо было хотя бы на три часа заказ делать. Это же Москва!

— Я же не знал, что такие пробки будут.

— Пробки?! — рассмеялся водитель. — Это не пробки. Не знаешь ты, какие у нас могут быть пробки. Полдня простояшь. Разгрузить помогу. Мне быстрее надо.

Машина подъехала задом к подъезду, и скоро вся площадка была заставлена коробками. Водитель пересчитал деньги, и ГАЗелька, громыхнув канализационным люком, скрылась за углом.

Володька растерянно оглянулся по сторонам. Пока он будет перевозить часть коробок в лифте, остальные останутся без присмотра. Потеря одной такой коробочки будет стоить ему зарплаты вместе с премией.

— Извините, пожалуйста, — обратился он к смуглому худому таджику, складывающему мусор в плетёный белый мешок. — Вы не могли бы мне помочь. Пожалуйста, посидите около моих коробок, чтобы их никто не унёс.

Таджик неопределённо цокнул языком и продолжил сбор мусора.

— Я очень Вас прошу. Я их на лифте подниму. Это недолго.

Таджик снова цокнул языком.

— «Ёлки, — подумал Володька, — Это он так отказывается или просто не понимает меня?»

Вытащил из кармана сторублёвую купюру, отчаянно жестикулируя и артикулируя что есть сил, стал объяснять:

— Вы, — палец на таджики, — постоите вот здесь, — палец на коробки, — десять минут, десять, — двумя руками показал десять, — А я, — палец на себя, — подниму наверх, — палец вверх. — А это будет Вам! — сторублёвка в сторону таджики.

Таджик подумал, кивнул, прислонил к цоколю здания мешок и уселся на скамейку около подъезда.

— «Уф, кажется, он что-то понял», — выдохнул про себя Володька и быстро стал подтаскивать коробку за коробкой к лифту. Загрузил и нажал кнопку с надписью «11».

Мария Яковлевна шла с работы. Ещё издалека около своего подъезда она увидела нагромождение светло-серых коробок и решительно ускорила шаг. Какой-то тип лихорадочно затаскивал коробки в подъезд и оглядывался по сторонам. Рядом сидел тот подозрительный азиат, которого она уже два раза видела около своего дома.

— Чего это у тебя? — задала она ему решительно вопрос, тыча пальцем в коробки.

Тот только языком цыкает, вот и весь ответ.

— Это твоё, вообще?

Опять цыкает. Плечами неопределённо жмёт. Не хочет говорить. Абатюшки! Нечистое это дело. Пригляделась к коробкам и обомлела: там же слово «Гексоген» — и нашими буквами и не нашими. Может и не «гексоген», но что-то очень похожее. Мария Яковлевна бочком в подъезд, а оттуда уже выскакивает этот тип с лихорадочным блеском в глазах. Вроде бы славянского вида, но от такого одержимого всё, что угодно можно ожидать. Она как будто бы почту из ящичка достаёт, а сама наблюдает, как он коробку за коробкой, коробку за коробкой к лифту подтягивает. А дальше уже гляди, Мария Яковлевна, внимательно, на каком этаже кабинка остановится? Одиннадцатый! Вызывает она второй лифт и тоже на кнопочку «11» жмёт.

Дверь налево от лифтов нараспашку, а этот бесноватый почти бегом коробки туда таскает. Поднялась выше, на свой двенадцатый. Это же прямо под её квартирой, получается. Тут даже и не знаешь, за что в первую очередь хвататься — за валокордин или за телефон. Никогда ей квартира снизу не нравилась. Мужики какие-то туда заходят: то одни, то другие. Давно

надо было заявить. Сам-то хозяин — человек с виду приличный, но кому он сдаёт, неизвестно. Отшучивается всегда, разговор переводит.

Микроавтобус с затенёнными стёклами остановился около подъезда. Майор дал знак глушить мотор и повернулся к своим орлам:

— Кажется, здесь. Вон участковый нас встречает. Они теперь пуганные, сразу нам отзвонился. Сидите пока тихонечко.

Он вылез из машины, пропустил мимо ушей привычное «участковый уполномоченный, старший сержант...», пожал участковому руку..

Тот оказался толковым парнем, ситуацию доложил чётко.

— Позвонила жительница вот этого подъезда. Говорит, что какие-то люди мусульманской внешности целую машину коробок затащили на одиннадцатый этаж, прямо под её квартирой. На каждой написано «Гексоген».

— Как, прямо вот так и написано?

— Утверждает, что так, ну или что-то очень похожее.

— Бред какой-то. Или провокация. Кто же так напишет? Сколько их?

— Она двоих видела. Хозяина уже нашли. Скоро привезут. По телефону сообщил, что какой-то бизнесмен из Татарии квартиру снимает.

— Из Татарии? Тогда это может быть серьёзно. Никто не выходил из квартиры?

— Нет. Но они там, слышно, как телевизор работает.

— Свидетельница, которая звонила — она прямо над ними, говоришь, живёт?

— Да. Вон она стоит. В качестве понятой согласилась быть. Сейчас ещё кого-нибудь найду.

— Её квартира для штурма может пригодиться. Главное, чтобы они с перепугу не подорвали всё к чертям. Если это, конечно, взрывчатка.

Открыл дверь микроавтобуса:

— Ну что, девочки, прихорашивайтесь! Вы трое на всякий случай готовьтесь с двенадцатого этажа на одиннадцатый «телеportedоваться». Остальные со мной. Субеев, Семшов — будете дверь выбивать, у вас это вдвоём складно получается. Шоу без моей команды не начинаем.

Володька долго боролся с водой, никак не желавшей уходить из раковины. Потом пил чай с солоноватыми крекерами, в полглаза поглядывал на телевизионный экран. Телевизор дребезжащим звуком заполнял пустоту комнат, сообщая подробности закулисной жизни эстрадных звёзд. Солнце за окном садилось, бросая малиновые отсветы на пустые стены. Ну вот и всё. Накладные остаются здесь. Мокрая от пота и от того, что использовалась в качестве полотенца футболка сложена в пакетик и отправлена в портфель.

Можно ехать на вокзал. Проверил, везде ли выключено электричество. Спасибо, квартирка, приютила.

А тем временем этажом выше, преодолев на балконе Марии Яковлевны заслон из трёхлитровых банок, три человека в масках и защитной одежде закрепили тросы, подцепили к ним карабины и дали по радио сигнал готовности. Ещё несколько человек в камуфляже стояли на площадке около дверей. С верхнего пролёта лестницы с любопытством наблюдали за происходящим участковый и двое понятых: затеявшая всё это Мария Яковлевна и неопределённого возраста гражданин с длинными светлыми волосами в сером мешковатом плаще и с синей дорожной сумкой в руках. Этот второй

сначала отказывался быть понятым. Говорил, что не хотелось бы из-за этого опоздать на поезд. Но когда услышал, что дело связано со взрывами, побледнел и твёрдо заявил, что готов. Он даже выпрямился и решительно сжал кулаки, словно это ему сейчас предстояло ринуться на штурм. Рядом с ними — хозяин квартиры, тоскливо ожидающий неприятных для себя последствий.

Майор Колесов снял оружие с предохранителя и взял в руки рацию. Телевизор уже не слышно. Возможно, они что-то почувствовали. Сейчас он позвонит в дверь. Если откроют, то хорошо, это упрощает.

В этот момент щёлкнула дверная защёлка, и из квартиры вышел молодой человек лет тридцати с курткой в руке и портфелем на плече.

— Здрасьте, — произнёс он несколько неуверенно и тут же был беззвучно, но твёрдо припечатан к полу железными руками Колесова. Двое в масках ворвались в квартиру, и скоро раздался крик Славы Семшова: «Нет тут никого, Батя!», и следом — звук падающей дверцы шкафа.

Колесов скомандовал «Отбой», Володьку обыскали, щелкнули наручниками на запястьях, втолкнули в квартиру и усадили на пол, прицепив к чугунной батарее отопления. Один за другим вошли участковый, понятые, хозяин.

Хозяин робко попытаться установить на место дверку шкафа, но Колесов на него так сурово посмотрел, что тот сразу застыл. Вдруг что-то случилось с одним из понятых. Длинноволосый в сером плаще уронил на пол свою сумку, и яростно набросился на прикованного к батарее пленника, нелепо мутузя его с размаху. При этом он истошно орал:

— Сволочь! За Любу тебе! Ненавижу!

Обездвижили его быстро, и пусть скажет спасибо, что у парней железные нервы и они не пускают в ход оружие без дела. В результате он успел нанести пару неуклюжих ударов в растеряннее Володькино лицо, и на последок достал подбородок острым мыском ботинка. Теперь сам сидел, прикованный к другому чугунному радиатору, хлюпал тонким носом и тоненько выл.

Майор подошёл к Володьке, наклонился, внимательно осмотрел разбитую губу и констатировал:

— Зубы целы. По касательной прошло.

— Мелодрама какая-то, — густым баском хохотнул один из громил в масках. — Может, и бабушку на всякий случай к батарее припаяем?

Совместными усилиями разобрались в ситуации. Есть договор между хозяином Леонидом Михайловичем Синицким и компанией «Инь-Ян» об аренде помещения. Трясущийся от переживаний Лёонид достал эти бумаги из синей пластиковой папки и услужливо протянул майору. Есть и командировочное удостоверение на гражданина Комарова В.В. менеджера компании «Инь-Ян-Фарма». Вот накладные на получение товара, копия договора тут же с разрешениями: Минздрав, Минторг, Комитет по наркотикам. А в коробках — обычные таблетки да флакончики, какую ни вскрой.

— От горла там ничего не найдётся? — поинтересовался у Володьки снявший с коротко-стриженной головы «балаклаву» Семшов и постучал пальцем по одной из коробок.

Володька сначала неуверенно покачал головой, но потом намного твёрже объяснил:

— Есть. Но не дам, потому что не моё. Сумку если вернёте, у меня там таблетки сосательные были.

— Отставить, лейтенант, — рявкнул Колесов. Ну и рык у него, не всякий лев повторит.

— Правда же, горло ужасно дерёт, товарищ майор. Я без Ленки сейчас, понятия не имею, чем лечиться.

— Отжимания помогают, Стёп, я пробовал, — Субеев мимо такой темы не пройдёт.

Мария Яковлевна обрадовалась возможности помочь, а ещё больше — возможности ретироваться из созданной ей же самой неловкой ситуации:

— Так у меня травки есть, сынок. Давай, я пойду заварю. Я ж ещё мёдику с собой дам. На ночь ложку в рот — и рассасывай медленно, — заворковала она голосом рассказчицы народных сказок.

— Главное, вместо мёда ложку не рассоси, — подсказывает в тон ей Субеев. Он тоже снял маску и теперь довольно светится своей смуглой и широкой физиономией.

— Ладно, — встаёт из-за стола Колесов, — Сержант, мы тут, похоже, больше не нужны? Что только с этим истериком делать будем?

«Истерик» — относилось к понурившемуся Евгению Санычу, унылой сбачонкой глядящему снизу вверх.

— Если гражданин Комаров имеет претензии по факту нападения, то хулиганство оформим, — отозвался участковый.

— Не имеет, не имеет, — торопливым эхом отозвался Володька, трогая разбитую губу и опухшее ухо, — мне бы домой сегодня уехать.

— Это Евгений, он из соседнего подъезда, на третьем этаже живёт с родителями, — услужливо объяснила Мария Яковлевна.

— С родителями? А, кстати, сколько лет гражданину ... — заглядывая в бумаги, — Евгению Александровичу? Ага, сорок два года. Ну, нормально. Отведите тогда Евгения Александровича к маме. Может, она его сможет успокоить.

Евгения Саныча отцепили от батареи, вручили сумку и он, вдруг что-то вспомнив, просипел:

— Мне тоже на поезд надо. Отпустите, пожалуйста, я не буду...

Володька вышел последним. Вместе с хозяином квартиры они ещё некоторое время устанавливали свалившуюся дверку шкафа. Нашлась и отвертка, и шурупы. Почти не разговаривали. У хозяина только к концу ремонта перестали дрожать руки.

Поездов в казанском направлении много. Билет удалось взять на ближайший. В купе, куда Володя заскочил за три минуты до отправления, было занято два места. На верхней полке уже дремал молодой солдатик. Его сапоги, стыдясь своей огромности, стояли на полу около нижней плацкарты, прижимаясь к ней кирзовыми голенищами. Нижние полки аккуратно заправлены проводниками. Левая — его, Володькина; на той, что справа стоит открытая спортивная синяя сумка, из которой ароматно пахнет курицей, серый плащ на вешалке, костюм на плечиках.

Володька вытащил из своего портфеля несколько свежих газет и сунул их под подушку, повесил куртку, освободил ноги от обуви и в счастливом изнеможении плюхнулся на чистые простыни, сунул в рот пирожок с капустой, с удовольствием открыл чистый кроссворд. Почти дома. Он даже вспомнил, что, вообще-то, едет домой с победой, хоть и слегка затоптанной ботинками СОБРовцев.

А потом вдруг со стаканом горячей воды в руке вошёл тот тип, который час назад мутузил его, прикованного и беззащитного, и это Володьку почё-

му-то ни капельки не удивило, он даже ожидал от бесконечного сегодняшнего дня чего-нибудь подобного. Зато поразило Евгения Саныча. Он уводя взгляд куда-то себе за плечо, безмолвно поставил стакан на столик. Минуту сидел неподвижно и вдруг яростно стал напяливать на себя костюм, плащ, поспешно застёгивать молнию на сумке.

— Не беспокойтесь, я не следил за Вами, — буркнул Володька, — у меня случайно билет в это купе.

Про себя подумал, что зря его останавливает. Этот странный тип может ему запросто ночью горло консервным ножом перерезать, с него станется.

Сосед ещё несколько минут сидел в оцепенении — с сумкой на коленях, не на ту пуговицу застёгнутый плащ, пока не вошла проводница, чтобы сбрать билеты. Проснулся и свесился со своей полки солдатик — коротко-стриженный, веснушчатый, сонный, юный. Протянул свой билет, граассируя буквой «р», попросил разбудить его в Вековке, и тут же снова заснул, словно ушёл под воду.

Разговорчивая проводница настойчиво предлагала им «Сникерсы» и печенье, лапшу «Доширак», чай и кофе «три в одном». Сетовала, что с них теперь требуют выполнять план по сопутствующим услугам, просила войти в положение. Володька с фразой «гулять так гулять» заказал лапшу, а его попутчик отрицательно помотал головой.

Потом сосед всё же успокоился, переоделся и стал хрустеть обжаренным куриным крылышком, ежесекундно вытирая руки об салфетку. Володя смотрел старательно в свои кроссворды, изредка бросая короткие взгляды на боящегося поднять от курицы глаза Евгения. Да, для своих сорока двух, если майор не ошибся, он действительно хорошо сохранился. Володька готов был дать ему и тридцать пять и двадцать семь — непонятного возраста гражданин. Длинные волосы, заложенные за слегка торчащие уши, прямой нос, бесцветные брови. Так они и ехали молча, не общаясь и не глядя друг на друга. Уже после десяти, когда в поезде отключили верхний свет, и остались только «книжные» светильники в изголовьях, а Володька, наконец, основательно забрался под одеяло, сосед вдруг не выдержал и разразился длинными многократными и сбивчивыми извинениями и объяснениями своего поступка.

— «Кажется, не зарежет», — подумал Володя, выслушав пятиминутную тираду, а вслух произнёс: — «Да ладно, чего уж там. Всякое же бывает по запарке».

Слушаев запарки из своего опыта он привести не смог, но надо же было что-нибудь сказать. Его фраза подстегнула Евгения, и тот завёл рассказ, долгий и подробный. Говорил не слишком последовательно, но очень ладненько, так, словно сочинённую или выученную наизусть историю. Складывалось ощущение, что он с самого начала рассказывает её сам себе — своим поджатым к груди коленям в синих трико с лампасами, своим скрещенным в замок нервным тонким пальцам, выглядывающим из длинных рукавов тёмно-серой водолазки.

Володька положил газету на грудь и слушал молча, только пару раз что-то уточнил. Он хорошо представил себе эту Любу: смелую, с удивительной мягкостью и жизненной силой в глазах, стройную, в привычных джинсиках и своими руками связанным свитере, волосы, убранные в хвост. Вот она спасает котёнка, едва не очутившегося в бункере с зерном. Или другая картинка, где она с огромным половником в руках. Крутит им над головой и кричит: «Эй, защитники отечества, все за стол! Макароны калибра 7.62 ждут!» Идёт по коридору КБ в наброшенном на фиолетовое шерстяное плащье белом халатике, и каждому встречному по доброй улыбке раздаёт.

Да, этот тип умеет рассказывать — вдохновенно и артистично. Этим он её наверное и подкупил когда-то, а может и необходимостью о нём заботиться.

А Евгений уже о том, как она приехала впервые в его квартиру с цветами для его матери, а та презрительно хмыкнула: «Это ещё зачем? Деньги не на что было потратить?», как отец расцветал и даже иногда шутил при ней. Но отец болен, и весь дом на матери. Она такая несчастная, ей очень тяжело, она ещё войну помнит, девчонкой самолёты немецкие в небе видела. Это он про мать, конечно. Рассказчик не слишком вдавался в суть домашних конфликтов. Он только настаивал, что это подруги Любे нашептывали, чтобы она оставила его. У них там такие ведьмы в отделе. Он уверен, что она бы постепенно привыкла. У матери, конечно, характер тяжёлый, но тут главное сделать всё, как она просит, и жили бы душа в душу. Общежитие — тоже не вариант, там шумно и кухня общая. Когда он дошёл до Любиного ухода из КБ, рассказ сделался сбивчивым, неотрепетированным, и окончательно затух на бухгалтерше Светлане и её вчерашней страшной вестью. Евгений жаловался, что ему невыносимо дальше жить, и жидкко хлюпал носом. Кажется, он хотел услышать слова утешения. А он бы в ответ снова и снова доказывал, что горе его безгранично. Но Володька Комаров лежал задумчиво и безмолвно.

Евгений Саныч так и не дождался слов успокоения и взялся грызть яблоко, которое ему заботливо положила мать. Он вдруг подумал, что Люба, быть может, даже ... наказана. Да! Наказана, за то что бросила его! И это была сладкая и щемящая мысль. Саныч почувствовал себя заодно с могущественными высшими силами, которые никому не дозволят причинять ему боль. Потом снова стало одиноко, но всё же чувствовать себя заодно с небесами было ново и приятно. Мерно постукивающие стыки успокаивали его, усыпляли. Сквозь наплывающий пеленой сон выплыло лицо начальника отдела с дрожащей от страха бородкой. Жалок, просит прощения. Евгений шагает по длинному пустому коридору КБ, и одновременно разрывает ажурную кофточку на груди бухгалтерши Светланы, глядя в её наполненные ужасом фиалковые глаза. И вдруг в конце коридора — тихая и безмолвная Люба. И это снова было невозможно болезненно. «Не снись!» — закричал он ей, — «Никогда больше не появляйся! Слышишь?!», и она покорно растворилась, а сам он провалился в покачивающуюся ритмичную темноту.

А у Володьки ни капли сна в глазах, сказались волнения дня. Спасительная газета в руке, в середине — слово из одиннадцати букв: «прямая, имеющая одну общую точку с окружностью». Касательная, разумеется, кроссворд элементарнейший. Тут же вспомнились слова старшего из сегодняшних громил: «Зубы целы, по касательной прошло», а заодно и ставшая привычной за последние годы телевизионная фраза: «трагедия, которая коснулась каждого».

Недавняя московская трагедия коснулась Володьки Комарова сегодня, и самым неожиданным образом: штурм квартиры, разбитая губа и распухшее ухо, теперь ещё и ночная исповедь. События коснулись, или он сам чуть-чуть коснулся событий.

— «Идём себе по касательной», — объяснял он молчаливо невидимой аудитории, провожая взглядом быстрые промельки фонарей за окном, — ахнули от ужаса, приникли на минутку к экранам, к окнам в чужое горе, всплакнули ровно столько, чтобы душа потренировалась, но не разорвалась — и бегом дальше, чтобы не нести с собой эту боль вечно. Мы-то, живы и слава Богу. Сын — балбес, но руку ему взрывчаткой не оторвало, дочь

маньяку не приглянулась. При этом крестимся истово — верующие и неверующие, — по дереву стучим, словно язычники.

Плакали над землетрясением, скрещивали пальцы, надеясь на чудо с подводниками, ужасались смерти школьников. И времени, смотри, прошло совсем ничего, а всё уже — остыли. Новые трагедии. Теперь, обученные, по касательной стараемся, не заходим на территорию боли. Попавшие глубоко не возвращаются или возвращаются через годы и совсем другими.

Мы туристы, зеваки, даже если несём цветы и даже если отправляем деньги на счёт. Только иногда страх забирается за шиворот и заставляет озираться на каждого бородатого брюнета, на оставленный без присмотра чёрный пакет.

Мозоли, что ли, нарастают от частого использования переживаний, или железа сострадательная, многими слоями ладана покрытая, уже с трудом функционирует?!

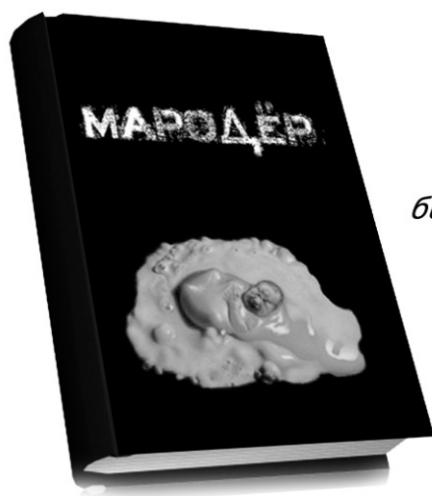
Чужая боль проходит быстро, как опухоль на разбитой губе, и снова можно улыбаться, поплакать над сентиментальными фильмами, забывая о настоящей беде. Ещё и раздражаться будем, если кто-то не вовремя напомнит.

Поэтому я за Евгения не переживаю? Или потому, что он мне по физиономии от души навалял? Нет, я тогда даже испугаться не успел — быстро всё случилось. Теперь даже понимаю —

любимую человек потерял. Только вот неприятное послевкусие от его рассказов осталось — ощущение, что он тоже всегда по касательной к своей Любे жил, не желая чуть глубже в её переживания окунуться, катился билльярдным шаром по поверхности. Помучается, наверное, поплачет недолго, а потом снова курочкой захрустит. Нет, видимо, у меня личное к нему неприятие».

Стыдно Володьке за свои циничные рассуждения и грустно за эту Любу — женственную, человечную... Хотя, ей-то теперь точно уже его жалость не нужна. Нужна Евгению, а к нему сочувствия не много. Выходит, и сам Володька тоже очерствел за эти годы.

Через пятнадцать минут Вековка, пора солдатика будить.



*Повесть
Александра Гронского
«Мародер»*

*была написана в начале 2011 года.
Автор глубоко сожалеет,
что ему удалось предугадать
многие события, которые стали
реальностью в России
четыре года спустя..*

ЛИТЕРАТУРНОЕ ZaZa ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

Георгий Нипан. Среди дождя. Несколько историй про Алису и Гену.



Нипан Георгий Донатович, Москва, Россия, действующий научный работник, д.х.н., автор (или соавтор) 280 научных публикаций. Литературные опусы:

Знамя, Волга 21 век, Волга, День и Ночь, Веси, Новый берег, Зарубежные записки, Химия и Жизнь, Искатель/Ad-venturer, Флорида, Фанданго, Мир животных, Наша Гавань

Мечта для художника — и двигатель, и горючее. А кто такой художник, как не рассказчик историй? Добро в них сражается со злом, и в новеллах, что по-декамероновски герой здесь рассказывают друг другу, ясно звучит тема зла (акула, что пытается пожрать человека, убийцы, что не лучше хищных акул...), а рядом, тут же, — пронзительно-чистая, ласкающая сердце музыка добра. Добро так или иначе тотально. Да, добро, а не зло. И в сказках; и в жизни. Потому что если бы не было так, наша общая история

на земле была бы слишком короткой.

Георгий Нипан дает нам почувствовать вкус жизни, что замешана на добре. Ее не спутать ни с чем. Она — обещание бесконечности, понимания, любви.

А еще прекрасно то, что в этой прозе связаны воедино детство и зрелость души; прикоснемся же к сиянию времени, что внезапно становится маленьким, меньше детской игрушки, и его можно вертеть в руках, как карибскую жемчужину...

Елена Крюкова

Конфликт между внучкой Анной и невесткой Ольгой навис грозовой тучей, и в любой момент в доме моего сына Виктора могла сверкнуть молния. От греха подальше я вывез Анну на выходные к моей подруге Алисе на дачу, и очень вовремя. Виктор переслал мне фото последнего творения внучки, оставленного на мольберте: гора, крест, распятый мужчина с лицом Виктора, две девичьи фигурки с протянутыми к нему руками и римский воин с лицом Ольги, колющий его в сердце копьем.

Сидя под яблоней, Анна вдохновенно писала с натуры куст репейника. Вначале Владик, внук Алисы, из-за своей молодости — разница в возрасте составила аж два года — был отогнан, как назойливая муха, так как попытался влезть в творчество Анны с дельным советом. Однако мудрый Владик дождался момента, когда можно было проявить свою незаурядную эрудицию. Над кустом лаванды, быстро хлопая крылышками, зависло маленькое существо.

— Ой, — вскрикнула Анна. — Это же колибри. Откуда она здесь взялась?

— Кто колибри? Где колибри? — заинтересовалась спросонья Зина, невестка Алисы, до этого мирно дремавшая среди кустов крыжовника с планшетом в руках.

* Новелла начинается с 12ой истории, логически завершающей новеллу **Седые грибы. Несколько историй про Алису и Гену** (Зарубежные задворки № 6 (36) 2017), и также состоит из 12 историй.

— До нас птицы из теплых краев только стаями или косяками долетают. Колибри в стаи не сбиваются, — заявил Костя, сын Алисы, переводивший танка японской императрицы Дзито, раскачиваясь в кресле-качалке.

Как говорила Алиса, используя известный рекламный слоган и нелюбовь сына к мытью: «Танки Кости не боятся!»

Едва взглянув на летающий объект, Владик заявил:

— Это бабочка, бражник-языкан. Ареал ее обитания южнее, но в последние годы она появилась в нашей климатической полосе, — и принялася рассказывать про бабочек вообще и бражников в частности.

Как человек знающий, он сразу же приобрел авторитет в глазах Анны, и получил разрешение сидеть возле художницы.

К обеду неожиданно приехала моя старшая внучка Мария вместе со своим айтишником Иваном. Судя по всему, поссорившись накануне с мамашей Ольгой, она отказалась ужинать, соответственно утром не позавтракала и к обеду жутко проголодалась, а средств на двух пластиковых карточках, ее и Ивана, хватило только на покупку парочки Твикс. Купить батон хлеба они не догадались. Справедливо считая, что дед голодными не оставит, ребята зайдами на электричке добрались до Алисиной дачи.

— Гена, — использовала домашнюю заготовку Мария, — ты сплошное волнение. Нет тебя в сети.

— Да, — подыграл я внучке, — поставил смартфон на вибрацию, чтобы во время оперы не зазвенел, и забыл.

— Когда ты это на оперу ходил? — съязвила, не удержавшись, Алиса. — Тогда и смартфонов-то не было.

— Запись слушал, — нашелся я, — каватину Нормы из одноименной оперы В. Беллинни. Так люблю, что кушать не хочется.

— Все готово, садитесь обедать, — подытожила догадливая Алиса.

Набирая дополнительные очки, Владик затеял за обедом дискуссию с Иваном о языках программирования. В беседе принял активное участие Костя, напирая на иероглифы. Девушки во главе с Зиной живо обсуждали в какой цвет покрасить волосы на затылке, если челка фиолетовая. Мы с Алисой ели молча: на базаре трудно спокойно переговариваться.

За оградой затормозила и просигналила машина. Открылась калитка и вошли Виктор и Ольга.

— Вот и наши дети, — сказал Виктор. — Всем добрый день, а Костяну племенный привет.

— Витька! — закричал Константин. — Давно мы с тобой клюв никому не чистили.

Виктор, как все нормальные российские мужики не мог приехать с пустыми руками и образовалось шумное застолье, в завершение которого хлынул ливень и отключилось электричество.

— Слабо Богу, — сказала Алиса. — В кои-то веки посидим без ТВ и Интернета, — она зажгла большую хозяйственную свечу и поставила на стол настоящий самовар.

Мы расположились на веранде, за большим столом со свечей и самоваром. Среди сплошного дождя.

— Люди Изумрудного города! — вдруг донеслось сквозь дождь. — Можно у вас погреться? У нас крыша течет и света нет.

— Дороти! Дороти! Беги к нам! — принялись скандировать сквозь дождь Алиса, Владик, Костя, Зина и я.

— А я со Смелым Львом, — возникла из дождя Дороти, укрытая вместе с лохматым парнем одним куском полиэтилена.

— Лев, — представился парень и очень похоже зарычал, чем сразу нас к себе расположил.

— Добрая волшебница Севера, Глинда — волшебница Юга, Страшила, Жестяной дровосек и волшебник страны Оз, — представила Дороти своему спутнику Алису, Зину, Костю, Владика и меня. Оставшиеся пятеро разделились. Четверо пришли из сказок Андерсена.

— Стойкий оловянный солдатик, — сообщил Виктор.

— Штопальная игла, — неожиданно отрекомендовалась Ольга.

— Гадкий утенок, — не стала скромничать Мария.

— Оле-Лукойе, — произнесла Анна и уткнулась в свой рисунок.

Иван улыбнулся и сказал, что он местный и иностранными языками не владеет — Незнайка из сказок Носова.

— Ну, сказочные герои, — сказала Алиса, — что молча чай пить? Давайте рассказывать истории.

— Как у Джованни Боккаччо в «Декамероне»? — спросил Костя.

— Нет, — ответила Алиса, — Декамерон не наш случай. Как у Рана Дасгупта «Токио не принимает», только на одну новеллу меньше. Начнем с Гены.

— Предупреждаю, — объявил я, — главный герой рассказа старый курильщик. Помните: СТАРОСТЬ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Лицо в акне (рассказ Гены)

— Вячеслав Петрович, на наших дачных участках не курят, — заметила Диана. — У нас ноусмокинг зона.

— Да-да! — согласился Вячеслав Петрович, пряча в карман трубочку, — Конечно, все вы без смокингов. Пойду я прогуляюсь и покурю.

— Вы не поняли, это по-английски «ноу смокинг», что значит «не курить», — протянула Диана, — и в парке через дорожку не курят. Листья могут пожелтеть и для собачек вредно.

— Конечно-конечно, — опять согласился Вячеслав Петрович, — белочки табачным дымом могут надышаться, ежики. Особенно вредно кормящим зайчихам. Можно, я вашу лодочку возьму? Отплыву подальше от берега и подымлю. Рыбкам я ведь вреда не принесу. Окунькам, карасикам, щучкам... Как вы считаете?

Диана в задумчивости наморщила лоб.

— Не переживайте, я газетой закроюсь. Вроде как поплыл почитать в тишине газету.

Вячеслав Петрович тяжело поднялся и, опираясь на тросточку, направился к пруду.

— Что ты несешь? Он же на ночь Диккенса в подлиннике читает, — негромко произнес Митя, обращаясь к Диане, когда дед удалился метров на пятьдесят, и крикнул вдогонку Вячеславу Петровичу:

— Дед, я с тобой!

Митя прихватил с накрытого в саду стола начатую бутылку коньяка и направился следом за Вячеславом Петровичем. Запрыгнув в лодку, покачивающуюся на воде возле мостков, он помог деду устроиться на корме и неспешно выгреб на середину пруда. Вячеслав Петрович раскурил трубочку и с наслаждением выпустил из ноздрей густой табачный дым.

— Деда, дай затянуться! — попросил Митя.

— Тебя потом в дом не пустят, — сказал Вячеслав Петрович. — Придется в машине ночевать. Пей коньяк, пока разрешают.

— Не сердись, у Дианы бзик на здоровом образе жизни. Для нее уход за кожей, особенно за кожей на лице, как для тебя забота о книгах из твоей библиотеки.

Дед еще раз затянулся и внимательно посмотрел на внука.

— Я был чуть моложе тебя, а девушка на четыре года моложе меня. Все ее лицо могло бы служить наглядным пособием по акне, поэтому она никогда не смотрелась в зеркало и не пользовалась косметикой. Но я... Я был без ума от нее.

— Как же ты?.. — замялся Митя, подбирав слово.

— Объявление с номером телефона в газете, — объяснил Вячеслав Петрович. — Долг чести: в пух и прах проигрался в карты и решил продать среди прочего икону. Я нашел ее в подвале заброшенного женского монастыря, в развалинах которого мы с друзьями укрылись от ливня. Фонаря у нас не было, и в темноте мне почудилось, что в каменной кладке одной из подвальных стен светятся швы. За несколькими подвижными булыжниками была спрятана икона: лик Богоматери обезобразил косой шрам от сабли или шашки, но лик младенца остался нетронутым... Да, демоны подбили меня продать эту икону, но появилась девушка ... и отвела бесовское искушение.

— Отговорила тебя продавать икону? — не удержался Митя.

— Не спеши и не перебивай! — дед прищурился, словно вглядываясь в прошлое, и продолжил. — У нее не очень складывались отношения с родителями, — думаю из-за акне, — а вот бабку свою, по материнской линии, она очень любила. Надо думать, что та любила ее не меньше, и, отправляясь в мир иной, оставила внучке изрядную сумму денег и напутствие «Ищи свой лик». Вначале внучка соотнесла странную фразу со своим изуродованным лицом и поисками умелого косметолога, способного за скопленные бабушкой деньги лицо поправить, но, как это часто бывает, вмешалось провидение, и ей попалось на глаза мое газетное объявление:

Продаю икону 18 века. Утоли моя печали

— Знаешь, она восприняла это как крик о помощи. Возможно, если бы наборщик не поставил точку перед названием, а, в соответствии с оригиналом поданного объявления, взял название в кавычки, воздействие было бы другим, но случилось то, что случилось. Как потом оказалось, сумма денег, оставленных бабушкой, равнялась моему долгну. Да, но я забежал вперед в своем рассказе. Девушка позвонила, и мы договорились встретиться в скверике, что не обязывало к совместному распитию кофе. Когда я пришел с чемоданчиком-дипломатом, в котором лежала икона, бабкина внучка уже сидела на скамейке, и первое, что мне бросилось в глаза, — черная шляпка с черной вуалью. Язык мой, в той ситуации, не повернулся как-либо пошутить по этому поводу. Да, и мало ли, может у человека траур. Мы поздоровались, и я открыл свой кейс. Она довольно долго, в полном молчании, рассматривала икону, а потом тихо так спросила: «Зачем Вы ЕЁ продаете?».

— Митя, не подберу слов, чтобы точно определить, как на меня действовал этот заданный ею вопрос. Не стал я сочинять про бедных больных родственников, и рассказал всю правду про долг. Наверное, перед девушкой с закрытым лицом мне захотелось предстать в образе циника, но это плохо получилось. Она меня выслушала и спокойно припечатала к скамейке: «Вами управляет демон Гордыни. Этот демон не позволил Вам вовремя закончить игру! Да, и сейчас не Вы говорите, а Ваша Гордыня!» Словно по щеке ударила. Мой демон в тот момент был очень силен, и я грубо так ответил: «Может Вы, откинув вуаль, грозно сверкнете глазами, и демон исчезнет». Девушка достала из сумочки деньги, — все бабкины деньги, — заткнула их в боковое отделение кейса и аккуратно извлекла из него икону. Правой рукой она прижала божественный лик к груди, а левой откинула вуаль со словами «Не оставлю ЕЁ Вам и Вашему демону. Моя страшная ведьма Акне пусть прогонит прочь вас обоих».

— Ты не увидишь картин, где бы у ангела было обезображенено лицо, потому что на это больно смотреть. Я взглянул на девушку-ангела и рухнул пе-

ред ней на колени, а потом заревел, как ребенок, не скрывая слез. Ведьма Акне не оставила на ее лице живого места, но не посмела тронуть ясные ангельские глаза, в которых была такая боль! Свободной рукой девушка наклонила мою голову и положила на свои колени. Она гладила мои волосы и приговаривала: «Не плачь, ведь я нашла свой лик!».

— Деда, перестань грустить! Скоро бабка вернется из своей секретной поездки. Кстати, куда делась эта волшебная икона?

— Женский монастырь восстановили, и наша бабушка-ангел вернула икону монахиням. Теперь каждый год совершает паломничество в эту обитель. Да, а Диане твоей икона не поможет. Не тот случай.

— Ну, теперь, я думаю, моя очередь, — сказала Алиса. — Ж после М. Татарского порядка и будем придерживаться.

В поисках Мако (история Алисы)

— Синьора, Вы ошибаетесь! Я не моряк — я капля этого моря. Выплескиваясь на камни, капли высыхают, но остаются крупинки соли. Моя прозрачная крупинка, моя душа, становится темней моей кожи, когда смешивается с песком портового люда и попадает в городскую грязь.

Капитан маленькой яхты тряхнул пышной седой шевелюрой, словно подтверждая свои слова. Его босые ноги в холщовых штанах раскинулись на носовой палубе, охраняя бутылку светлого рома и приземистый стакан, уже пустой. Над штанами болталаась майка неопределенного цвета, а из нее торчали жилистые руки и худая шея, на которой, тем не менее, держалась крепкая голова. Достаточно было мельком взглянуть на лицо, украшающее эту голову, чтобы увидеть, причудливое смешение многих кровей в одном человеке. Время от времени, правая рука подносилась к лицу, точнее к губам, стакан с ромом и голова кратковременно запрокидывалась. Еще один приземистый стакан оплетала тонкими пальцами обеих рук немногословная собеседница, сидевшая в шезлонге напротив капитана. Она пила ром маленькими глоточками, чуть поднимая подбородок, как знаток, смакующий хорошую выпивку. Большие солнечные очки, опираясь на маленькую горбинку, растягивающую кожу короткого носа, скрывали глаза, а челка светлых волос, собранных на затылке в пучок, оставляла открытой только надбровную часть лба. Плотный карibbeanский загар, белый нашейный платок, белая рубашка с короткими рукавами, белые шорты, да, и стакан с ромом, заслоняющий губы и подбородок, не позволили бы стороннему наблюдателю определить реальный возраст женщины. На первый взгляд, ей было чуть больше сорока.

— Я буду называть тебя Капелька! — сообщила женщина.

— Отлично, а я буду называть Вас синьора Камешек! — одобрил капитан.

— Капелька точит Камешек! — усмехнулась синьора.

— Нет, лечит Камешек, — улыбнулся капитан и продолжил, наполнив на треть свой стакан. — Смешно оценивать волнение моря по десятибалльной шкале. Любовь и ненависть нельзя измерить, а море нельзя обмануть. Я вижу, что оно Вас любит. Несколько дней я привыкал к Вашему испанскому. Это язык газет и, наверное, книг. Возможно, так говорят в Испании, но не на Карибах. Островитяне Вас не понимают. Несколько раз, когда нам встречались яхты с гринго, Вы говорили по-английски, и я видел, что для Вас это чужой язык. Можно было бы предположить, что вместе со мной пьет ром шведка или немка, но это не так. Я встречал разных людей, но только один человек смотрел на море так же, как и Вы. Несколько раз он говорил по смартфону на незнакомом для меня языке, на своем родном языке. Его звали Мако, и, думаю, что именно его мы ищем уже вторую неделю.

Капелька прервал свои рассуждения, чтобы выпить.

– Я рассказываю Вам это, потому что видел Вас в деле. Когда сегодня утром четыре местных пирата на моторной лодке попытались приблизиться к яхте, Вы выстрелом из винтовки снесли одному из них шляпу...

– Продолжай! — потребовала синьора.

– Мако зарабатывал на жизнь боями с акулами. В основном с акулами мако. Это дорогое зрелище, я не видел самой схватки, да и не хотел бы видеть, хотя один раз был рядом, когда перевозил Мако с частного острова на атолл. Штурмило, и владелец острова не хотел рисковать своей яхтой. Мако сопровождал наставник, который знает акул, как коннозаводчики лошадей. Я участвовал вместе с этим человеком в нескольких опасных перевозках, он мне доверял, и, поэтому, разговаривал с Мако не таясь.

– Акулий цирк, как на Гавайях? – не сдержалась женщина. – Дальше!

– Не знаю, как там на Гавайях! Не был. Синьора, выпейте. Я перехожу к подробностям, — Капелька плеснул ром в стаканы. — Представьте себе маленький коралловый атолл. Он никому не принадлежит, и на него не распространяются законы ни одного государства. Сегодня он есть, а завтра его может не быть. В лагуну атолла заманивают акулу и перекрывают для нее все выходы в море. Через насколько дней к атоллу подплывают роскошные яхты. С них спускаются шлюпки с хозяевами и обслугой. Вначале, на коралловое кольцо атолла высаживаются стюарды: выносят привезенные белые кресла и столики, расставляют на столиках хрустальные бокалы и наполняют их вином, а затем возвращается в шлюпки, чтобы на руках вынести женщин, которых усаживают прямо в кресла. Мужчины добираются до своих посадочных мест по перекинутым трапам. Потом стюарды, они же телохранители, расположившись по внешней окружности атолла, отворачиваются лицами к океану: они не должны видеть дорогостоящее зрелище. Господа, расположившиеся за столиками, обмениваются приветствиями, любуются океаном и ... голодной акулой, которая стремительно плавает в лагуне атолла. Зрители в белом ждут представления. И вот, от одной из яхт отшвартовывается маленькая лодка с двумя людьми, и на атолл высаживаются боец и его наставник. На бойце только белые плавки. Согласно ритуалу, организатор схватки поднимается с кресла, объявляет имя человека, готового сразиться с акулой, и выкладывает на столик нож, который должен иметь определенную форму и размер. Пока боец внимательно осматривает нож, от которого зависит его жизнь, наставник изучает акулу.

Капелька опрокинул свой стакан, но ему не удалось помолчать, чтобы насладиться послевкусием рома

– Откуда тебе известны правила? — резко спросила женщина.

– У меня есть бинокль, — ответил Капелька.

– Дальше! — потребовала женщина.

– Если нож подходящий, без изъяна, и боец готов к схватке, он поднимает правую руку. Наставник коротко и негромко рассказывает ему об особенностях акулы. Несколько секунд зрители в белом аплодируют. Боец, в последний быть может раз, складывает ладони в молитве или крестится, зажимает в зубах лезвие ножа и ныряет в воду лагуны. Начинается схватка человека с акулой.

– Господа делают ставки, — догадалась женщина.

– Да, синьора. Насколько я понял, Мако постоянный фаворит, и обычно ставят два к одному. Деньги большие: кроме господ на белых стульях, есть зрители, которые наблюдают за схваткой по своим, забыл это слово, га...

– Гаджетам, — подсказала синьора.

– Так вот, синьора. Мако перекрестился справа налево. Вы тоже так креститесь. И еще, синьора. Вам надо спешить! Наставник говорил, что надо

ждать большой подлости от господина по прозвищу Мясник, который всегда ставит крупные суммы на акулу. Организатор схватки каждый раз меняется, и когда дойдет очередь до Мясника, он сделает все, чтобы отыграться.

- Капелька, чего надо опасаться Мако?
- Ножа, синьора.
- Кто может помешать Мяснику?
- Женщина, и никто не сделает это лучше Вас, синьора

Мясник организовывал схватку через месяц. Он пошел ва-банк: в лагуне атолла плавала громадная белая акула. Вопреки обыкновению, Мясника сопровождала ослепительная женщина, судя по всему иностранка. Он был ею совершенно очарован и не отпускал от себя ни на шаг. На коралловом атолле, за столиком Мясника, иностранка появилась в белом вечернем платье без рукавов, белых театральных перчатках по локоть и солнечных очках. В руках у нее была алая роза. Когда Мако высадился на атолле со своим наставником, тот взглянув на акулу, угрюмо покрутил головой из стороны в сторону, давая понять, что шансы на победу невелики. Женщина захотела подарить морскому гладиатору розу. Мясник не возражал. Жестом она пригласила Мако подойти к столику и, сняв перчатку, протянула к нему оголенную левую руку с розой. Внутреннюю сторону предплечья ее руки украшал узор, сделанный хной. Угловатые буквы родного языка выстроились в предупреждение.

Ручка ножа — электрошокер в морской воде

Мясник отвернулся к зрителям, потирая руки. Женщина сняла солнечные очки. Мако вздрогнул и бережно взял у нее розу, а также прозрачный сапфировый нож, скрывавшийся в длинной перчатке. От ножа, предложенного Мясником, он отказался со словами:

- После такого подарка я одолею акулу без Вашего ножа.

Перехватив розу зубами, он сложил вместе руки, зажав между ними сапфировый нож и прыгнул в лагуну. Мясник подошел к воде вплотную, чтобы не пропустить ни одной мелкой детали ожидаемого кровавого зрелища. Женщина поднялась с кресла, взяла правой рукой в перчатке оставленный на столике нож за лезвие, обмакнула рукоятку ножа в бокале с вином и, подойдя сзади к Мяснику, коснулась влажной рукояткой его шеи. Мясник рухнул в воду, и подплывающая акула вцепилась зубами в его тушу, а Мако ударил кровожадное чудовище в глаз сапфировым ножом. Дамы и господа повскакали с насиженных мест, а телохранители напряглись в ожидании команды.

— Господа, — объявила женщина, — грязный спектакль закончен. Мой смартфон управляет взрывными устройствами, прикрепленными изнутри к вашим столикам. Если вы не верите, пусть ваши телохранители заглянут под них и увидят аккуратные белые коробочки. Я забираю Мако, и мы упываем. Он больше не работает в этом мерзком бизнесе.

Когда лодка с Мако, его наставником и женщиной, сжимающей в руках смартфон, отчалила от атолла, женщина сказала на родном для Мако языке:

— Максим, тебе пора возвращаться. Найден настоящий убийца твоей жены Кати. Хватит прятаться.

Алиса закончила свой рассказ, и, отхлебывая чай из своей чашки, молча указала ладонью на Виктора

Тринадцатый (рассказ Виктора)

Они уходили от погони: мужчина, женщина и ребенок — их сын. Втроем, верхом на усталом Вороне. Рассыпалось колесо повозки, ударившись о бульдожник. Преследователей было пятеро, и недостатка в лошадях у них не было. По две на каждого. Об этом позаботился мужчина. Его револьвер стал

на пять патронов легче, но эта легкость его не радовала. Примерно через четверть часа их настигнут, и им не добраться до гор. Ворон сделал больше, чем мог. Теперь очередь мужчины, а потом женщины. У сына останется шанс, если они уничтожат этих пятерых.

— Все! — произнес мужчина, натягивая поводья.

Женщина, сидевшая перед ним, соскользнула с коня, обнимая руками спящего ребенка. Как только спрыгнул мужчина, колени смертельно устали животного подогнулись, и оно тяжело рухнуло на правый бок. Мужчина сдвинул шляпу с головы на спину и опустился на колени возле хрипящей морды. Ладонь его левой руки легла на черную, горячую кожу:

— Прости, остались три патрона...

Женщина впервые услышала так много слов от этого человека, а его нежность оказалась неожиданным откровением. На какое-то мгновение она даже позавидовала загнанному коню. Мужчина поднялся с колен и подошел к женщине. Он не стал будить сына, только поцеловал его в лоб... Потом достал из-за пояса facon — нож гаучо и протянул жене.

— Для второго.

Это была похвала, равносильная ласке, и жена едва заметно улыбнулась, засовывая за пояс еще один клинок.

Из пяти новых преследователей мужчина пристрелит троих. Больше убить тремя пулями невозможно, и оставить в живых больше двух нельзя. Это его дело сократить пятерку до двойки. Дальше должно сработать тайное оружие —пренебрежение к женщине. Никто из пятерых не знает, что его жена ловко бросает ножи. Лучше всех женщин, и лучше многих мужчин. Ее дело убрать оставшихся двоих, и муж уверен в ней, как в самом себе. Но, есть одно но, сводящее к нулю их усилия. Второй, последний, наверняка, успеет в нее выстрелить и не промахнется. Они все хорошо стреляют, а еще они мстят за семью. Шансы сына ничтожны, он слишком мал, чтобы выжить в безлюдной пустыне, только-только научился ходить. У него останется одна защита —полная беззащитность.

Мужчина и женщина посмотрели друг в глаза. Некогда прощаться, надо спешить. До встречи. Она найдет его Там, даже если он попадет в ад. Мужчина устроился за упавшим Вороном. Даже умирая, верный друг прикроет от пуль. Женщина с ребенком на руках побежала настолько быстро, насколько могла к громадным кактусам Caldera. Она выбрала самого большого — патриарха, положила спящего сына на высокую землю и быстрыми ударами клинка вырезала, на уровне колен, в кактусе треугольник. Предчувствие не обмануло ее — кактус оказался полым. Не чувствуя боли от уколов, женщина вытащила колючую заслонку. За спиной прогремели выстрелы, но она даже не замерла. Сняла с себя нательный крест, вложила его в ладошку спящего ребенка, намотав цепочку на пальчики, и перенесла сына внутрь кактуса. Затем вернула вырезанный треугольник на место, спрятав сына за колючками, и, как птица, уводящая охотников от гнезда, бросилась навстречу преследователям.

— Дон, — произнес управляющий, входя в комнату, — все лошади вернулись.

Старик, сидевший в кресле, помолчал и поднялся.

— Выводи Ангела, — скомандовал он, и снял со стены ружье.

На любимом белом скакуне во главе вооруженной кавалькады слуг дон отправился на поиски пропавших сыновей и внуков. Возле реки всадники разделились на две группы, и он, ориентируясь на лошадиные следы и ко-

лею от повозки, поскакал со своими людьми по левому берегу, а управляющий с другой частью домочадцев переправился через реку вброд и помчался вдоль правого берега.

Первые пятеро, найденные доном, лежали на расстоянии тридцати-пятидесяти метров друг от друга. Все они были убиты выстрелами в голову из револьвера. Дальше до моста, — река в этом месте становилась широкой, — повозка катилась одна, но после моста опять появились следы преследователей. Беглецы попытались оторваться и направились к скалистым горам, в которых следы могли затеряться, а лошади становились обузой и лишали преследователей преимущества. Однако подвело колесо, беглецы бросили повозку и поскакали верхом на одном коне. Им не удалось уйти: револьверы трех застреленных мужчин были направлены в сторону упавшего коня, вернее его хозяина, который, отбросив револьвер, встал навстречу своей смерти со скжатыми кулаками. Невдалеке, рядом с семейством кактусов, лежали двое мужчин с ножами в горле и молодая женщина с пуговицей в сердце.

— Все! Никого не осталось в живых, — сказал управляющий, подъезжая к дону.

— Нет, — возразил дон, — один остался. Женщина сражается рядом с мужчиной, если их только двое. Эта яростно кого-то защищала. Я уверен, что ребенка. Говорите громко. Ищите кактус с окровавленными колючками...

Удивленный возглас прервал дона. К убитой женщине, спотыкаясь на комьях засохшей земли, шел мальчик примерно двух лет. Проснувшись, он изнутри вытолкнул треугольную колючую заслонку и обдираясь о колючки вылез из кактуса. Инстинкт безошибочно вел его к матери. Возле ее тела он опустился на колени и попытался надеть на шею цепочку с крестиком, но не мог поднять тяжелую материнскую голову. Мальчик обернулся в поисках помощи и не колеблясь протянул руки с цепочкой к дону.

— Чертовой дюжины не будет. Вендетта закончилась. Это мой последний и единственный внук, — объявил дон, вешая ружье на плечо, и поднял внука над головами собравшихся мужчин.

— Сказочница из меня никакая, — произнесла Зина, — все больше косметика и украшения. Духи и кольца, но я тут прочитала новеллу Мопассана «Рука».

— Да, ну? — удивился Костя оторвавшись от чтения. — В какой же редакции?

— Не знаю, — продолжила Зина, — только у меня эта тема соединилась с историей Алисы и получилась новая история.

Кисть (история Зины)

Было замечено, что баронесса фон Теллер никогда не снимает длинных белых перчаток, и, что она неисправимая левша. Последнее обстоятельство вызывало всеобщее недоумение, так как никто не видел, чтобы она пользовалась ножом за обеденным столом. Более того, дамы уверяли, что и двумя руками баронесса избегает что-либо делать, например, извините, поправлять платье, и, по их мнению, это связано с какой-то страшной тайной или данным обетом.

Тайна раскрылась благодаря случаю и оказалась действительно ужасной и необычной. На торжественном ужине у маркиза де Боде подавали акульи плавники, и, естественно, зашел разговор об акулах. Маркиз, спортивный мужчина средних лет, увлекался подводной охотой и мог рассказать много интересного про этих свирепых морских хищников и, как оказалось, коллекционирует предметы, найденные в желудках убитых им акул.

— Одна находка совершенно уникальная, — сказал маркиз, — необычайно страшная, но при этом невероятно красивая и экспонатом ее никак нельзя назвать.

Присутствующие на обеде дамы и господа были сильно заинтригованы и попросили показать это удивительное нечто.

— Хорошо, — согласился маркиз, оглядывая присутствующих, — я познакомлю с коллекцией тех, кто уверен в крепости своих желудков, но, рекомендовал бы дамам воздержаться от осмотра.

Однако интрига получилась настолько сильной, что на осмотр коллекции маркиза отправились все. Экспозиция находилась в подземелье, практически в центре винных погребов. Для усиления эффекта хозяин провел гостей по большому кругу, показывая предметы, найденные внутри акул, и рассказывая, где, когда и при каких обстоятельствах акула была убита. Конечно, удивление и смех у осматривающих вызвали сундучок с золотыми монетами и чугунное пушечное ядро. Наконец, маркиз завершил предварительный экскурс и попросил гостей собраться вокруг центрального круглого постамента, закрытого красной бархатной накидкой.

— Внимание! — объявил маркиз и взял в руку пульт.

Бархатная накидка поднялась вверх, открыв вертикально стоящий затененный цилиндр. Снизу включилась мягкая подсветка, и одна из дам вскрикнула. Погруженная в прозрачный раствор, в стеклянном цилиндре медленно поворачивалась грубо отрубленная кисть правой руки. Тонкие женские пальчики были направлены вверх, и на безымянном красовалось золотое обручальное колечко.

— Белая акула, Австралия, Аделаида, — начал маркиз.

— Три года назад. Пятое августа, — внезапно продолжила баронесса Теллер. — Мой дорогой, — обратилась она к мужу, — сними, пожалуйста, перчатку с моей левой руки.

Барон поцеловал обнаженное плечо жены и аккуратно стянул с ее руки белую перчатку. Баронесса подняла вверх левую руку, на которой сверкало обручальное кольцо, и стало ясно, что правая кисть, помещенная в цилиндр, зеркально отражает кисть ее левой руки. Словно предотвращая молчаливое любопытство, баронесса сама решительно сорвала перчатку с правой руки, и вместо кисти обнажился хорошо сделанный биопротез.

— Это было роскошное свадебное путешествие по Океании, — начала баронесса. — Домой молодожены собирались вылететь из Австралии, но судьба распорядилась иначе. Молодой муж улетел один. За сутки до запланированного возвращения она, пристрастившись к серфингу, гоняла по волнам, пока он пил холодное пиво под зонтом на пляже Аделаиды. В какой-то момент она, расслабившись от своего счастья легла спиной на свой лонгборд и принялась вспоминать детали медового месяца, загребая воду ладонями рук. Она услышала крик «Акула», но находясь в безмятежном состоянии на него не среагировала. Ее, истекающую кровью, спас Филипп Теллер, — баронесса прервала рассказ и поцеловала мужа в щеку. — Это Теллер, увидел опасность и крикнул. Это Теллер примчавшись на своей доске, использовал сорванную с головы бандану, как жгут и остановил кровотечение, а потом, соединив две доски, отбивался до прихода спасательной лодки от акулы, одуревшей от вкуса крови. Это Теллер поехал вместе с ней в госпиталь. Он даже не думал замужем она или нет, и, кроме того, — рассказчица усмехнулась, — акула отгрызла руку с обручальным кольцом. Муж навестил ее в госпитале вечером, в глазах его блестели слезы сострадания, он очень сожалел, но дела требовали его срочного возвращения. О своем решении развестись, он сообщил через несколько дней, когда она еще находилась в клинике.

Баронесса Теллер закончила рассказ от третьего лица и обратилась к маркизу де Боде.

– Мне показалось, что Вы хотите вернуть то, что когда-то принадлежало мне. Дорогой маркиз, кисть и кольцо теперь Ваши. Я благодарна этой убитой Вами акуле, и я не задумываясь отдам другую кисть, да, и не только ее, чтобы находиться рядом с этим удивительным мужчиной — Филиппом Теллером.

– Браво баронесса фон Теллер! Браво барон фон Теллер! — произнес маркиз де Боде и господа зааплодировали, а некоторые дамы поднесли к глазам платки.

Книга «Ребро Адама» Михаила Полюги
о любви и ненависти,
но более широко, чем отношения
между мужчиной и женщиной.

Эти противоположные,
но идущие рука об руку чувства
присущи в подлунном мире всему:
мировосприятию,
поискам смысла сущего,
они — духовная составляющая
каждого человека.



ЛИТЕРАТУРНОЕ  ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG



«Влажный ветер»

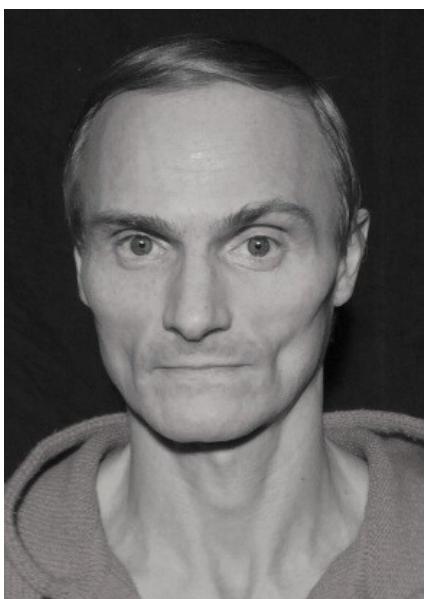
Георгия ТАРАСОВА

Эта книга о МЕЧТЕ.

Если ТЫ ЧЕЛОВЕК, то именно ОНА
тобою управляет, ведет тебя и награждает.
И совсем необязательно ее оформлять
в СЛОВА И ПОНЯТИЯ....

ЛИТЕРАТУРНОЕ  ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

Олег Ващаев. Жили на Выборгской стороне... Стихи



Олег Александрович Ващаев. Родился 14 февраля 1970 года в Норильске. В 1998 году окончил Московский Литературный институт им. А. М. Горького, поэтический семинар Евгения Борисовича Рейна. С 2009 года проживает в Санкт-Петербурге. В 2012 году в красноярском журнале «День и Ночь» и альманахе «Енисей», были представлены стихотворные подборки Ващаева.

Разменялись годы на маэту и стихи. Стихийная неуспокоенность с взглядом на мир и российско-питерский сплин. Внутри — любовь и надежда. Наверное, это — та самая ось в бревнемени, которая ещё не дала утонуть. Такие стихи Олега Ващаева.

Ирина Жураковская

Это тот Питер, что внезапно восстал из музыки Мандельштама и ушел навек в музыку Иосифа?.. или — другой? Другой, да. Это рок-ритм, и это крепость военного спирта, и это болотный блеск зажатых в гранит каналов, и это скелет в шкафу, а шкаф открылся, а он непонятно откуда, из каких времен: может, царский, а может, тарковский. Это тот мрак, что порою ярче света, и тот темп, что задан задыханьем то ли предсмертья, то ли новой жизни. Vita piuova и Нью-Петербург, а может, такое нью-слово, что отдает винно-красными временами Иоанна Грозного, которого играет Мамонов. Стихи Олега Ващаева вырываются из стихов, и это правильно, это справедливо. Это тот путь, что, идя над поэзией или глубоко под ней, глубже сырой питерской подземки, приводит прямо в ее горящую сердцевину.

Елена Крюкова

Tule Clow

Жили на Выборгской стороне,
Глядя на Смольный собор с изнанки.
Изумлялись надписям на стене:
"Русскому графу от юной испанки..."
Пошлости не было никакой.
Остров — без имени. А квартирка —
В доме под флагами, над рекой.
Рельсы с Московского, Монастырка.
"Ты в Калифорнии, я — в тоске.
Очень давно не бывало хуже..." -
пишу тебе щепочкой на песке
на Петропавловском сером пляже.
Эти надписи как одна
в разное время в одном порыве.
Ветер подхватит, качнёт волна
и через час растворит в заливе.

Ехали, ехали... А куда?
Толку с того, что права в кармане?
Линия жизни ещё видна,
а вот машина уже не тянет.

04. 2014

Поджарю луковку, сварю риску.
Поужинаю, попью чайку.
Полста до Питера, на Выборг — сто.
Былое набело пережито.
Не просто набело, а до конца.
Усни, сомнамбула, *comme si comme ça*.
И только прошлое — всегда связной
за всё хорошее — тебя со мной.
CD-шник старенький читает блюз,
а из динамиков по капле — пульс:
мой Ottmar Liebert и мой Keb Mo.
Всё получается всегда само.
Когда мелодию свою ищу.
Когда не многое, а всё прошу.

21.10.2011

Прогорит, как петарда, прожужжит, как пчела.
Пару раз отмахнулся... она и прошла.
Проскочил, не увлёкся, не добрал, не догнал.
Отбрёкался, отрёкся, стрекозёл, маргинал.
До конца изолгался, закрутился волчок.
Соблазнился, поддался на задок-язычок.
Не причастен к масскульту, в шоу не вовлечён,
закулисную кухню обхожу как загон.
За бабло не лабаю. Тока если голяк.
Быстро не вынимаю, потому что — ништяк.
Не поверил — повёлся. Одолжил, задолжал.
Затемнил, раскололся, дилетант-неформал.
Я не в свите, не в свете, не прильнул, не примкнул.
На подхвате в буфете кое-как протянул.
Сердцевина — по факту, а по сути — костяк.
Чаше welcome, но fuck you, если что-то не так.
Маячок проблесковый весь последний кусок.
И бухой участковый подмахнёт некролог.

06. 04. 2014

Что бы ни делал — разбрасывал камни и заметал следы.
Старый коняга хромой и крайний в шаге от борозды.
Комната в питерской коммуналке, гнилостный запашок.
И ничего, что себя не жалко, если упал флагок.
Что-то упущено и вернётся, что-то и так сойдёт.
Что-то закончится и зачтётся ровно наоборот.
А за Шушарами над Московским Пулковским гул стоит...
Адски заманчиво и чертовски просто... Ctrl+Alt+Delete.

01.03.2014

Правильно хорошо или правильно плохо.
Не торопись, подумай, какая связь.
С Ангелом во плоти шутит дитя порока.
Не говори ничего, если шутка не удалась.
Можно жить за чужой счёт, а потом считаться.
Не претендую. Не сдамся и никого не сдам.
Впору плакать всем миром, а не кривляться.
Не слушай прямые тексты, считывай по губам.
На кой чёрт любить одну (одного), а спать с другими?
Племенная порука и солидарность, давай-давай?
Времена меняются. Мы не меняемся вместе с ними.
No pay, no play... farewell, bye.

30. 01. 2014

Himmel Farbe

Небо цвета маренго поздним ноябрьским утром над Петербургом.
Европейскую Луну сменил азиатский месяц.
Уже ничего не значит, не стоит, почти не весит
Слово, брошенное на ветер, вслед за успевшим истлеть окурком.
Я обожаю CAMEL, разумеется, НАСТОЯЩИЙ!
ДАЖЕ "КРУТОЙ" АНАЛОГ ПРОИГРЫВАЕТ ОРИГИНАЛУ.
ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ РАСПЛАЧИВАЕШЬСЯ ТЕМ, ЧЕГО ИЗНАЧАЛЬНО МАЛО.
ВРЕМЯ — ВОКЗАЛ, ГДЕ КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ МИГ — БЕЗОСТАНОВОЧНО ПРОХОДЯЩИЙ.
ВРЕМЕНЕМ И ЗДОРОВЬЕМ ПЛАТИШЬ ЗА ТО, ЧТО БУДЕТ.
ДЕНЕЖКИ И ТАБАЧОК, ПОНЯТНО, ВРОЗЬ.
ТОЧКА ОПОРЫ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОСЬ.
ВЛАСТЬ НАД ТОБОЙ ЗАРАЗИТЕЛЬНО ПЛОХО ШУТИТ.
ГОРОД СТИХИЙНО ЗАЛИТ,
СЕТИ И ЦЕПИ ДОСТУПНЫ ПРИМЕРНО НАПОЛОВИНУ.
ЖИТЕЛИ ЗНАЮТ: ОСЕНЬ НЕ БУДЕТ ДОЛГОЙ.
ПОПЛЫВЁТ И ЗАМЁРЗНЕТ, И ОТТАЕТ ПОД НОВОГОДНЕЙ ЁЛКОЙ.
И НЕБО ДРУГОГО ЦВЕТА, И МЕСЯЦ, И ВЕТЕР В СПИNU.

25.11.2011

Треугольник

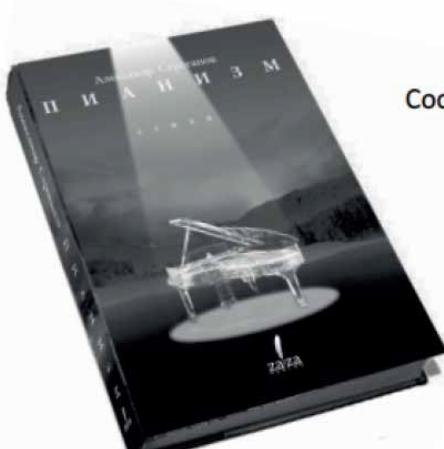
Между набережных трёх каналов — Остров.
Крюкова, Адмиралтейский, Мойки.
Гениально, значит, очень просто:
невский воздух с ароматом моря.
Это Новая Голландия, незримо
и невозмутимо совершенна.
Откровенно, еле уловимо
приоткрыта, неприкосновенна.
Обретение не сводится к утрате,
как хождение в пустыне или в дюнах.
Кто вошёл — остался Бога ради.
Остальных попутным ветром сдуло.

20.01.2012

Птица Божья. И всё. Это я.
Оглянулся и улетел.
Привязался, не стало житья.
Отсиделся, как отсидел.
Мелкий бес приручал, приучал,
разохотил, гордыньку уел.
Сам ошпарил, сам ошипал,
воспыпал, полыхнул, охладел.
И заткнул свой фонтан, наконец,
самоед, отщепенец, гордец.
Гули-гули, кукаrekу, ути-ути, ку-ку и курлы.
На суку не могу и боку,
не люблю похвальбы и хулы.
Что накапало, тем размочил.
Что крошили, то зажевал.
Между грёбаных проскочил.
Что просили — всё передал.
И неважно, куда и кому.
Важно то, что одно к одному.
Проясни как-нибудь, обоснуй
это самое "кукаrekу",
и начнётся такой ататуй,
что ни вору, ни мужику
не покажется мало. Летиши —
и лети себе, не соблазняй.
Голубок, воробышка, крепыш.
Не уверен — не прогоняй.

31.05.2015

Александр Строганов
«Пианизм»
Книга стихов



Составленный из произведений
разных лет **сборник**,
своеобразный
дневник ПРИЗЕРА
международного конкурса
«Золотая строфа» —
от исполненных лиризмом
ранних опусов,
до изысканных,
тяготеющих
к метаметафоризму
поздних стихов.

ЛИТЕРАТУРНОЕ Zaza ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

Гари Забелин. Глен Гулд. Повесть



Гари Забелин (настоящее имя Игорь Забелин) родился в г. Одессе в 1946 году. Мама — учительница, отец художник. Окончил институт связи. Служил офицером в Советской Армии. Работал инженером-разработчиком. В США с 1991 года. Работал инженером-разработчиком в различных фирмах на восточном и западном побережье. Женат, двое взрослых сыновей. Вот уже несколько лет, как пишет прозу.

В этой повести есть несколько ясно звучащих тем-партий: как, впрочем, во всякой сонатной форме. Эмиграция, собаки, семья, музыка. Животное поет вместе с Гленом Гульдом. Эмигрант моет посуду — он счастлив: он устроился на работу. Женщина повторяет мужу один раз, два, три раза то, что, по ее мнению, он не услышал и не запомнил: это как реприза в музыке. А Рахманинов, что в свое время эмигрировал в Америку, и Бетховен, что никакой Америки не видел ни при какой

погоде, через века подают друг другу руки. А над ними стоит и смеется Бах в кудрявом парике, который все знает про советских людей, и про счастливое последнее десятилетие двадцатого века, и про ужасы и горести века грядущего, и это именно Баха будет на гастролях в Бостоне играть сын героя: да, так и должно быть, ведь музыка, как и собака, друг человека.

О нет, музыка — голос Бога, Бог на ее языке говорит со своими детьми...

Повесть Гари Забелина покоряет всюду, в каждой строчке звучащей пронзительной нотой человечности. Эта щемящая нота сродни ветру, шуму дождя и звону капели — вечной музыке природы... Все, что с нами происходит, уже записано на ночных станах черными букашками нот и уже спето лаем и воем наших верных собак, быть может, знающих о нас больше, чем мы сами.

Елена Крюкова

Глава 1. Гизела

Афганская красавица Гизела сверлила взглядом глухую дверь изнутри. Она твердо знала, что вот прямо сейчас дверь взлетит кверху и перед глазами появится летящий на сумасшедшей скорости красный искусственный заяц. Больше всего на свете Гизеле хотелось догнать этого зайца. Догонит, и потом будет стоять на пьедестале рядом с другими двумя афганами, только выше! Они будут посматривать на нее снизу и украдкой — чтобы она не увидела, и фотограф будет снимать, но в основном ее, но чтобы Она в этом не сомневалась, что именно ее и, что важно — тоже снизу. Других афганов тоже, но лишь поскольку они рядом... Впрочем, никто не знает, о чем в точности думала афганская красавица Гизела. И какое это имеет значение для того, кому через десять минут стоять на пьедестале?

На последней дорожке стоял молодой красавец — афган Глен. Перед ним тоже была глухая дверь, но на дверь Глен внимания не обращал. Глен глядел налево в сторону, где стояла Гизела. Их разделяло пять других перегородок да еще по борзому за каждой. К тому же афганы не отличаются особым чутьем но, среди океана запахов, Глен пытался не упустить этот непо-

вторимый на всем свете запах Гизели. И его афганская морда была в точности направлена на ее хвост...

Удар стартового колокола, взлетевшие к небу заслонки клеток и возникший над головой искусственный заяц — все это случилось в одно и то же мгновенье и без задержки шесть афганских борзых рванулись вперед со скоростью урагана — улетели, как подхваченные смерчем, не оставив на старте и следа. Впрочем...

На старте даже не шевельнувшись, стоял афганский красавец Глэн. Его горящий взгляд был устремлен на то место, где еще мгновение назад была Гизела. Но место было пусто, а ее тонкий запах быстро улетучивался... Прошло несколько секунд прежде, чем до Глэна дошло, что красавица бегуны пролетела уже полкруга. Глаза Глэна зафиксировали Гизелу уже на противоположной стороне стадиона и, лишь только тогда афган сорвался с места. Глэн полетел вдогонку! Глэн игнорировал беговые дорожки и раздельительные линии, наперерез, через все поле...

Стадион ревел и визжал от смеха в едином визге. Тон визга тоже быстро менялся и вскоре перешел в восторженный, почти истерический гул... На поле бегуны разделились на две неравные группы. Красавица Гизела возглавляла гонку, практически вися на хвосте у искусственного зайца. Основная группа отстала, как минимум на 50 метров. Но, вслед Гизеле нос в хвост, казалось, не прикасаясь к земле, парил Глэн, не отставая, но и не опережая, опять-таки, нос в хвост. И всем на трибунах было видно, что у Глэна значительный запас в скорости, но это его не интересует! Трибуны продолжали неистово поглощать зрелище...

В тот день Гизела стала чемпионкой, впрочем, как обычно, а Глэн пришел вторым. На пьедестал почета по понятным причинам он не попал. Пашенька, хозяин Глэна, ждавший возле финишной черты, бросился обнимать пса. Вокруг порхал тренер, внушавший Паше, что у этого пса большое будущее, чтобы он не перестал посещать тренировки. Тренер что-то быстро писал в блокноте и спрашивал и непрерывно трещал о том, что ... для пса нет предела, такой запас, чемпион, будущее, деньги, слава. Но Пашенька только счастливо обнимал афгана, а тот все время увертывался, пытаясь не потерять из виду Гизелу, которую чем-то поощряла, как говорят собачники, какая-то женщина.

А в следующее воскресенье состоялась лишь рутинная тренировка — не соревнований, не призов и... Гизелу не привезли. Когда заслонка подскочила над ящиками, открывая афганам путь к улетающим зайцам, афганцев со стартовой черты как сдуло. Но Глэн, вместо того, чтобы бежать, характерно принююлся, так на всякий случай, а потом разыскал взглядом на трибуне Пашеньку и неторопливо затрусиł к нему, перепрыгивая через скамейки для зрителей. Скамейки были низкие, и Глэн перемахивал их с полуметровым запасом, отчего выглядел очень смешно. Потом подошел тот же самый тренер и сказал, что из пса ничего не выйдет. Почему, — спросил Паша? — У нас гонка за зайцем, а не за суками. Неперспективный, — добавил тренер...

Паша с Глэном вернулись домой. Дома было очень грустно. А потом позвонил папа из Америки и сказал, что в Союзе произошел государственный переворот. Папа был очень взволнован. Но связь, как только папа произнес "переворот" прервалась... — подслушивали... и папин голос исчез, как будто его и не было. Паша выглянул в окошко. Там сияло солнышко, и зелень чуть разбавила золото — в Одессе начиналась осень. Было все спокойно в природе за окном и никакого переворота видно не было.

Глава 2. Эмигранты в Законе

Это было счастливое время. Советы уже вывели войска из Афганистана, а Штаты ещё не ввели. Советы сравнительно легко выпускали убегающих от них граждан, а Штаты сравнительно легко их не выгоняли.

К тому времени Максим получил разрешение на работу в Штатах (*work permit*), который почему-то отождествлял с немедленным получением работы. Работы здесь как раз не было. Это общество болело законной для него рецессией. И, Максим не мог знать, что страну очень скоро ждет необыкновенный подъем — интернетный взлет, на котором, как на корабле будущего из Соединенных Штатов работа улетит на Восток и начнется генеральное падение. Стояло последнее десятилетие Двадцатого Века. Такое же обещающее и мирное, как последнее десятилетие девятнадцатого. Совпадение не настораживало.

Максим искал работу и в своих поисках мигрировал с севера на юг восточного побережья. Начав со штата Main, он добрался до Pencilvania Philadelphia. Английского он пока не знал, так что работу приходилось искать неквалифицированную, и он ходил пешком по холодному и пыльному городу, разыскивая надпись “Help Wanted”, но его помочь никто не хотел. Он пришел из другого мира, где помочь можно было — решить задачку, то есть дать списать, поднести девочке из класса портфель, подсадить старушку в трамвай ну и так далее... И уж во всяком случае, бесплатно. Кроме того, Макс пришел из НИИ, где на триста сотрудников лишь один знал английский. На этого одного смотрели со смешанным чувством восторга и подозрения. Но, но — это был не Максим.

Так прошло 2 месяца. Максим, вооруженный разрешением на работу, по десять часов в день слонялся по городу в надежде увидеть заветную вывеску о том, что он кому-то нужен, а вечером возвращался к друзьям, как побитый помоечный кот, таким же безработным, каким ушел с утра. Все же о вывеске “Help Wanted” Макс знал лишь понаслышке, и уже начал сомневаться — может, друзья что-то перепутали и надо искать другие английские слова. Друзья, у которых по-счастью работа была, периодически просили Макса написать “Help Wanted”, боясь, что он мог уже забыть — на что следует обращать внимание. Максим писал уверенно, но каждый раз спрашивал — может надо искать синонимы. Друзья говорили — синонимы не нужны, эта вывеска продается во всех магазинах. Другая не продается...

Help, Помощь! Такое ясное, благородное и однозначное понятие, где не замешана никакая личная выгода, а если она замешана — это двойной стандарт, а где двойной стандарт там подлость, двуличие. Но здесь это нормально и не так, как в том мире. И нет подлости, хотя слово справедливость почти не звучит. Мир справедливый и реальный одновременно и жизнь по его законам — это совершенно другая жизнь, о которой Максим лишь думал, будто хоть что-то понимает в ней. Пока не понимает настолько, что даже поначалу подумал, что это ошибка в англо-русском словаре, впрочем — в англо-советском...

Раннее утро первого високосного дня Максима было восхитительно, в меру морозно и ветрено, но главное... Еще вчера днем ему заплатили за прошлую работу, где он дежурил по ночам у постели человека, который упал с высоты 40 футов на бетон строительной площадки и был пока жив. Был wanted человек с русским языком, хотя непонятно зачем — первое, что потерял бедняга — был язык, и говорить тому было нечем. Уже после Макс узнал, что жена бедняги не знает английского. “А могут позвонить из страховой компании”. Английского Макс тоже не знал, но на job interview та

же жена экзаменовала Макса и решила, что он справится за пять долларов в час. У нее был опыт. Прежде, она уже приглашала человека на пять долларов, тоже с университетом, так тот справился. На вопрос Макса, с каким факультетом, она не знала, что ответить. Может быть с факультетом английского, подумал Максим, но решил вслух не говорить. Он вдруг понял, что эту женщину и его — Макса что-то объединяет, и это что-то было 5 долларов в час — она не могла дать больше, а он не был способен претендовать на большее.

Ночами Максим сидел с раненым и пытался помочь ему и помог, потому что через неделю выяснилось, что страховочной компании, в которой тот работал, ничего не удастся сделать, кроме того, что оплатить его госпитальное содержание. Неделю, что Макс сидел с раненным, компания пытаясь выкрутиться, чтобы этого не делать... Собственно, потому Макса и наняли, на время, пока компания соображала, как надуть беднягу.

Для Максима это был первый положительный опыт познания новой страны. Пострадавший, частная компания, старающаяся его обмануть и государство, которое его защитило! И, Макс выучил первый лозунг на английском: "God Bless America"...

Невиданная до этого куча долларов — сто пятьдесят, была толком потрачена на подержанный велосипед, теплую куртку и... замечательную книгу по схемотехнике, то есть по специальности на английском языке. Эту книгу Максим читал еще дома, но в переводе. Покупки были прекрасные — теперь можно будет изучать терминологию по специальности, не заглядывая в словарь, но это завтра. Сегодня поищем надпись "Help Wanted", пускай в другом городе, пускай в мороз. Максим даже хотел сказать: God bless the coat and... он долго припоминал — vehicle для средства передвижения, но решил по пустякам Бога не беспокоить...

Он поехал по той же улице, где ничего не нашел вчера. Он остановился на светофоре и пересек перекресток на зеленый. Сразу же за перекрестком улица поменяла название. Здесь несоветская традиция. Здесь улицы не переименовывают. Здесь города закладывают и они растут, и когда города срастаются, улицы стыкуются, но никто не меняет прежде присвоенные названия. Поэтому, можно ехать вдоль по улице не сворачивая и со временем привыкнуть к тому, что она часто меняет название. Калифорния ведь не всегда была частью USA и, когда она стала, никому не пришло в голову менять вывески на улицах, придуманных мексиканцами.

...Улица сменила название — транспортное средство Макса въехало в другой город. Он проехал по другому городу не больше мили. Он ехал, нахваливая тёплую куртку и жизнь, значительно лучшую, чем ещё вчера. И вот так... Максим наткнулся на еще одну вещь, которой ни разу в жизни не видел собственными глазами. То была надпись: "HELP WANTED" на той же железной табличке, которая в действительности продается во всех магазинах... На самом деле та! — "HELP WANTED". Встреча была столь неожиданной, что Макс едва не свалился с велосипеда. Он не свалился но, во время традиционной балансировки всеми конечностями, он все — же стукнулся о руль зубом, вставленным в зубном кооперативе за два дня до отъезда с Украины.

"Хорошо!" — первое, о чем подумал Макс, сплюнув три раза и обнаружив, что кровь больше не идет. И тут же, после констатации достал бумажку из левого кармана куртки с надписью "HELP WANTED", сверил, и опять констатировал — "Оно!".

Никогда еще сердце так не колотилось. Это был ресторон. На название Макс даже не взглянул — он искал любую работу. Дома он был инженером

и автором 30 патентов. Когда инженер с таким количеством патентов оказывается на интервью в дешевом ресторане, его уже не мучает позор за бесцельно прожитые годы или какой-либо другой позор... У него даже нет мучительного чувства выбора — любая работа или... или то что сейчас... жить у милых друзей... дорогих людей, которые кормят Макса, недокармливая своих детей. Он еще раз взглянул на вывеску и потянул ручку двери...

И попал в затемненный коридор, какой-то вестибюль — тоже затемненный, а потом ресторанный зал — и здесь ни души, скучная дежурная подсветка, почти ничего не видно.

Максим пошел почти на ощупь вдоль рядов столов и, лишь повернув в проход, заметил... где-то около задней стены горела настольная лампа. Он пошел на свет. И, еще издали увидел... за столом сидела красивая женщина лет сорока. Он шел на свет этой женщины, судорожно стараясь освежить весь запас английских слов, которые казались уместными для случая. В руке у него было зажато объявление: "Help Wanted", спешно переписанное им же на обрывок бумаги, так, на всякий случай... если забудутся слова. Красивая женщина оказалась хозяйкой этого греческого ресторана "Coffee Forest". От попытки вспомнить сразу все слова, которые он знал Макс вспотел...

Его словарный запас не понадобился вовсе. Женщина насмешливо взглянула на Макса, уверенным движением забрала из его ладони объявление, упомянула что-то типа 3 dollars an hour и повела на кухню. Кто-то из ее работников вкратце объяснил Максу, что и как нужно делать. И ему казалось, что он понял абсолютно все. Его взяли на работу, и Макс, вполне счастливый, собирался выглянуть в зал, где за дальним столиком под старинной настольной лампой он рассчитывал увидеть эту красивую женщину, такую насмешливую и деловую и... так сразу понявшую, что ему нужна работа и он — Максим, именно тот человек, который не подведет. И Макс выглянул...

Красивой женщины он не обнаружил, но зал... темный и пустой еще несколько минут назад, теперь сверкал яркими огнями и был тут набит посетителями. "Американцы не могут себе представить, как в одном месте, в одно время может собраться 99. 6% людей" — вспомнил Макс Голос Америки насчет советских выборов. Это была болтовня — могут! Оказывается!

А еще через несколько мгновений на кухню, откуда наблюдал Максим, принялись заскакивать официантки. Это был последний раз, когда удалось удовлетворить общее любопытство, на тему: "...а что вы там делаете?". Максим выглянул в зал, где официантки исчезали. Там они двигались быстро и грациозно как модели на подиуме, но, едва вернувшись в моечную, точно так же, как модели сбрасывают с себя платья и надевают новые, сбрасывали на Макса грязную посуду, получали чистую и... убегали от него в зал, мгновенно возвращая себе все атрибуты моделей. Макс оставался один, как Магомет, к которому пришла гора... посуды.

Её следовало мыть, и как можно скорее. Прежде всего Максим воткнул washer в сеть, подумав — что, не могли его подключить раньше? Бегло прочитал напечатанную на washer-е инструкцию, пару слов перевести не удалось, ну ничего. Стряхнул в мусорник остатки пищи (как его учили, это он понял) и одноразовые пластмассовые ложки и вилки (этого он не рассыпал, но это было очевидно). Загрузил машину грязными тарелками, насыпал сухого порошка... Куда надо! Отлично! Закрыл крышку, вздохнул и запустил машину. Машина довольно загудела. Работа пошла. Понятно, около получаса делать будет нечего... Платят, конечно, мало, но можно и подумать о своей непростой жизни — время есть... Максим так и сделал, принялся думать, предварительно вдохнув влажный воздух кухни. Посторонние

мысли тут же полезли в голову, и можно было их не гнать. На самом деле — не подпевать же dishwasher-y.

Максима сразу же потянуло на исторические заключения. Собственно, последние месяцы он из этих заключений не вылезал. Он попросил у Америки помочи оттого, что его преследовали “органы” в Союзе. Максим знал, за что именно его преследовали, но здешний лоер ему объяснил, что за это политическое убежище не дают. А дают за другие преследования. Преследования, за которые дают, определены неким списком, даже если они просто были выдуманы, а за те, что не выдуманы, не дают, потому что другие здесь просто никого не интересуют и протянул Максу этот список. Тот взглянул на список и лишь тогда начал понимать, что другим преследованиям он тоже подвергался, но как-то раньше об этом не думал. И тут лоер сказал — Ты ведь хочешь получить убежище в Америке, а не у себя в голове. Это были разные вещи, Макс как-то сразу почувствовал. И вот, эти-то разные вещи Максим и принялся обдумывать и сопоставлять под мерное гудение dishwasher — а.

Глава 3. Разные вещи

Гудели краны с горячей водой, обволакивая кухню паром и заслоняя любые другие звуки, лишь dishwasher, стоящий рядом отчетливо шумел, заливая воду, слиная воду, подключая горячую и блокируя холодную, блокируя горячую, заливая холодную....

— Он прав, я хочу получить убежище у себя голове...

— Как они смогут меня понять, если для них я по национальности не еврей, не русский, а украинец? Им так удобно!

— Зачем украинцам ненавидеть жидов, разве им мало москалей? Я, наверное, жидовский москаль, но какой же украинец...

— Хотя, они же вернули пароход с евреями в Германию — чтобы не сердить Гитлера... да, как они быстро изменились! Правда, лоер сказал, американцы сейчас могут себе позволить это. Странно. Станный лоер... Сейчас могут, а потом не смогут опять?

— Существует ли более привлекательная идея, чем Окончательное Решение? Мартин Лютер ее сформулировал, а потом поджидал на небесах Гитлера, видимо с надеждой... и напрасно — тот не смог ее довести до конца... Кто-то помешал? На земле не помешал никто — ни Штаты, ни Союз. Может, немцы взялись не за свой департмент.

— Если бы на Украине задумали окончательное решение... они бы начали с медали за спасение России от жидов... А потом бы отказались... Зачем спасать Россию с ее москалями ?

— Вообще, интересная задача управления. Как управляет общество, в отсутствии Козлов Провокаторов и Козлов Отпущения? Похоже, здесь научились... надо же посмотреть до депортации.

— И все же чье авторство у этой Идеи? Творить зло очевидное во избежание зла еще большего, но воображаемого?. Воображаемого лишь Создателем и может еще несколькими... и убедить остальных, что они сами все это придумали... при демократии надо убеждать большинство...

— Может ли быть мораль в основах антисемитизма?

— Не основа ли это творения и не Создатель ли автор антисемитизма? Но тогда есть ли будущее у Штатов?...

... уже два раза забегали девушки-официантки, сбрасывали подносы с объедками на столик, стоявший рядом с моечной машиной, с интересом и каким-то удивлением бросали взгляды на Максима и тут же ускользали в

зал, на ходу перестраивая тяжелую походку уставших людей на скользящие манекенщиц... "Для кого они стараются?" — подумал Макс и тут же снова увидел красивую гречанку — хозяйку ресторана... Тема манекенщиц на этом была исчерпана и, голова Макса непроизвольно вернулась к "главному".

- Интересно, существовали ли у них такие темы диссертаций:
- Гуманизм погромов.
- Голодные бунты, как альтернатива погромов.
- Известны ли в истории времена, когда не было антисемитизма? Существовало ли тогда общество? И, интересно как же оно могло существовать?
- Я не знаю как, но здесь я его увидел! Или это временно?
- А теперь вернуться? Добровольно покинуть страну, научившуюся процветать без козлов отпущения? Для чего?
- Чтобы стать козлом опять? Добровольно?
- Допустить, что никогда эта страна не будет домом моего сына? Потому что я еще чего-то не понял...?

Так, закутанный водяными парами и пронизанный специями греческой кухни, под мерное гудение "мойки", хаотически размышлял Максим, аж до тех самых пор пока тот "мойка" совершенно неожиданно вздрогнула и замолчала.

Максим, взглянул на часы, вроде, слишком рано... Он перевел взгляд на выключатель и заметил там руку, а боковым зрением засек всех давешних официанток стоящих в ряд с подносами грязной посуды и глядевших на обладателя этой руки. Макс тоже проследил. Это был парень лет 20, высокий и красивый, похожий на владелицу ресторана "Kafe Forest". Лицо его было окрашено возмущением, какого Максим еще в жизни не видел. Макс социально подрос в одно мгновение. Потому, что понял — прежде если он видел возмущение, то это было что-то невсеръез, как-то "Глубокое возмущение Советских Людей", а здесь был ужас, этого как раз Максим еще не понимал — ужас потери долларов из-за Макса конкретно... Это был сын хозяйки!

"Ну, ты не знаешь языка, обезьяна, но тебя же родила женщина!" — орал тот! Макс понимал через слово, но не понимал, почему парень так нервничает. И кому он все это кричит. Было странно. До того, как Макс понял, что речь идет именно о нем, было лишь некоторое любопытство, которое в мгновенье уступило место натуральной обиде. Так же с людьми не разговаривают вообще! Какая разница, со мной или с другими. Оказывается, есть такая разница...

Максим из ситуации выбрался. Он взглянул на орущего парня и сразу увидел, что злобы в его лице уже не было. А на лице было нарисовано безвыходное положение — ресторан остановился, нет чистой посуды, еще вчера мама сказала — иди и купи запас, так на всякий случай, что-то может застопориться. И, вчера сын взглянул на нее свысока, ну просто потому что был выше ростом, да и английский у него был лучше. Он даже пожал на нее плечами... А теперь он не знал, что делать, и орал как белуга.

В это время Макс принимал решение и... принял. И теперь все, что осталось сделать — донести это решение до мальчишки, попросту перевести с русского на английский. Фраза должна быть короткой и точной, и ее нужно разделить с этим ребенком немедленно. Только это спасет положение! Наконец, фраза была сконструирована, и Макс сделал резкий шаг навстречу мальчику. Протянул ладонь к его рту, и, как только мальчишка на мгновение замолчал от ошеломления, воспроизвел спасительную фразу: "OK, I am stupid. Show me, what I am supposed to do" (Хорошо, я — идиот. Покажи мне, что я должен делать!) после чего Максим убрал поднятую ладонь от

лица парня, почти потерявшего рассудок от наглости старого "мойщика". Еще четверть секунды мальчик-хозяин выходил из оцепенения и... выйдя, начал действовать.

Он выдернул вилку мойки из розетки, открыл дверцу, обнажив всю посуду, снял со стенки комнаты длинный зеленый шланг с наконечником, какими поливают сады и направил могучую струю воды на тарелки и стаканы. В мгновение ока оба стали мокрыми от брызг, и мальчик побежал из моечной, видимо, переодеваться. Тут же подскочил повар с передником и "на пальцах" объяснил Максу, что это для тебя, а одна из официанток сунула Максу полотенце и показала, что оно для посуды — тоже на пальцах. И здесь Макс понял, что английского у него нет вовсе. Его не понимают. Он уже многое понимает (так он думал), а его не понимает никто.

Тем не менее, уже через 15 минут посудный затор был ликвидирован и первая официантка выпорхнула из моечной в зал, чтобы снова стать моделью, источающей сногшибательный запах парфюмерии, свежеподжаренной картошки и куриных крылышек. Последнее Максим оценил — он давно уже ничего подобного не нюхал. Насквозь промокший от брызг шланга и мокрой посуды, теперь он, тем не менее, все делал правильно. Он... стряхивал в мусорник остатки пищи и одноразовые ложки и вилки, и принимался мыть тарелки и стаканы. Работа пошла правильно и, но очень быстро Макс понял, что ничего столь монотонного он никогда в своей жизни не делал. И это продолжалось вечно — так казалось ему.

Прошло уже порядком времени, хотелось взглянуть на часы, но часов на стенах не было, ну хотя бы прикинуть, когда все это кончится... Макс быстро сообразил, что самым слабым местом в "технологии" была сушка полотенцем. Руки отваливались, и все шло медленно. Он обнаружил, что из моечной воздух вытягивается одним стационарным вентилятором и другим, переносным, но тоже очень мощным. Макс, не говоря никому ни слова, переключил переносной вентилятор в другую розетку возле мойки и развернул его в противоположную сторону, так что теперь вентилятор ничего не вытягивал, а просто сдувал пылинки воды с вымытых тарелок, так что вся груда через пять минут была сухая и готовая в пользование. И только после этого, Макс почувствовал, что процесс пошел настолько налажено, что \$3 в час не так уж плохо, что в следующий раз он наденет передник прежде, чем намокнет и будет сухим весь день.

Сзади снова появился молодой хозяин. Боковым зрением Максим ощутил, что тот рассматривает приспособленный им вентилятор и очень доволен таким развитием событий. Так он постоял и понаблюдал, и вдруг исчез на полчаса. Молодой хозяин снова объявился, деловой и сияющий, со вторым вентилятором, идентичным первому. Он тут же воткнул сдуватель в розетку, а старый отнес на место. Мальчишка постоял немного, удовлетворенно наблюдая новый технологический прорыв, и вдруг заметил, что старый "dishwasherer is bitterly defiant" (Старый посудомойщик зверски упрям.) Все-таки он идиот, этот русский! И физиономия молодого хозяина перекосилась съзнова. Он опять вспомнил обезьяну, и что мать Максима была женщиной (видимо это было стандартно). Но, Макс уже понимал, что, если у хозяина перекашивается физиономия и он ничего с этим не может сделать, имеется какая-то причина. И опять протянул ладонь к лицу молодого хозяина со словами "what else?" (Что еще?)

На этот раз сын хозяйки не мог понять, как можно быть таким идиотом, который, перед тем, как сполоснуть тарелку струей холодной воды, намыливал ее мылом, на что терял время и хозяйскую воду, которая стоит денег и немалых. — Ну, прости, — думал Макс, — что мыть посуду можно без мы-

ла, моя мать мне действительно не говорила. Еще Максим почувствовал, что у него сильно повысилось давление, и продолжает двигаться вверх, но выбора в тематике у него не было. Он продолжал делать, что ему велят. Темп нарастал. Быстро наполнялась бочка с обедками и он тянул бочку на улицу под почти истерические вопли хозяиного сына: — Faster! Faster! Максим пока еще переводил в уме каждое слово, но тут вдруг неожиданно почувствовал, что переводит почему-то на немецкий: — Shneller! Shneller!...

На улице было слякотно и с морозцем, но бежать назад было легче — бочка была пустой. По возвращении к посудомойке Макс снова заставал там хозяиного сына. И было непонятно, почему бы сыну самому не побыть посудомойщиком, вместо Макса. Ну, допустим, он тренирует Макса — тогда это оправдано. Но Макс взят лишь на сегодня... не логично. И тут Максим, ничего хорошего не ожидавший от хозяиного сына, увидел, как тот, взглянув на часы, сказал смягченным голосом — иди обедать, прошло пять часов. Максим, привыкший недоедать, пропустил мимо ушей по поводу обеда, но впал в состояние восхищения собой — он бы никогда не поверил, что сможет выдержать пять часов в аду. Потом, до него дошло про обед и он спросил: — куда? — Парень показал на стол возле плиты за которой орудовал повар — тоже грек, как и хозяйка.

Повар изобразил юмор на лице, подобно тому, как это делала хозяйка, взял тарелку из посудомойки, извлек откуда-то куриную, кем-то обглоданную куриную ножку, положил на тарелку и протянул Максу. Макс лишь на мгновение глянул на "блюдо" и тут же перевел взгляд на глаза повара. Максим знал, что хорошо владеет своим лицом, и что его губы очень выразительные, но сейчас их выражение было неподвластно Максу. Еще перед тем, как Макс отодвинул тарелку левым мизинцем, он заметил, что повар резко побледнел, а потом принялся повторять: — joke, it is just a joke, it is just a joke..., (это просто шутка, это шутка, это шутка) накладывая на новую тарелку две только что зажаренные куриные ножки поверху пахучей картошки... В этот самый момент Максим думал, что друзья, которые приютили его, имеют 4 детей, которые недоедают, потому что они только 2 года в Америке, и Максиму следовало бы принести в дом хоть какие-то деньги. Он знал, что эти милые друзья никогда его не попрекнут, что он ничего не приносит. И, Максим просто любил этих друзей и их детей... А может быть, чувства были совсем иные, потому что перед глазами встала Серафима из Бега, что по Булгакову, как раз перед своим походом на Перу в Константинополе?

И все же повару, наверное, повезло. Макс принялся обедать и уже жуя продолжал думать о поваре... — так того научили да и только, кажется тот даже не пытался никого унижать, похоже, он просто не умел шутить иначе.

На обед отводилось 10 минут. Работа закрутилась опять, часа два хозяин сын вообще отсутствовал, казалось, кровяное давление замерло на какой-то высокой отметке. Снова обедки, пластиковые ложки, струя прохладной воды, сушка, и опять обедки. И только Максима начало посещать ощущение стабилизации на границе физического обморока, как вдруг, неожиданно, в кухню ворвалась толпа — хозяин сукин-сын, сама хозяйка и неизвестный старик, очень похожий на обоих. В руках у старика была одноразовая пластиковая вилка, которую он, казалось, пытался вонзить в нос Максиму. Все трое что-то орали. Вилку Максим отвел мизинцем левой руки, старик побледнел, как давеча повар. Но работу Макс потерял! Это он понял на интуитивном уровне, еще не разобравшись, что именно не так...

Не так оказалось — одноразовые вилки-ложки, их предполагалось мыть! И подавать клиентам опять. Максим, напичканный свободомыслящими со-

ветскими газетами времен перестройки, считал как раз, что такое делают только в советских столовках...

Красивая хозяйка — мать сукина-сына остановила уходящего Макса, дала ему подписать бумагу и протянула 27 долларов. Он отработал 9 часов! Он шел к выходу. Ресторан был пуст, в зале сидели давешние официантки. Одна даже дружелюбно помахала рукой. Уже на улице Макс догадался, что он не потерял работу, потому что ее и не находил. Просто ресторан был уже закрыт.

На улице моросил дождь вперемешку со снегом. Так и не удалось высокнуть, рубашка и тело были мокрыми...

Милые друзья ждали его с ужином и горячим чаем, тепло разливалось по телу и душе. Как оказалось, пока Максим шел домой, звонила хозяйка ресторана "Kofe Forest" — она хотела Макса на завтра опять — то ли он ее устроил, то ли больше никого не нашлось. Максим уже начал прихлебывать крепкий чай, как вдруг ощутил боковым зрением, что его друзья чего-то от него ждут. Было какое-то напряжение. "Взгляни почту" — тихо и осторожно сказал друг. Максим обычно оставлял на после ужина то, что на английском. Но, он перевел глаза с конверта на друзей и увидел в их глазах нечто прежде незнакомое. Некое настойчивое ожидание... и Макс распечатал конверт...

Это был оффер (предложение работы)... Две недели назад он ездил в столицу на интервью и провалил его, несомненно — с ним нельзя было говорить, потому что они хотели говорить на Английском. Но они дали ему письменный часовой тест. Максим написал его на 100%. И, вот теперь выяснилось — они решили дать ему работу. Фирма приносila свои извинения, что не может в настоящее время предложить больше двадцати долларов в час — в связи с языковыми проблемами, но со временем... Лед тронулся!

Глава 4. Максим в полузаконе (рассказанная Максимом)

Пришли друзья друзей. До сих пор я о них только слышал, а теперь увидел — молодая пара, счастливые и красивые. Мои друзья звонили им час назад. "...только водки не надо, Максим привез Столичную из Одессы".

Стол был весь завален закусками. Ничего подобного я прежде не видел — красота! Поводом был мой офер.

Что-то я не чувствовал себя именинником, возраст что ли? Нет, конечно — все еще за океаном. Говорили же КГБ-шники на допросе: — у тебя есть выбор. Или вы с женой перестанете распространять, или оба пойдете в лагеря, а вашего... — КГБ-шник взглянул в шпаргалку... Пашеньку ... ваш ребенок не увидит вас обоих в ближайшие 5 лет. Мы, единогласно выбрали Пашеньку. Так мне тогда казалось. Лагеря мы избежали. А Пашеньку я не вижу уже больше года. Сколько еще? Год... или те же 5?..

Виктору в КГБ задали тот же вопрос. У него было трое. Он выбрал лагерь. Лишь теперь их семья в Германии. Те же 5 лет! Но после лагеря... У коммунистов были пятилетки... Здесь открывают бизнесы. Говорят, они начинают работать не раньше, чем через 5 лет... Что-то меня не радует эта цифра, ее видимо спустили очень свысока...

Вдруг гостей и хозяев что-то заинтересовало. Обычно, когда пьют, говорят в основном о себе, а тут стали говорить обо мне. Я прислушался, все обсуждают бутылку столичной, что я привез год назад... Внутри оказалась чистая вода — то ли спирт испарился, то ли его никогда там не было. Друг друзей уже приготовился ехать в ближайший супермаркет. Я полез в карман за двадцатью семью долларами... Все смеялись, похоже, они уже знали о моем вчерашнем "заработка". Друг друзей сказал, что двадцать семь дол-

ларов мне завтра понадобятся на автобус и, все же сматался в супермаркет, так что через 15 минут водки на столе было достаточно...

За столом выяснилось, что друг друзей тоже учился у Берты Иосифовны в той же школе, что и я.

— А почему она тебя доставала? Ты же нетипичный.

— Так сложилось, она знала мою мать. Мама была типичной, так что Берта Иосифовна чувствовала, что мне понадобится именно английский. Но мне было 12, и я ничего тогда не знал.

— Ну, английский мы все получили, спасибо ей.

— Знаешь, получает берущий, я не получил.

— Это как?

— По глупости, наверное. Она мне говорила, что мне этот английский точно нужен. Знаешь, может она говорила это всем, но я был уверен, что она обращается непосредственно ко мне. Понимаешь, я не мог понять ни английского — кажется, я искал в нем логику, ни почему он мне понадобится. Я ощущал это как какое-то навязывание... Берты Иосифовны... Я не знаю, у старушки были огромные серые глаза, необыкновенно красивые серые глаза, такие, что на лице не было морщин, ну я их не видел. Я никогда не соскальзывал с этих глаз даже на окружающее лицо. У меня до сих пор осталась память об этом ощущении... Можно сказать, что моя душа получала указания напрямую... — ну о том, что я должен учить английский. Но, я даже не понимал, как это можно, если я не врубался в логику предмета. Не знаю, видимо, я искал логику в протоколе перевода и не смог сформулировать, что язык — не математика...

Понимаешь, с другой стороны я не мог ослушаться этих глаз... и не мог подчиниться...

Мои родители поняли, что это — конфликт, и очень жаль, но меня перевели на немецкий, в соседний класс и... В последующие годы никто ко мне не приставал, что без немецкого я никак не обойдусь...

— Короче, ты приехал без английского?

— Ну, не совсем, я знал слов пятьдесят на момент перелета.

— Ты имеешь в виду 1, 2, 3 и т. д.?

— Примерно!

— Так ты даже не ходил в ОВИР?

— Я даже не писал заявления на выезд в государство Израиль на постоянное место жительства, хотя уже знал, что подлежу...

— Ты отлично звучишь, у тебя лишь слабый акцент, правда, и словарный запас у тебя тоже слабый...

— Акцент постепенно уйдет, у меня не будет акцента. Впрочем, это не важно.

— Нет, это очень важно, здесь за все надо платить, за то что нет акцента тоже, — сказал друг друзей задумчиво, грустно и без назидания...

Глава 5. Четыре года спустя. Високосный зверь

Художник создает образ, извлекает из мозга и из сердца все дарованные и приобретенные эмоции, компилирует их, показывает друзьям, декомпилирует снова, добавляя краски из души и, услышанные от знакомых, тестирует созданный образ, пока еще упрятанный в воображении и видимый лишь автору. Он закодирован в этюдах, разбросанных по мастерской и никому ничего не говорящих, кроме самого автора, потому что образы на этюдах и картонках открываются с помощью password-да, все еще с неким страхом, припрятанным в душе. А душа, не останавливаясь, тестирует весь

этот материал, пытаясь ответить на страшный вопрос — интересно ли это кому еще кроме автора. И это трудноподъемный процесс тех, кому создателем отпущен талант....

Бывает создателю не до ожидания, и он начинает развлекаться сам, тогда художник получает образ в подарок и лишь запоминает этот подарок, чтобы перенести на холст. Или фотограф-любитель нажимает на кнопку — раз и все. Окажись лишь в нужное время и увидь лишь нужное место. Пришел — увидел то, что подсунули. Еще где подсунули... В зале ожидания Сан-Францисского аэропорта, перед закатом солнца зверски пробивающего свои лучи сквозь стекла аэровокзала. Взглянешь на окно, и кажется, что сейчас выжмет сетчатку глаз, силуэты людей в контражуре становятся манекенами и не отключишь ортодоксального иудея от консервативного евангелиста. Даже мусульманка в парандже похожа на бородатого старика-сикха в чалме. Не образы, а плоские муляжи. Лишь солнцу ясно, кто вокруг кого вертится. И вдруг на одной из скамеек, чуть подальше от стекол аэропорта, в глубине зала, поближе к выходу прибывающих международных пассажиров... среди икс-лучей обесцвечивающих все... все ли?... что это? Пшеничная голова красавицы, сидящей на скамейке в одиночестве и глядящей в сторону взлетных площадок и солнца, почти готового уйти за горизонт. Попав на прекрасную головку, луч подсветил ее, да так причудливо, что превратил во вторичный источник света, не обезличив формы вовсе, как сделал это со всеми другими объектами. Несколько фотографов-любителей тут же, как по команде защелкали своими камерами и отошли в сторону, на их месте тут же появлялись другие. Это был подаренный сверху образ. Не нужно искать натурщицу, ставить освещение и извлекать из головы опыт и эмоции — бери даром. Вот он шедевр. И нет проблемы с авторскими правами — автор в эти игры не играет!

Но, ситуация оказалась еще забавней. Показав изображение, автор принялся за "The clip". Эта блондинка, на которую было трудно не засмотреться, в особенности привлекала проходящих, очень деловых и куда-то летевших мужчин. И они, которым было не до фотоаппарата, завидев эту восхитительную, волшебно посаженную головку с волосами цвета восходящего над океаном солнца, грациозно и искусно причесанную... модель! ... даже если подруга вышагивает рядом и почему-то, наоборот, не может эту же грацию не проигнорировать. А мужчины продолжали вертеть головами. Они уходили дальше и теперь, вот-вот покажется профиль красавицы и профиль появляется и тут все открывается — это Афганская Борзая...

Афганская Борзая... все это не менее красиво, но более неожиданно... все равно, что опрокинул полную рюмку водки, а это оказалась чистая вода, что так же вкусно, но не совпадает с ожидаемым... вкус — это послевкусие и предвкусие когда они вместе... И, мужчина принимается хохотать. А идущая рядом с ними женщина перестает коситься на своего напарника и тоже смеется. И они проходят, и появляется другая пара и ситуация повторяется. И, снова, как и с предыдущей парой, наступает мир и гармония...

Здесь уместно сообщить, что времена были еще дружелюбные, другими словами, если в аэропорту был замечен неопознанный объект, людям не приходило в голову звать секьюрити, иными словами — до эры Кустикова было еще прилично.

Пес сидел один на скамейке для пассажиров, никто не решался подсесть, хотя зал был перегружен, и свободных мест не было. Вид у сидящего был очень заинтересованный, но чем именно, никто не мог предсказать. Вообще, массовая человеческая интуиция — сильная вещь. И, хотя на сидящем афгане не было намордника, снующая взад-вперед администрация аэро-

порта внимания на это не обращала. А вообще-то это было незаконно — без намордника, и долго это продолжаться не могло, тем более — рейс был из России. Так, среди ожидающих быстро нашлась старушка типа известной Шапокляк, которая и привела к полупустой скамье представительницу аэропорта.

Шапокляк еще не успела выучить английский, но уже была напихана чувством гражданского долга. Она тыкала пальцем на незаконного афганца и пыталась говорить по-русски с английским акцентом. Представительница по длинному тонкому шнурку поводка проследила, к кому именно собака имела отношение. Другой конец поводка был в руках у женщины средних лет, красивой и с огромными глазами. Ее, видимо, не встретили, и она с беспокойством поглядывала в ту сторону, откуда должны были прибыть встречающие... Подойти к женщине представительница, видимо, не решалась, она лишь пару раз обратилась, но красивая женщина с собакой не успела догадаться, что она "там", тем более, что в этот же момент она заметила в проходе мужчину, который бежал напрямик к ней, видимо опоздал встретить... подбежал прямо к женщине с явным намерением ее обнять, хорошо обнять, как-будто они очень уж давно не виделись, и, кажется, женщина была тоже готова обнять мужчину, но ничего этого не произошло.

А произошло пугающее: Афганский Борзой, только что еще сидевший в отдалении на длинном тонком поводке, прыгнул на мужчину, целясь в эту руку, которой тот пытался прикоснуться к женщине, чтобы ее обнять и почти достиг этой руки, но недопрыгнул... и ему, по-видимому, понадобился еще один прыжок покороче... Все присутствующие ахнули, даже Шапокляк...

Но, Пес не прыгнул... Представительница могла бы поклясться, что, в этот момент афгану что-то почудилось... Он раздул ноздри... Казалось, пес что-то анализировал, и это не позволило ему довести до конца начатое дело. Шокированный мужчина, весь как-то побелевший повернулся к женщине... за разгадкой. Женщина наоборот, встретила этот эпизод со смешанными чувствами неодобрения и удовлетворения, трудно было сказать в каких пропорциях "одним словом с улыбкой и в слезах".

Все было ясно одной Шапокляке, которая, с коммунистической настойчивостью, усилив английский акцент продолжала требовать намордника для афгана, для пущей наглядности прикладывая скрещенные ладони с растрепанными пальцами к своему собственному рту. Но, как это часто бывает, справедливость не успела восторжествовать в связи с недостатком времени... Уже начали выдавать чемоданы и, через десять минут по дороге из Сан-Франциско на юг двигалась Тойота Кэмри, которую вел Макс, а на заднем сидении — давешняя красивая женщина.

С того момента, когда в холодильнике друзей нашли водку, обернувшуюся водой, прошло ровно четыре года. В этот високосный день из Сан-Францисского аэропорта Максим вез домой жену Машу, которую не видел пять лет, а она везла огромного пса афгана, которого Макс не видел никогда, и видеть не хотел.

Максим вел машину на такой скорости, когда все время нужно было поглядывать в зеркало заднего вида, не мелькает ли там полицейский патруль. Это было особенно неудобно, потому что зеркало заднего вида Макс умышленно перекосил так, чтобы видеть в основном Машино лицо, так что полицейскому досталась только узкая и слегка скошенная полоска сверху. Собака вовсе ушла за кадр.

Может потому, что не удалось ее поцеловать, или еще что, но Максиму казалось, что эта женщина красивая, но чужая. Почти такая же чужая, как

красавица на фотографии с которой ты даже не знаком. Максим думал, что женщина в зеркале — персонаж из их истории, вовсе не жена, не Маша.

— Пса зовут Глэн, — произнесла Маша и повторила, — Глэн, чтобы муж запомнил. И тут-то Макс сразу вспомил, что Маша всегда повторяла, что бы не говорила. — Точно, — вспоминал Максим. Она даже нашла этому объяснение — потому что у Макса плохая память. Но нашла объяснение не сразу. Она несколько лет игнорировала всякие просьбы не повторять то, что уже известно, тем более, только что сказанное. Даже когда Маша говорила в первый раз, он понимал с трудом. Он пытался понять, зачем вообще надо говорить о том, о чем говорила она. Хуже того, когда Маша говорила второй раз о том, что говорила в первый, Макс пытался понять, какая именно новая информация поступает по сравнению с первым разом. Но, как правило, понять не мог и поэтому напрягался еще больше, а она, подозревая, что и со второго раза до него не дошло, шла по-третьюму. В конце концов, у Макса начинала болеть голова, и он просил ее остановиться. Процедура продолжалась более двадцати лет. Но, об этом Максим подумал впервые лишь после долгой разлуки. Обо всей процедуре целиком. Каждый раз, когда он настаивал, чтобы она не повторяла, она говорила, что не повторяет, а сообщает дополнительные детали, ну как президент Кустиков “делал свой кэйс против Ирака”, но звучало неубедительно. Кустиков опять делал. Но, то ли президент не мог выучить новый текст и советники советовали — пусть лучше выучит старый, но расскажет гладко, то ли к старому нечего было добавить. Но, бог с ним, с президентом. Она все-таки придумала — якобы у Макса плохая память, поэтому она повторяет. А президент так и не придумал ничего...

Пока Макс все это вспоминал, Маша видимо решила, что он уже запомнил, как зовут афгана и продолжила:

— Глэну вкололи снотворное, но его снотворное не берет, если он не хочет, так что в самолете Глэн боролся и с обидой, что ему что-то вкололи и загнали в клетку, а маму не загнали и он не мог ее защищать, потому что она куда-то делась. И только теперь он может маму защищать, потому что они в одном салоне... Маша только собиралась пойти по второму кругу с этими же объяснениями, как заснула. Точно, вспомнил Максим. Она ведь и прежде никогда не могла уснуть в самолёте, даже если принимала таблетку. Одним словом, пока Глэн не спал в клетке, Маша тоже не спала, ... в салоне самолета Москва-Сан-Франциско и... Максиму стало ее жалко.

...Макс говорил теперь сам с собой, но, почему-то предполагая, что она слушает. Он не хотел об этом говорить по телефону через океан, но был убежден, что это самое важное. Что первое, о чем она его спросит, будет — это:

— Почему? Нас же по-настоящему преследовали, ты же им показал все документы, других же на самом деле не преследовали! Почему же мы не виделись пять лет?

Максим отвечал, теперь от своего имени. Он отвечал, что и сам долго не мог понять. Что те протоколы допросов в КГБ, что ты переправила ... я их показал не одному лоеру. Они мне говорили одно и то же — нет, за это сейчас не дают. Помнишь, что там было — исторические книги, слежки за нами, разного рода несправедливость. Ну, что я тебе говорю — это то, что было. Понимаешь, к тому времени Штаты уже дали убежище миллиону Советских людей. Появился специальный язык — тоже лоеры изобрели, как-то: допросы в темных подвалах, избиение железными прутьями, и другими тяжестями, неважно чем, но впрямую угрожающими их жизни. Я говорил — не было в 80-х годах железных прутьев. Один лоер мне показал на шкаф с делами и

многозначительно добавил — теперь были... История лгала уже не в первый раз.

Правда — это не то что было на самом деле. Пока я был здесь, убили двух моих талантливых подчиненных, а ты мне написала, что наш Пашенька тоже в опасности и в какой-то момент я что-то понял... я понял, что правда — это категория, которая живет в человеке, на которого еще не нажали. Когда те, кого любит человек — в безопасности. Если же в опасности... может быть, нет такой моральной категории, может не быть... — Почему же? Нас же по-настоящему преследовали, других же на самом деле не преследовали! Почему же мы не виделись пять лет? — переспросила она... — Я еще не могу ответить, мне пяти лет мало чтобы понять. Я думаю, проблемы были не только у нас, но и у них — у Штатов. Просто они пытались решить свои и выдать их за решение наших, это называется *ostensibility*. Я думаю, что это добрая страна... но чтобы решить свои проблемы она пойдет на все, так что добрая — очень условная штука... Ну, теперь мы подумаем вместе.

В этот момент Максу одновременно попался на глаза спидометр, на нем было 90, и открытые глаза жены — она не спала, неизвестно, как долго. Макс убрал ногу с акселератора и замолчал... Жена вступила с того же места на котором заснула:

— Глэн родился в день, когда ты перелетал через Атлантику пять лет назад... Ты знаешь, когда мы перелетали через океан, я думала, что 5 лет назад ты перелетел... а знаешь, Глэн был в багажном отделении, в клетке. Ему ведь тоже пять лет. Он нас на самом деле защищал. И его все боялись. Он, знал, что его боятся, знал и очень гордился. Ему вкололи укол, чтобы он легче перенес полет, но он чувствовал унижение...

— Откуда ты знаешь?

— Я чувствую... Вокруг не было меня, не было Паши, а вместо нас — чемоданы и ящики... Когда ему вкололи снотворное, он начал бороться со сном. Как он мог уснуть? Кто тогда защитит меня!? Меня даже не засунули в клетку, представь его ужас...

— Все же, откуда ты это знаешь? Ты чувствовала?

— Знаю, просто у Глэна такой афганский характер. Его никогда не берет снотворное, его вообще нельзя принудить... ты еще узнаешь...

В зеркале заднего вида появились еще два заинтересованных глаза...

Глава 6. Азбука

В отдельных еврейских семьях ребенок лишен музыкального слуха. Каждая такая семья несчастлива по-своему. В остальных у ребенка слух, хоть какой есть, и тогда счастье семьи, что касается ребенка, развивается стандартно. Его учат на скрипке. Но у скрипки, в свою очередь, есть особенности, поэтому каждая счастливая семья все-же отличается одна от другой, ну что тут поделаешь? Нельзя ведь быть счастливыми одинаково, когда отнимаешь детство у своего же ребенка. Но Толстой универсален, он просто не рассматривал еврейские семьи...

— для того, чтобы ребенок мог выжить из скрипки первый звук, не вызывающий шока у родителей, должно пройти хорошо около года.

— если родители рассчитывают, чтобы дитя в будущем выросло в скрипача-солиста, они должны отдать свое чадо на скрипичную как можно раньше, иногда до 4 лет. Зачем? Страх начинает развиваться у человека с рождения. Но, выражение “победить страх” имеет смысл, пока человеку еще нет шести, а, если больше, то победить страх нельзя. Но, страх чего? А то-

го, что можно сбиться во время исполнения — главный страх любого скрипача. Но, откуда в еврейских семьях об этом знают? Традиция, как говорил Шолом Алейхем!

— 4-х летний ребенок, с другой стороны, в том виде, как его создал Бог, не способен выстоять полчаса-час со скрипкой и просто прижимать ее подбородком к ключице! Традиция говорит — надо его бить! Пороли всех великих скрипачей! Так что это правда, что евреи пьют кровь младенцев. Во всяком случае, еврейских. А что касается христианских — то это тоже правда, но это лишь на уровне “collateral damage” (побочного ущерба), но об этом отдельно...

Русские семьи, которые отдавали детей учиться играть на скрипке, это, как правило, очень уж интеллигентные семьи, где на играющего ребенка глядят, как на личность, где играющим ребенком гордятся и дорожат, и присматриваются, чтобы он не переутомлялся, и даже идут на риск, что об их ребенке соседи подумают — уж не еврей ли он? И, по большому счету, может они, то-есть, соседи, правы? Ведь признак сильный! Ведь, по существу, Бог нашел Авраама потому, что на то давнее (ветхое) время, по-видимому, больше не с кем было договариваться, а было уже пора...

И, уж стараются, чтобы это не вредило здоровью и, уж здесь не принято поддаваться на пропаганду, что ребенка следует отдавать на скрипичку хорошо до 5 лет от роду, и они правы, но... тогда скрипач появиться не может — русских скрипачей нет. И когда в этом убеждаешься, бессмысленно искать тех давних соседей и говорить — вот видишь — не еврей. Они далеко или, если и близко, скажут — как не еврей, ведь лауреат... Лауреаты есть, но это продукт «affirmative action», как говорят в Америке, только наоборот.

Короче, сын Максима был продуктом этих двух культур или результатом их разногласий, которые были абсолютно непримиримыми. Говорят, бывает, что одна сторона главенствует, тогда... лучше и способный сын имеет “two choices — to be or not to be”. Но, ни Макс, ни жена Маша уступать не собирались ни в чем, и, как следствие, сын Маши и Макса в 11 лет умел бегло играть одну гамму и одно трезвучие и, однажды, когда папа был в командировке, Паша нажал на маму и ... бросил скрипку. Его учительница говорила, что он необыкновенно талантлив и на занятия не приходила без конфет специально для Паши. Но... футляр скрипки лег на шкаф и никогда больше не открывался. Скрипка была снята лишь однажды во время обыска в семье Пашиных родителей, но это другая история. Впрочем, хоть кусочек.

— Зачем была куплена скрипка? Спросил следователь. — Чтобы играть, — ответил Пашин пapa. — Чтоб играть, занес в протокол следователь. — Зачем? — продолжал следователь... И Макс, не знаяший, что ответить решил промолчать... Следователь снова что-то занес в протокол...

Когда пapa оставлял дом, маму и Пашу, чтобы улететь в Америку, он скользнул глазами по вещам и задержал взгляд лишь на скрипичке, лежавшей на шкафу, так показалось Паше, наверное, просто показалось...

А через две недели в доме появился месячный щенок Афганской Борзой и Паша, погоняв щенка по квартире, устал. Этого щенка Паше так хотелось, а теперь надоело за пятнадцать минут. И это его, 13 летнего мальчугана, насторожило впервые за 13 лет его жизни. Он вдруг почувствовал, что все проходит, вот и пapa исчез... скрипка исчезла, ее можно взять со шкафа, но этого никак не хотелось, а увидеть папу очень хотелось, но... Паша чувствовал, что это безвозвратно, и очень горькие слезы потекли из его огромных глаз, унаследованных от мамы... Это не исчезло, это бывало и прежде, но, это всегда замечал почему-то пapa, он имел какие-то такие слова,

от которых слезы быстро останавливались и вылизывал их, а потом они высыхали... нет больше папы!

Пашеньке захотелось куда-то сесть, но все стулья были завалены хоть чем-то. Папа же говорил, что единственный стул под роялем не завален и то, потому что он задвинут. Паша выдвинул стул, сел и положив голову на крышку клавиатуры, заснул горьким сном...

Глава 7. Максим

Сегодня Максима поджидал неожиданный email, который прислали друзья друзей из Филадельфии. В тот вечер, который начался с водки, ставшей или бывшей водой от рождения... друзья пообещали, как они тогда сказали — будем контактировать. Все равно, Максим не ожидал ничего от них получить — здесь люди ведь очень заняты своими проблемами. И вот... В первом attachment-е была фотография, снятая в Одессе, в начальный период "борьбы за независимость Украины от... москалей". Фотограф схватил момент борьбы... возле обычной мусорной урны. С одной стороны — огромная стая одичавших собак, а с другой — людей, в общем, тоже одичавших. Люди и собаки боролись за мусорную урну, видимо там было что-то пищевое. Среди собак даже мелькнул один афган, что-то было в этом афгане от князя Мышикина, ... Макс вздохнул и перевел взгляд с компьютера вглубь комнаты на ковер. Ковер был афганский. В центре ковра лежал афган Глэн и мирно спал, периодически перебирая лапами... "Ничего не бывает плохо или хорошо, только в нашей оценке..." И, не бывает хорошо оттого, что кому-то плохо. Вечером пришел знакомый на рюмочку водки. Максим показал ему фотографию. Так получилось, что Глэн возлежал на ковре, в том же месте. Друг, взглянул на фотографию, потом на Афгана и, опрокинув рюмку, с удовлетворением произнес: "Хорошо!". Не бывает хорошо оттого, что кому-то плохо. Что хорошо? — думал Максим. Наверное, что нам не плохо. Остальное не в нашей воле. Но, Максу не стало лучше...

Второй attachmnet он читал уже после ухода гостя. Это было коротенько письмо о Берте Иосифовне — учительнице английского, которая утверждала, что английский Максу понадобится, а он не мог тогда поверить. Тогда ему было двенадцать. Максимка забыл о существовании Берты Иосифовны, ровно на столько лет, сколько ему этот английский не был нужен. А в Америке эти слова всплыли, как сбывающееся пророчество. А до этого Максим помнил лишь ее глаза. Друзья друзей писали, что Берта Иосифовна недавно умерла. Как недавно, она же была... О боже, посчитав, Максим понял, что тогда ей было 35... Ему, ребенку это казалось... старушка. Ну что об этом, но ведь она умерла примерно тогда же, когда была опубликована фотография с одичавшими собаками возле урны...

Друзья друзей попросту оказались ее дальними родственниками. Они не прерывали с нею связь. Письмо было длинным, но главное, что они узнали от соседки по коммуналке, было... Берта Иосифовна сидела на скамеечке и грелась под ласковым Одесским солнцем. Она часто там сидела, прямо с тех пор, как ее уволили из школы по старости, хотя старой она была лишь по паспорту... Так вот, она сидела на скамеечке, мимо проходил новый русский, или новый украинец... и увидел, как ему показалось нищенку, пожалел нищенку и протянул ей какие-то гривны (ихние доллары). И после того, как старушка поняла, что ей подают милостыню, она поднялась к себе и плакала и пила валидол и плакала и пила валидол. Говорят, глаза у нее

были такие же огромные и серые... Она умерла ночью, может быть даже во сне. ... Максим читал письмо, оглядывался и плакал, как ребенок, а потом перестал оглядываться...

Пес избежал судьбы — бороться с учителями за эту урну в Одессе, а теперь борется с Максимом за место хозяина в доме. Пса можно понять. Ну, как бы то ни было, время шло, а Макс так и оставался чужим. Афганы вообще не терпят чужих. Тем более, что присутствовала ревность к Маше. В доме вообще как-то враждебно. Все кроме мамы часто говорят такое, что Глэн никогда в жизни не слышал. И, этот мужик, когда говорит не с мамой, а с телефоном, тоже тараторит так, как люди обычно не говорят... словом, русским духом перестало пахнуть... Мама что-то чересчур часто стала тыкать пальцем в этого мужика, с подозрительным запахом, который жил в их апартменте, глядела при этом на Глэна и говорила: "Папа", когда Глэн точно знал, что это не папа. Что такое папа Афганец точно знал, в течении всей его прошлой жизни, котая была до этого укола и клетки в самолете, это слово соответствовало старой рубашке, которую никогда не стирали, а этот был чужой, который вел себя в доме, как хозяин... в общем, желание цапнуть трудно было сдерживать. При этом что-то подсказывало: цапать не надо...

Максу было чуть легче и чуть страшнее. Жена говорила: "... там, в Одессе, когда было очень уж худо, я клала перед песьей мордой твою, специально невыстиранную рубашку, ложилась на пол рядом и плакала, а пес вылизывал мне слезы"... Это было ее объяснением того, что Глэн знал Макса и его существование допускал. И все — же Максу было не до конца понятно, почему пес на него еще не бросился, что-то было на самом деле...

Афган и вправду, иногда подолгу принюхивался к вещам Максима, готовым к стирке. Его афганский нос был благородно раздут, как у арабского скакуна и весь он в профиль выглядел вдохновенно. Однажды, во время такого обнюхивания, в laundry-прачечную вошел Макс. Глэн повернулся к нему морду, понюхал Макса раз, понюхал второй, повернулся к белью на стирку, опять понюхал, затем повернулся к Максу и аристократические черты арабского скакуна сморщились, обнажая белые инчевые клыки афганца, перед которым будто-бы сидит волк... Видимо, пес и впрямь почувствовал сходство в запахах но, Максиму было непонятно, как именно Глэн интерпретировал это сходство...

— Ты не беспокойся, всем страшно, — это жена не забывала напоминать, каждый раз, когда проходила мимо и Максу становилось еще тосклинее, чего он старался не показывать, потому что жене страшно не было, наверное. Где-то он читал, что всякий, кто боится, выделяет различимый запах, который люди не чувствуют, но звери..., так что в свою дипломатию он не больно-то верил... Зато Маша привезла фотографии из Одессы. На одной из них был снят стоящий в полный рост 182 см Пашенька рядом с Глэном, тоже стоящим на задних лапах и вылизывающим "братику" нос и — они были одного роста... Глэну даже пришлоось чуть присесть. Но, Максим увидел, что Афганец может любить и это вселяло надежду...

И, как-то раз после очередного случая в laundry... лишь только Глэн сморщил на Макса морду и зарычал... Макс понял, что откладывать уже некуда, сел на корточки и опустил пальцы на эту оскаленную морду, но не скжал ее, а охватил, как пианист перед тем, как начать 2-ой концерт Рахманинова...

Пес, который никогда ничего подобного в жизни не видел, по-видимому не знал, что делать дальше и... так прошли напряженные минуты и вдруг...

Макс стал ощущать, что складки на морде под его пальцами начали разглаживаться и песни глаза поначалу сосредоточенные на этих пальцах, принялись медленно восходить, пока не встретились с глазами Макса — глаза в глаза... и в них Макс увидел полноценное человеческое недоумение и неизвестный вопрос — что делать? И Максим, еще не вспомнивший, что надо бояться, подчиняясь лишь чувству, еще более приблизился и чмокнул Афганца в переносицу, как это он делал когда-то с Пашенькой... это был еще один високосный день для обоих...

Видимо происходит чудо, когда недоверие уступает место вере. Из зверя, от которого исходила агрессия, Глэн превратился в собутыльника по прогулкам. Прежде Макс за Глэном следил, а теперь стал присматриваться.

— Маша, у меня появились подозрения, что это личность.
— Я тебе это уже говорила, а ты не слушал.
— Я понял, почему Глэн не любит купаться.
— Потому что он больше кошка, чем собака. Коты боятся воды.
— Нет, когда его обольешь и намылишь, он становится вчетверо меньше. Я присматривался, как он наблюдает себя в зеркале в ванной — не улыбается, закрытая пасть, глаза растерянные. Он не сомневается, что все остальные видят тоже самое, а значит, не боятся. Он никогда не бросался на меня, когда мокрый, он ждал, пока высохнет. Несколько раз подходил к зеркалу в прихожей — несчастный и потерянный. Он ждал, когда ты его высушишь феном и расчешешь.

— Ты думаешь я этого не знаю?
— Глэн становится агрессивным не сразу. Сначала он убеждается в зеркале, что стал прежним, а после этого принимался выяснять вокруг главное: "...а ты кто такой, причем со всеми?"...
— Ты думаешь я этого не знаю?
— Одно дело знать, а другое — пользоваться, а Глэн пользуется, он пользуется сослагательным наклонением — это учат все в школе, но большинство видит и сразу действует.
— Здесь сослагательное наклонение не причем. Это я про людей.
— Думаю, он интеллектуально выше многих людей...

Однако, бывают моменты, когда Афганца перестают интересовать все эти вопросы — как он выглядит, какого он роста, насколько он страшен, насколько и кто его боится. Это происходит, когда его спускают с поводка в чистом поле или на стадионе. Он сразу же принимался бежать по кругу, бегря с места сумасшедшую скорость, я недавно измерил с секундомером — это более 19 метров в секунду! В фазе прыжка его тело превращается в отрезок прямой, т.е. голова с прижатыми ушами, передние и задние ноги и даже хвост полностью вытянуты в струнку. Он становился еще меньше, чем после ванной — но его это никогда не беспокоит. Его абсолютно не интересует выглядеть устрашающе. Не потому ли, что ему самому не страшно? Какие страхи, когда бежишь с такой скоростью, когда даже кусты превращаются в сплошной и надежный забор? Никто не догонит! А он — любого! Даже Гизелу догоню!...

Кто знает, о чем думаешь когда вокруг все мелькает, а ты летишь как птица, лишь изредка прикасаясь к земле лапами, чтобы опять взлететь...

— Я же тебе рассказывала, как они выглядели на стадионе. Тренировка закончена. Глэн догонял Гизелу, перепрыгивал через нее по дороге, зависая в воздухе над ней. Это не опишешь... Потом она перепрыгивала через Глэна и тоже зависала в прыжке так высоко, что неправдоподобно, какой-то фантастический балет!.

— Мне кажется, он это помнит...

Глава 8. Опять в полет

Любители неожиданности! Во время вечерних прогулок, когда рабочий день уже кончен и хочется чего-то такого... ух!... приключений на свою голову... чтобы идти на прогулку, как на бой, где от тебя мало что зависит, когда не знаешь, вернешься домой или не вернешься. Если вы такой, обзаводитесь Афганской Борзой — не пожалеете.

Сегодняшнее напряжение было на оранжевом уровне по шкале Кустикова. Кустиков — это фамилия американского президента в дословном переводе и соответствующее русской фамилии Шариков в описании Михаила Булгакова. Так вот, эту цветовую шкалу придумал может быть и не Кустиков, но он ее очень любил. Человечеству, в особенности политикам всегда были необходимы степени сравнения состояния страха, как-то: неспокойно, опасно, страшно, еще страшнее, страшнее не бывает и так далее. Но это — явно негодная шкала — слишком субъективна, другое дело "...цветовая дифференциация степени опасности — это здорово": — анекдот 31, — все смеются. Собственно, какой русский не знает цветовой дифференциации штанов, благодаря грузину Данелия. По-видимому, идея термина подсмотрена в Америке, но здесь это с юмором не связано не было. Во всяком случае, до Кустикова, но Кустиков — это не герой юмора, а икона сарказма... сарказма над ним же.

Цветовые шкалы — это здорово. Америка — страна, говорящая на несусветном количестве языков. Это из России кажется, что людей объединил Английский, на котором они все общаются, чтобы понять друг друга и сделать общее дело. Людей соединили цветовые шкалы. Если бы их придумали раньше — Вавилонская Башня была бы достроена... А СССР-ское руководство просто все годы завидовало Америке и на этой почве постоянно что-то подсматривало и подглядев, внедряло. И то, что было внедрено, всегда подпадало под серию цветовой дифференциации штанов или какого либо другого анекдота.

Итак, поводок был постоянно натянут. Пес был настроен на приключения, как никогда, и при любом намеке на рывок пса, Макс дергал, а на любое дерганье Глэн показывал белые клыки и страшную, сморщенную по такому случая пасть.

Возможно, Хичкок подобного страха не наблюдал — он бы использовал и, несомненно, взял бы Оскара. А так чего-то не хватало — его четырежды представляли и... недотягивал.

Тем вечером Максим с Глэном гуляли по территории бывшей иезуитской миссии, а ныне по University of Santa Clara. Для тех, кто не видел, представьте, что вы в Москве и вас с Глэном пустили в Кремль на прогулку и там как раз накрывались столы для незваного обеда членов политбюро. Преувеличил? Нет, возле лужайки были запаркованы, 6 роллс-ройсов, не считая Jaguar-ов и Mercedes-ов. А огромный стол, мимо которого Максим вел Глэна или Глэн вел Максима — трудно определить, был уже накрыт и там унохивалось то, на что Макс бы посмотрел, но Афган взглянул раньше и, видимо, где-то в отдалении обнаружил белку, которых здесь, вероятно, больше, чем в Сибирской тайге и... с места Глэн взял свои пресловутые 19 метров в секунду, казалось даже больше и Макс, не отпустивший поводок, взмыл в воздух.

Макс воспарил над столом, и затем свалился в мягкую траву, счастливый при этом, что не на стол, и что поводок все еще у него в руках... Глэн, стоял рядом и терпеливо ждал, понимая, что охота сорвалась, что делать? Но вымешать на Максиме свои неудачи охота отпала — Макс был переведен в

другой статус... Он взглянул на афгана с уважением, отковыривая при этом траву припечатанную к лицу... в ушах стояла песня Булата Шавловича: "...давайте воспарим..." Интересно, — Макс еще успел подумать — откуда пес знал "воспарим"...

Когда они все-таки добрались до дома, и Макс рассказал жене про случившееся, Маша принялась хохотать. Макс стоял, как оплеванный. Что спасало ситуацию? ... Когда жена хохотала, он мог простить все! Даже, если она высмеивала его самого. У нее смех, какого Макс никогда и ни у кого больше не слышал. Максим бы слушал этот смех вечно, но она смеялась редко... Нет! Не над ним она смеялась. Она вспомнила историю про Афганца на Черном море.

Вот что Маша рассказала, забравшись с голыми коленками на кресло:

— Днем мы получили два письма от тебя и пошли с Глэном на море. Черное море в августе — это не Тихий Океан. Помнишь, тепло, но уже не жарко, вечер, лунная дорожка, волны плещутся почти не слышно... Ты еще помнишь? ... Мы поехали с Глэном в Аркадию, взяли термос с чаем для меня и кость с мясом для него. Он давно не ел мяса. У нас было голодно. Глэн подошел к воде и попробовал ее лапой, он всегда пробовал воду, не как собака, а как кошка. И все-же, как это здорово — тепло, тепло, но не жарко, повторила Маша... Кораблей на рейде почти не было. Тогда вообще было мало кораблей. Когда ты уезжал, в море не было скумбрии. Исчезли корабли — появилась скумбрия на базаре. Ну, не в этом дело.

Где-то далеко-далеко заиграла музыка, но не радио. Это была живая скрипка, играли первую часть концерта Мендельсона, но без сопровождения. Музыка едва доносилась издалека, но можно было разобрать: это был живой инструмент и играли здорово. Я часто слышала, как ты наигрывал... я заслушалась... вдруг... Оглядываюсь — нет Глэна. Я звала, звала — не отзывается. Знаешь, лунная дорожка — хорошая вещь, но мне стало страшно. Тяжелое время. Ночь. Пса как корова языком слизала. И, я... побежала, побежала в сторону звуков скрипки, не знаю почему. Ну, тренировки у меня нет, но я бежала, наверное, пять минут, пока не стала задыхаться. Я остановилась отдохнуться. Какая-то сырость опустилась. Стало совсем тихо, и даже скрипка замолчала...

Я бежала, стояла, опять бежала — наверное, полчаса. Мимо вечерних купающихся, пробежала Отраду... много купающихся, маленький ресторанчик, я вообще поразилась, как много здесь появилось маленьких ресторанчиков — одурительный запах, особенно когда ничего, кроме чая, ну ты знаешь... Я добежала до... помнишь возле Ланжерона дикий пляж. Там новые русские открыли маленькую шашлычную — прямо на пляже. Маленькая шашлычная — столиков десять под грибочками. По кругу. В центре круга — стол заставленный специями — как в Америке — приходи и бери все что хочешь.

Прямо на столе, возле бутылок со специями лежала концертная скрипка со смычком, а возле нее стоял молодой парень. Он одной рукой придерживал скрипку, но вид у него был... У него был вид заложника, и я испугалась и посмотрела вокруг — все столики были заняты молодыми посетителями, но никто не ел и все выглядели... как заложники, как в фильмах с Брюсом Уильямом. Все до одного застыли, неважно был перед ними шашлык или не было. То-есть, были такие, перед кем не было, лишь пустые тарелки.

За ближайшим к морю столиком я вижу... Глэна. Он стоит возле какой-то женщины. Стоит на задних лапах и ест шашлык, прямо из тарелки на столике — похоже, предназначенный для этой женщины. Женщина боится пошевельнуться. Ее кавалер тоже. Глэн в стоячем положении выше него и ка-

валер вообще не решается дышать. Наверное, потому, что Глэн после каждого куска отрывается от шашлыка и рычит на кавалера, видимо, чтобы было неповадно заглядываться на чужую пищу. То есть, он имел в виду свою.

Понимаешь, дома я могла вытащить у него изо рта куриную кость. Я была единственным человеком, которому он отдавал кость. Но, теперь... открытое пространство, чужие люди... я боялась. Но, некуда было деваться, и я крикнула: "Глэн!". Он меня увидел и... быстро стал заглатывать кусок, кажется, только что отделил от шашлычной палки. Потом, он понял, что не успеет и зарычал на меня. Но, я выхватила у него из-под лапы остаток шашлыка! Что-то случилось со мной, потому что я протянула женщине то, что Глэн не доел, и она взяла как-то машинально, а я прищелкнула поводок к ошейнику и начала оттаскивать Глэна от стола. Я сначала удивилась — он не сопротивлялся, но потом поняла, что пока добежала — он, видимо, объелся...

На столиках практически не оставалось шашлыков — всего два или три... Восемь столов по два человека за каждым — шестнадцать шашлыков — и почти все это Глэн освоил, пока я добежала от Аркадии до Ланжерона... Потом его тошнило. Главное, вот что. Как только я утащила Глэна в сторону дороги, парень, который видимо, играл Мендельсона — к скрипке он стоял ближе остальных, кричит мне: "Девушка, у него хороший слух". Я спросила его уже издалека. Что произошло? Он говорит, похоже, мы сами виноваты. Пока я играл, он никого не трогал. Он стоял возле меня. Ну, тут началась партия оркестра, и я опустил скрипку. И ваш пес стал выть партию оркестра. По-моему он верно интонировал. Это моя ошибка, не наказывайте его. Я спросила — почему? Он кончил выть, когда настало мое время вступать снова, партия оркестра кончилась, а я испугался и не вступил. Ваш пес подождал и не дождался, и тогда он пошел по шашлыкам...

Это были студенты консерватории. Ограбленные не жаловались, и даже начали смеяться... И тут захотел Максим, захотел неожиданно и вдруг — резко остановился.

— Ты знаешь, — сказал он Маше, — почему пес убежал? — Маша ответила: "запахи жареного мяса вдоль всего побережья. Он все время был голодным! Мы все голодали". Максиму стало стыдно — он не голодал. Он был в Америке. Жена всегда могла сказать так, что Макс чувствовал свою вину...

Нет, сказал Макс: "Афганы не охотятся по запаху, они охотятся по видению... Но там берег загибается... он не мог видеть Ланжерон из Аркадии, тем более, ночью... Тут что-то не так, что-то не сходится...".

Глава 9. Второй Фортепианный Концерт Рахманинова

Когда Максиму было пять, Одесский Исполком Депутатов Трудящихся пообещал его родителям самостоятельную квартиру. А те мало того, что поверили, так тоже пообещали Максимке... щенка. Когда? — спросил Максик. Как только получим. Но, у Советов что-то не получилось и, лишь когда Максу было 13, родителям удалось купить крошечный кооператив и маленького щенка немецкой овчарки. Щенка подарили Максу и ничего более выстраданного, неожиданного и желанного в свой день рождения Макс никогда не получал.

После этого у него жили и английский сеттер, и спаниэль, и другой спаниэль. Все они начинали с того, что были самыми желанными, а вырастали

в самых любящих — без всяких условий, как, наверное, редкий человек умеет. Они, конечно, были разные, но уж по крайней мере с системой ценностей. А вот уж желание быть хорошими по отношению к хозяину... это было фундаментально и для сеттера, овчарки и спаниэлей.

И вот появился афган. Пес был как островитянин, о которых писал Моэм. У островитян не было чувства вины за грех, и миссионеры не знали что с ними делать. Точно так же, у афгана не было желания быть хорошим, или отсутствовало чувство вины за то, когда он бывал нехорошим. О том, что делали миссионеры, пытаясь привить островитянам это чувство, можно почитать у Моэма. Максима такие методы не устраивали. Однако, пока он не нашел свои, испытывал некое ощущение униженности... То что он выгуливает пса, так это он так считал. На самом деле он просто мешал афгану выследить зайца или белку. Макс отдавал себе отчет, что если он обнаружит зайца прежде, чем это сделает пес, ему придется повернуть в обратную сторону, даже если ему не нужна обратная, а если позже... он взлетит на воздух. В сущности, афган еще не сформулировал для себя инструкцию: — если ты ощущаешь, что поводок дернулся, ищи зайца... но Максим знал, что очень скоро он сформулирует.

Вот и сейчас, Макс дернул поводок, афганец бросил на Максима стандартный взгляд и произнес: "...неужели все вы думаете, что я буду поступать в соответствии с вашими намерениями, а не своими собственными?", но, сказал молча! Но, по выражению морды было видно, что именно эту фразу!

Итак, они проходили мимо обычного частного дома... Иногда у человека случается тик — непроизвольно дергается веко, вместо тика у Максима неспровоцированно дергалась рука, сжимающая поводок. Эта привычка возникла после полета в окружении Ролс Ройсов. Но сегодня пес шел спокойно, и, казалось, что все улаживается.

Стояла волшебная Калифорнийская осень с золотом листвы тех деревьев, которые помнили, что надо желтеть. Массивы помнящих перемежались с другими, которые либо этого не помнили, либо никогда не знали. И вместе, эти помнящие и забывшие говорили — осень наступила, и прибавляли... Калифорнийская.

До чего же все-таки красив этот пес, думал Макс... и пес хорошо знает, что красивый. Судя по несметному числу фотоснимков, сделанных с этого пса, его хозяин Паша всегда снимал Глэна в контражуре на зеленом фоне с подсветкой спереди. Подсветку делала встроенная вспышка. Даже теперь, если пес имел выбор, по какой стороне улицы идти, он всегда выбирал, чтобы солнце было сзади и чтоб на фоне зеленої травы, желательно тёмной.

Окно было прикрыто легкими занавесками цвета осенней опавшей листвы, усеявшей лон вокруг дома.

Совершенно неожиданно из этого окна заиграло фортепиано. "Батюшки, это же второй концерт Рахманинова" — узнал Максим вторую часть. Живое исполнение... только партия рояля — оркестра нет за этими занавесками. Этот самый любимый Максом концерт... не слушанный ни разу за последние пять лет. Он сознательно выключал радио при первых же тактах, если его транслировали. Здесь, в эмиграции, этот концерт стал выматывать душу.

Эту Рахманиновскую музыку Максим понимал так, что... когда однажды узнал, что композитор не мог закончить свой Второй Концерт, и ему пришлось провести значительное время в психиатричке... Макс не удивился! В Америке Второй концерт очень популярен, но той популярностью, которая загорается лишь в ранней молодости — очень красивые мелодии, искрен-

ние необыкновенно... и с хорошим концом. Что-то, что-то не так, не так, а потом успокоение, вторая часть — расслабление, а потом сильный и непрерывный душевный подъем — третья часть. Так его понимают дети и американцы. Важна точка отсчета. Третья часть буквально — вывод, что жить все же нужно — и все, а в переводе на американский — есть шанс, что она окажется успешной. Как в фильме Рапсодия с Elizabeth Taylor — James Guest? . Где еще так осознан Второй концерт Рахманинова? Очень русский концерт... оказался очень американским концертом... Впрочем, что же делать, если демократическое большинство его настолько не знает, будто он и не был написан!? Впрочем, ни в Америке ни в России.

Эти слова пронеслись в голове Максима, как одна мысль, сопровождавшая все еще начальный эпизод фортепианной партии. Так Максим стоял не шевелясь и вдруг, испугался, вспомнив что он с афганцем и что неизвестно кто кого прогуливает и пёс сейчас как дернет и, настроение полетело вниз, стало как-то горько и тут...

...Поводок ослаб и отвис. Пес сел на асфальт, Максим видел его морду в контражуре в профиль. Афганец косил глаз на Макса, но как-то нерешительно. Казалось, пес говорил, хочешь иди — иди один, забудь про меня, и еще его морда говорила, Максим мог бы поклясться: "пожалуйста...". А музыка так притянула, что Макс... забыл про пса. Из раскрытоого окна прямо в сердце Максима неслись звуки, которые были его частью, звуки как бы возвращались в сердце Макса, и то что он чувствовал, нельзя было передать словами. И Рахманинов не обращался к словам. Но, застывший перед чужим домом Максим вспомнил все. Что с ним было в этой новой жизни. Ну, где он работал или где был выброшен с работы, или где он ел или подолгу был голоден. История страха и унижения, любви и ненависти, ценности для него и мусора для всех остальных, мусора для него и цели жизни для других. Жгучей обиды за это и отсутствие какого-либо чувства в ответ на оскорбление. И все это без слов и обстоятельств, без событий, лиц и вообще... Максим припомнил, что уже несколько лет не слушал этот Второй концерт, в сущности избегая эмоций, сопровождавших его с юности, с того самого момента, как он был услышан впервые...

Макс уже забыл, что оркестра не было и не вспомнил бы — воображения всегда дополнило бы оркестр из головы... И тут... Макс... ощущил... что как раз с головой что-то уже не в порядке. Оркестр звучал как-то хрипло и чесчур уж сентиментально. Да, то что оркестра и не должно было быть, Макс уже не помнил. Он огляделся. И увидел, что на том же самом месте, сидел на время забытый Глен, который не смотрел в Максову сторону. Его глаза были полуоткрыты. Морда была задрана чуть вверх и направлена на растворенное окно. Из приоткрытой пасти пса непрофессионально, но душевно, раздавалась мелодия оркестровой партии второй части второго концерта Рахманинова, которой Афганец так и не смог дождаться из раскрытоого окна...

Глава 10

Собака знает этот концерт — с этим Максим заснул, это ему снилось, с тем же он проснулся. Пес любит именно эту музыку. Максим пытался припомнить кого-либо из знакомых, кто услышав Рахманинова закрыл бы глаза и изливал душу мелодией оркестра второй части. Максим да, но он делал это в свои студенческие годы, но... собака! Так или иначе, псу была знакома

партия оркестра! Ее афган уже когда-то слышал и неоднократно, все-таки он собака... Пес эту партию помнил! Пес тянул неумело, замедленно, но в верном направлении. Он старался интонировать мелодию оркестра, которая и не звучала в данный момент. Значит, пес слышал мелодию когда-то прежде и ассоциировал ее с партией фортепиано, которая неслась из раскрытого окна. С прикрытыми глазами, с любовью к музыке, с забвением самого себя!.. так можно делать, если любовь не только к себе... если есть само-забвение — не страх... любовь! Где это состоялось? Загадка!

— Какая-то духовная близость... с собакой, какой не было, в сущности ни с кем из людей — так думал Максим, анализируя происходящую странность.

— А может близость не собакой, а с этим необыкновенным концертом. "Что-то такое уже было прежде! Еще в Союзе!" И тут он вспомнил...

Именно этот концерт был замешан в Максовых изобретательских делах. У Макса были патенты и до этого. Сам он эту часть своей деятельности не очень уважал. Как раз в то время он разрабатывал многоканальную систему передачи сигналов.

Но здесь не обязательно придумывать, можно найти готовое решение, вроде бы Запад этим занимался уже порядком, так что лучше поискать готовое. Ну, как обычно, полистал американские патенты, затем японские, а потом немецкие. Скоро картина казалась ясной. Авторы вводили один-два новых узла в изделие, все вроде бы начинало работать слегка лучше, и вот это патентовалось. Но одно из таких улучшений применялось в лаборатории, где трудился Макс, однако, работало все это как-то на пределе. Хочешь увеличить дистанцию передачи, снова улучшай! Хочешь сократить время поиска — улучшай... собственно, все эти улучшения ничего кроме числа патентов не принесут. Патентов будет много, но все это имеет характер тараканьей возни и, кажется, эта возня имела место в масштабах земного шара.

Изобретения устаревали уже на момент создания. Макс тупо сидел над задачей уже неделю. Принципиально нового решения,казалось, не существует. Голова болела и тошнило. Было еще много признаков того, что организм Максима истощен и жизнь не в радость, даже ночи перестали приносить отдых — во время сна никакие волевые центры не действуют, и организм не может отогнать эту нерешаемую задачу.

И тут Максу пришла капитулянтская идея — плюнуть на все это к чертовой матери и прекратить... Помнится, он поставил какой-то музыкальный диск, даже не зная, что именно он ставит, и лишь появился звук, узнал Второй концерт Рахманинова... первая часть, где-то к середине жизнь перестала быть "не в радость", главное потому, что эта музыка заставила Макса забыть о той "куриной возне", которая измучила его в стельку... Он продолжал слушать, вот уже началась вторая часть — да!

Да, та же самая, того же концерта того же Рахманинова... Невозможно описать словами, о чем музыкой говорит композитор. Максиму представлялось: если бы можно было адекватно перевести 2-ю часть концерта на человеческий язык, неважно, на английский или русский — в этом переводе не было бы не только ни слова лжи, но даже и попыток произвести впечатление (что тоже ложь), или склеить две фразы дополнительными словами (что тоже ложь), или сказать то, о чем можно промолчать...

И, в тот самый момент, Максова проклятая задача снова пробудилась сама по себе. Вторая часть продолжала звучать и не уходила, лишь чуть отодвинулась на задний план, а на первый план лег листок бумаги. И на этом листке рука Максима быстро и сосредоточенно рисовала алгоритм решения

своей задачи. Глядя на этот алгоритм, Максим видел, что нашел решение сногсшибательное по красоте, по эффективности и дешевизне. Позже и патент был выдан, и соавторы появились сами по себе. Была, конечно, проблема — год никто не признавал это изобретением, главным образом, потому что прототип сильно отличался от всего известного... но когда Максим объяснил влиятельным потенциальным соавторам, что это революционное изобретение, кто-то из них нашел пути к комитету по изобретениям и патент выдали, ... потом это стало стандартом в индустрии. Но главное, что Макс тогда заподозрил — такого он сам придумать не мог бы. Это красота неописуемая, неподвластная его мозгам...

...Красота полностью была нанесена на бумагу ко времени, когда закончилась 2-ая часть Второго концерта Рахманинова. Последний штрих в алгоритме совпал с ее исчезающим дыханием. Помнится, надвинулась изнурительная усталость, не было ни радости, ни желания пойти, отметить с друзьями ... было чувство, что надо работать дальше...

Макс сидел и думал. Думал о том, что живет что-то такое вне его существования, что помогло что ли, но это, как принимаешь снотворную таблетку, а не сам уснул...

Потом ситуация с революционными изобретениями и музыкой повторялась еще несколько раз, хотя довольно редко, и Максим больше никогда не пытался ее осмыслить — это пахло чертовщиной и бредом, и между творческими удачами все это забывалось до следующего раза, как вдруг вмешался Афганский Борзой Глэн... И было в этом нечто общее, и общим был Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова...

Глава 11. Первый выходной

Макс вошел в свой домашний кабинет, и недолго думая, взгромоздил деревянный стул на столешницу массивного письменного стола. Затем вскарабкался сначала на стол, а с него на стул. С этой пирамиды можно было дотянуться до скрипичного футляра, лежащего на самой верхней полке книжного стеллажа, примыкающего к письменному столу... если стать на цыпочки.

...Эту скрипку Макс купил в музыкальном магазине так... на всякий случай. Он в детстве учился играть на скрипке, но... это такая штука: если ты не играл более двадцати лет, то отличаешься только от тех, кто вообще никогда не учился. На вопрос, зачем он выбросил тысячу долларов, Макс мог бы ответить что-то невразумительное... а вдруг, Пашенька увидит и... передумает. А пока что раз в неделю Максим залезал под потолок, доставал футляр, спускался с пирамиды и, оказавшись на полу, извлекал из футляра скрипку. И делал с ней все, что мог, а мог он только ее настроить. При этом Максим всегда некоторое время о чем-то думал, и все — скрипка шла на место под потолком...

Это была странная неделя. В понедельник Маша позвонила в Одессу и, судя по разговору, пообщалась с Пашей. Говорила она тихо и Макс ничего понять не мог. Так и уехал на работу... а она все говорила. А вечером, когда Максим спросил, подтвердила, что это был Паша: — Все в порядке, он еще не может приехать, ну ты не знаешь, там много дел, но все в порядке... приедет скоро...

— Маша, — сказал Макс. — Слушай, скрипичный концерт Мендельсона, ты его слышала только в моем исполнении или в чьем еще? Маша улыбну-

лась — от Хейфеца, ты же оставил пластинку, я часто ее слушала, когда ты уехал. Максим сказал: "Ты знаешь, Глэн побежал на Ланжерон не за запахом. Он побежал на звук! Концерта Мендельсона! Скрипач правильно сказал — они сами виноваты!"

Назавтра жена опять говорила с Пашей ... а на следующее утро — опять. А в пятницу заявила: — Я должна срочно улететь в Одессу. Я уже забронировала билеты. Ну, ты не волнуйся — я прилечу и все тебе расскажу. Ну, ты же знаешь Пашку... — Нет, Пашку то Максим уже не знал. Ему было пятнадцать, когда Максим уехал. В этом возрасте прошедшие пять лет уже вечность. То-есть, Маша здесь что-то хитрила, впрочем, как всегда.

Маша хитрила всю жизнь, видимо, с раннего детства, как выяснил Максим, но на выяснения у него ушло почти сорок лет, прежде он разобрался что ничего отрицательного в этом нет. У окружающих такого опыта не было. Поскольку стиль Машиных хитростей за последние 50 лет не изменился, это был стиль трехлетнего ребенка. Похоже, она это понимала, но совершенствовать стиль не собиралась и окружающие ставили на ней крест — "Враль", потому что это были очевидные им враки, и "дура", потому что сами они врали иначе. И дальше не разбирались.

Так время шло, но это не то время, которое деньги. Быстро и адекватно Машу понимали только дети, и свои и посторонние. Но наблюдать это Максу удавалось, лишь, по везению. Так случилось что они — Макс и Маша провели целый месяц под одной крышей с семейством дальних родственников — молодой парой и их четырехлетней дочкой. Девочка была тихая, то есть, не мешала, и Макс так бы на нее не взглянул. Но на следующий день, проходя через гостиную мимо включенного телевизора, он увидел разглядывающие его два огромных карих глаза, которые Максиму что-то напоминали, а что именно напоминали, он понял, когда увидел рядом с ними другие два — тоже огромные, но серые, и серые Макс сразу узнал — это были глаза жены, которые, как он логически вывел, принадлежали Маше. И тогда же, для окончательной ясности, он снова посмотрел на пару карих и его прошибло. Обе пары ничем существенным не отличались. Какие-то лишь формальные отличия конечно были, как-то разрез глаз — у ребенка они были начисто библейские, а у Маши типично славянские, но что это такое — чисто славянские, Максим стал догадываться лишь в Америке, и главное, ничего, кроме догадок на это тему не существует. Явно присутствовали норвежцы, может поляки и еще... Как бы невзначай, Максим присел на кресло и начал прислушиваться к разговору этих двоих... У ребенка была страшная тайна, и Маша была первой, кому малышка ее доверила, то есть, ни маме ни папе — это было бы бесполезно. Она доверилась Маше. Тайна состояла в том, что малышка верила в Бабу Ягу, и по-настоящему ее боялась. Маша, тут же принялась ее уговаривать, что это не страшно, вернее, страшно, конечно, но Баба Яга нужна, иначе ты будешь думать, что все люди — как мама, а это не так. "Я тоже думаю, что это не так, — совершенно по-взрослому добавила малышка, — но я ее боюсь все время! Я не хочу бояться все время..." и тут произошло непостижимое. Маша замолчала на полуздохе. За Машей Максим такого не наблюдал уже почти сорок лет, иначе говоря, никогда не наблюдал. Обычно, чем сильнее Маша была взволнована, тем больше она говорила. О, конечно, сейчас Маша не была спокойна — она думала, но дело сейчас было не в ней. Через ее плечо Максим увидел, что малышка не спускает с Маши своих огромных карих глаз,

наполненных несомненной верой, или может быть единственной надеждой, что, похоже, одно и то же... И в это время послышался, будто издалека, Машин голос. Маша сказала: — Я с ней поговорю. Макс, когда услышал, что жена собирается поговорить с ... Бабой Ягой... в первое мгновение в это поверил! Его вера базировалась на Машиных интонациях. Так вот, в этих интонациях не было ни капли лжи. Было бы, если бы Маша в это не верила!

“Ты ее знаешь?” — прошептала отчетливо малышка. “Да, знаю”, — сказала Маша, таким уверенным голосом, которого Максим никогда от нее не слышал. При этом Маша встала с кресла и нажала кнопку на видео магнитофоне, потом потянулась к верхней полке книжного шкафа, извлекла из нее какое-то видео, вставила в магнитофон и, через несколько секунд на экране появилась Пельцер в роли Бабы Яги — той самой знаменитой роли! Максим видел — Маша кассету не перематывала, как будто это было место постоянно готовое к демонстрации прямо в текущий момент — такой момент, когда вдруг становится страшно и на перемотку нет времени...

Терапевтический эффект был могуч — лицо ребенка расслабилось и залилось счастливой улыбкой. Перемена в ее облике была разительной. Но, если бы Максим мог наблюдать свое лицо — он бы вспомнил старый семейный альбом. Он был сфотографирован с Машей. Маша что-то ему рассказывала и, у него было такое — же лицо... сорок лет назад... а после никогда.

О чем хитрила Маша, собираясь в Россию, Максим постичь бы не мог....

В пятницу вечером он отвез жену в Сан-Франциский аэропорт и вернулся в дом, где кроме Глэна не встретил ни души. А утром начался этот Long weekend (длинный выходной).

Максим спешно выгулял афгана и вернулся на тропу побегать. Прогулку с псом он запланировал на потом... и на подольше, ну это как всегда, как в школе планируешь с понедельника начать новую жизнь, а в long weekend сделать, все, что было не сделано за месяц. Макс побегал и пошел по тропе, теперь уже неспешно в том же направлении с ощущением свободы, ну, так ему показалось, ну, хотелось, чтобы казалось.

Навстречу бежали молодые женщины ослепляя фигурами совершенными настолько, насколько позволял скелет, и добивая ослепленных спортивными костюмами, декольтированными везде где возможно. Недавно он посещал fitness center и видел, как эти фигуры подгонялись. Лица у женщин были, практически тоже одинаковыми потому что черные очки закрывали их наполовину, так что Макс все время хотелось попросить: “Гюльчатай, открой лицико!”. Если женщина бежала с собакой, было легче. Когда “дама с собачкой”, то предполагается, что “паранджа” хоть бы частично спущена.

Когда Макс вернулся на ту же тропу, теперь уже с афганом, как раз такая, с приспущенной паранджой (с шотландской овчаркой) возникла далеко впереди из-за изгиба трассы. Максим был очень рад тому, что как ему показалось, он заметил эту даму с собачкой раньше, чем афган, сносно относившийся ко всем встречным собакам, но на эту буквально бросался, будто встречался с несомненным infidel-ом (неверным). Так что Макс юркнул в сторону от трассы в первую же отводную тропу, где они оба очутились на лесной полянке. Было так спокойно, что Максим даже присел под деревом, облокотившись на гладкий ствол, а Глэн, лег рядом, и зажмурил глаза, как кот. Макс взглянул на Глэна и тоже зажмурил. Но, видимо, не так важно, что он сделал со своими глазами, а то, что ослабил руку, сжимавшую поводок... Остальное произошло очень быстро: — поводок рванулся

вослед за афганцем и продравший мгновенно глаза Макс успел заметить лишь рукоятку поводка, сигнальной ракетой улетающую через кусты из полянки.

- Макс вскочил на ноги и бросился за этой рукояткой,
- Не успел он пробежать и 5 метров, как услышал могучий нечеловеческий крик со стороны тропы,
- теперь он бежал на этот раздирающий душу крик и метров через 50 увидел...

На полянке с противоположной стороны от тропы сидел красавец Шотландская Овчарка и глядел на свою хозяйку, которая истошно и мощно кричала в небеса, потому что больше было некуда. Обеими руками кричащая женщина прижимала к своей груди Глэна, который тоже кричал, пытаясь попасть в трагическую интонацию обезумевшей от ужаса женщины, которая попросту говоря, спасала своего любимца — шотландскую овчарку... Оттаскивая афгана от женщины, находящейся в шоке, Максим лишь успел заметил, что на морде Глэна не было видно ни тени злобы. Еще Максим заметил, что лицо у женщины — очень красивое, и что во время всего эпизода, страшные зубы афганца были в миллиметре от этого лица. Это был один из самых сильных человеческих поступков, которые Макс наблюдал в своей жизни и, уже не в первый раз он подумал: “ — God, bless America”.

Но дело не в Максе. Трагическое, искреннее и мощное контральто женщины афганец воспринял, примерно как... роман Неморино из оперы Любовный Напиток. Которым не единожды великие режиссеры современности пытались убедить людей услышать горе ближнего.

В тот же вечер они гуляли перед сном. Широкое поле, залитое ярким светом огромной полной луны, висящей над лесом, даже если не хочешь, тянет подумать о вечном. Максим ощущал, что поводок был натянут, но не сильно... хочешь разглядывать — разглядывай... и он говорил своему я, что эта страна, Америка необыкновенно красива, и с опозданием повторял то, что уже было отмечено очень, очень давно: что “Это Хорошо”.

Луна продолжала светить, а человек и пес отбрасывали темные тени. Максим видел только одну тень — собаки, и по ее форме сообразил, что пес собирается просто сесть на землю, ну так, посидеть немного... И было видно, что в поле зрения садившегося афгана попала полная луна, и что тот не ожидал увидеть ничего подобного, и что, пожалуй, полная луна никогда прежде не проплывала над полем... его зрения. И пес, который не закончил садиться, как бы забыл, что он намеревался делать, приостановил фазу и принял... любоваться луной. Макс, который никогда в жизни не видел никого, кто решил сесть и не довел своего намерения до конца, подошел к афганцу и погладил его шелковую голову, направленную в сторону луны и пес лишь слегка сожмурил глаза, но не оторвал своего взгляда от чуда, которое он заметил, по-видимому, в первый раз в своей жизни... В этот вечер Максим тоже впервые в жизни обратил внимание, что луна перемещается по небу, правда, медленней, чем бы хотелось — утром рано вставать.

Глава 12. Сон

Человек никогда не поймет моих намерений.
Он так устроен.
Случайное событие — случайно лишь для человека.

Теория вероятности — инструмент признания неразрешимости моих тайн. Я замешал добро и зло в пропорциях мною избранных в соответствии с формулой, которую человек не выведет никогда.

Никогда и ничего до эмиграции Максиму не снилось. Но, стоило ему оказаться в Америке, сны полезли в голову, осмысленные, часто с совершенным сценарием и действующими лицами настолько натуральными, что даже описать трудно. О том, что Америка здесь не причем, Макс вскоре догадался. С того самого дня, как он встретил Машу с Глэном в аэропорту Сан Франциско, сны перестали приходить.

В эту ночь Маши опять не было дома и ему тут же явился сон, будто бы ждал, ну когда она уедет — такой же яркий, как и до ее приезда, цветной и о самом главном, словом, странный сон...

Сон начался с признания Тамаре, которое делал Демон в одноименной опере Рубинштейна. Как и двадцать пять лет назад, когда Максим последний раз слушал эту оперу, Демона исполнял Борис Штоколов. Тот был известен своими записями, где звучал под Шаляпина, чем и был знаменит в Союзе. Но голосок у него был слабенький, и в опере ему делать было нечего, но он делал. Так, во время исполнения Демона, он произносил не значащийся в партитуре звук: "Ха!" — видимо с целью вогнать всех в дрожь, но Макс перестал ходить именно на эту оперу. Так вот сейчас, ему спящему опера пришла сама. Тот же Штоколов пел Тамаре: "... на нас не кинет взгляда, Он занят небом — не землей", имея в виду Создателя... и спящий Макс принял обдумывать спетое. Ну, какой бодрствующий будет этим заниматься? ...

После пробуждения из памяти Максима исчезли многие детали этого эпизода, но хорошо запомнился лишь результат размышлений, что при скорости опроса своих владений, стремящихся к бесконечности, Бог мог быть занят Землей на время, только стремящееся к нулю. Ну, что ж, достаточно, если знаешь что делаешь — как-то чтобы поставить диагноз, и может, запланировать коррекцию, или наметить визит, во сне же сообразил Макс. И тут же подумал, что в перерывах между визитами нужно, чтобы оставалась какая-то помощь на земле... И эта идея о помощи так его взбудоражила, что он чуть не проснулся...

Максим не проснулся, потому что подумал: "так вот для чего нужны Богоизбранные... чтобы взять на себя Его работу, когда он занят ... "небом — не землей!"....". Очевидно, что Демон врал Тамаре насчет Бога — не было никакой коррупции...

Во сне также присутствовала личность, которую нельзя было никак описать, но Максим отождествил ее с Богом. Тогда, в этом сомнений не было, они появились позже — после пробуждения. А во сне Макс спешно принял задавать Богу вопросы, причем, над ним все время довлело ощущение, что Богу некогда, и было основано на том анализе, который Макс же произвел вначале сна. Макс спросил у Бога, наделил ли тот богоизбранных особыми свойствами уже при создании, или избрал их среди ранее созданных и по каким признакам? Важно ли это? И, не дожидаясь ответа, понял, что это не важно. Макс был очень доволен, что понял это сам, и Богу не пришлось терять время на ответ. Далее, сэкономив Создателю время, Макс уже уверенno спросил: " а... не по тем ли признакам, за которые Богоизбранные нелюбимы большинством?"... Помнится, Макс был недоволен редакцией вопроса, потому что хотел сказать "... демократическим большинством", а про

демократическое опустил. "Не в этом ли секрет Создателя? " Макс взглянул на фрагмент пространства в спальне, в середине которого, как он был уверен, Создатель и размещался...

Присутствующий создатель ничего не ответил, но у Макса сложилось впечатление, что тот не собирался возражать. Якобы, это сложнее, чем ты думаешь, но ты на правильном пути...

Потом, кто-то из присутствующих заявил: "Здесь создается то, чему предстоит непрерывно и бесконечно развиваться ", но Максим не мог вспомнить, сказал ли это Бог или сам Макс, а Бог лишь утвердительно промолчал. Во всяком случае, не возразил...

И тут Макс наконец решился и, почти зная ответ, взволновано спросил Создателя: "...как же ты решаешь, когда нужно на нас кинуть взгляд?"...

Создатель величаво и спокойно ответил: "... верно, когда нужен software, который еще не был спущен избранным, или изъять hardware... тут Максим понял, что Создатель адаптирует текст специально для него — для Макса и как только у Макса это мелькнуло, Создатель добавил: " ну ты же знаешь". В этот раз Максим не решился уточнять...

Затем, было произнесено еще несколько фраз и Макс не смог бы в точности вспомнить, кто из присутствующих произнес такую.

"... Я не могу быть козлом отпущения — это fulltime job. Мне нужно заниматься и другими мирами".

Но, ведь богоизбранные тоже не до конца верят в Бога, в лучшем случае лишь исполняют формальные обряды и все, Макс помнил, что именно эту фразу он прокричал, поэтому был уверен, что это его фраза.

— Так надо. Они — люди, а люди сделаны верующими в то, что они будут жить вечно и притворяющимися, что верят в обратное.

"Но избранные!... их же ненавидят!" — прокричал Макс!

"Что ж, такова судьба всех коллаборационистов, даже тех, кто со мной"...

И, Он — Создатель перестал быть видимым в середине комнаты, но Его слова еще доносились отчетливо: "...Я замешал добро и зло в пропорциях мною избранных по формуле, которую человек не будет знать никогда..."

Громко звонил будильник, Максим открыл глаза и впился взглядом в циферблат стенных часов... было десять утра! Неслыханно поздно! И тут Макс догадался — это был не будильник. За закрытыми дверями в полное горло орал Глен и в этом крике угадывалось, что афганец еще находится под впечатлением вчерашнего фортепианного концерта Рахманинова, но в отсутствии наводящей партии рояля сильно фальшивит... Максим продолжал лежать на кровати, ошарашенный ушедшим сном. Реальность жизни его как-то еще не заинтересовала. Он не успел уточнить что-то важное а теперь все! Больше не удастся.

Так все же, как часто Бог приходит на землю? Не так уж редко!? Чтобы сказать что-то существенное? Сообщить что-то, что уже пора сообщить? Что-то такое, что неведомо даже Богоизбранным? Когда надо продолжить творение? Может быть, эти мгновения настают, и Он оборачивается к Земле. Во время этих визитов, Ему, конечно, не нужна никакая помощь. Он здесь Сам. Он продолжает творения. Он сеет семена без какой-либо постигаемой корреляции с его реализованными планами, без видимой людьми зависимости от Его предыдущих предпочтений, без очевидной для человечества связи с Его прежде принятыми решениями. Но что же есть общего?

Как Он может говорить с человечеством, когда люди не могут говорить с людьми? ... Так вот оно что... музыка, остается только музыка... единственный язык, общий для всех... людей и, кажется, не только...

Наверное, так однажды прозвучал голос, который был услышан лишь одним человеком, избранным для этого. И человек записал этот голос. Потом, история скажет — это вторая часть фортепианного концерта № 4 Бетховена. Это тоже правда. Но Бетховен впервые записал в нотную тетрадь мелодию, которую ему было предписано услышать. Его мама была избрана похоронить одного за другим трех ее первенцев, вынашивать, родить и растить Людвига и, когда настало время, был открыт прямой канал — “прием только” — и тот, кого слушал Людвиг, был Бог.

Многие, услышавшие эту музыку в исполнении, уже никогда не смогли оставаться прежними... Правда, таких многих очень мало... А у большинства... у большинства уши проверили и решили не пропускать дальше... ни к голове ни к сердцу...

И тогда, тогда, наверное, Он сказал, что “это нехорошо”, и на нас... кинул взгляд, и следуя этому взгляду... был рожден Рахманинов.

Глава 13. Воскресенье

Маша полетела к сыну в Одессу, хотя по любой логике должно быть наоборот. И еще — от сына нет звонков, а по логике, телефон должен незамолкать!

— Эти пять лет разлуки для каждого из нас означают разное, — думал Максим.— Три ощущения, слабо зависимых одно от другого. Впрочем, уже четыре. Даже для меня растворяются в памяти воспоминания об аэропорте Шереметьево и расставании — я держал все это в памяти — огромные, одинаковые серо-голубые глаза жены и сына и страх расставания... Осталась лишь рутина этих лет... Вчера на тропе эта женщина, кричащая именно Богу, что светлорыжее чудовище прибежало без поводка и намордника чтобы покусать ее любимую Колли... Наверное, когда ложились на амбраузуру, ощущали что-то подобное? Заканчивался бой и убитое тело попадало в дело болтуна из “органов”, с которыми живой даже не здоровался, зато они, якобы, в точности знали, что у погибшего было на душе...

Почему не отвечает Пашенька? Это же все было прожито для него... Может быть, я вел себя точно также по отношению к моему отцу и теперь Бог говорит мне об этом? В конце концов, Паше надо лишь прилететь, зайти в офис и получить эту Грин Карту, которой еще нет даже у меня — только разрешение на нее... Наверное, умный человек — это тот, кто замечает свои черты у сына еще до того, как он повзрослеет... и, возможно предотвратит их появление, но, заодно преградит дорогу всему лучшему, что составляет тебя, дорогу к твоему же ребенку. ... Зачем живет человек? — чтобы убедиться, что от него мало что зависит, и он опять не познал создателя?.. Ну ладно...

Так что же с псом? Будто он долго обдумывал, что делать с Максом, а вчера решил. Будто бы Максим прошел ряд тестов, и позиция относительно него была пересмотрена. Вскоре, после первой “музыкальной прогулки” пес позволил Максу извлечь у него из пасти куриную ножку, которую он предварительно вытащил из тарелки обедавшего Максима, не ожидавшего ничего подобного ни от кого в своем доме. На морде пса не было написано, что

он делает что-либо недозволенное. И Макс, который все еще был в шоке, забрал кость у пса назад, иначе бы не забрал. Афган без рычания позволил Максиму взять косточку и тут же уселся рядом ждать, когда же косточка будет ему возвращена. Уже после, Макс вспомнил: жена говорила, что косточка может быть взята лишь на время, что обычно делалось для инспекции на отсутствие острых краев. И процедуру нельзя нарушать, говорила Маша, потому что неизвестно что произойдет, и ее голубо-серые глаза становились еще больше, чем обычно и Максим верил, что неизвестно.

В тот же вечер Максим и Глен сидели дома. Макс, как обычно, программировал на компьютере, а телевизор транслировал классическую музыку. Глен время от времени подтягивал, как человек, когда слушает в полуха. Подывающая Афганская Борзая воспринивается как исключительная, но все же собака. Какое-то время спустя, псу, очевидно, надоело подывать, и он замолчал... Может, и не было загадки? Но разгадка пришла, неожиданная, как судьба, как тайна, которую невозможно предугадать. Как миллион, выигранный в лотерею или как... Впрочем, вот как это произошло.

По телевизору шла программа — Глен Гульд играл фортепианные концерты Баха. В этой записи играющий Гульд себе же подпевает мелодию, но так тихо, что расслышать мог бы только внимательный слушатель. Глен Гульд — это богоизбранный пианист, с душой без оболочки, созданный, видимо таким образом, чтобы легче было им управлять с небес. Но, с другой стороны — с душой, не защищенной ничем. Он играл в своем нечеловеческом ритме. Были и другие пианисты, которые выдерживали такой ритм, но это звучало как механическое пианино, там тоже не было ошибок, но не было и музыки...

А у Гульда ничего не пропадало! Видимо, его особенность подпевать была связана с тем, что он был не в силах удержать мелодию, которая вырывалась из его души непроизвольно. Но, поскольку он старался, напев был едва уловим, и это не мешало слушателю. Гульд пел даже во время записей, и это его не смущало, потому что случайные люди его не слушали. Эту музыку, которую Бах, по-видимому, услышал непосредственно от Бога... эту же музыку Гульд возвращал людям — тоже напрямую...

Итак, зазвучала запись. Гоулд играл фортепианные концерты Баха. Минут за пять, до начала передачи, афган Глен устроился в центре афганского ковра, положив голову на вытянутые лапы, и задремал. Но, все изменилось, лишь Гульд принялся играть. Афган повел себя неожиданно. Он сразу проснулся. Вид у него был взволнованный, он медленно и уверенно подошел и сел между динамиками, установленными в стороне от телевизора. Он даже шел не как собака, а стараясь не стучать костяшками по паркету. Сел тихо и осторожно, как это делает опоздавший зритель, допущенный в зал, когда свет уже погашен, а музыка уже звучит. Устроившись между динамиками, пес задрал кверху морду, и прикрыл глаза, так полностью замер, не опуская головы. Казалось, он чего-то ждет... Но, как только Гульд, потеряв контроль над своей душой, не в силах противиться внутреннему голосу, начал тихонько подпевать мелодию, афган, не открывая глаз и не опуская морды, тоже запел. Но, в отличие от Гульда, Глен пел мощно и чисто. Афган Глен пел ту же мелодию, что робко и задавлено вырывалась из полуоткрытого рта Глена Гульда, пел, как хорошо отрепетированную вокальную партию. Он как бы компенсировал то, что заглушал Глен Гульд, наступая на горло собственной песне. Не знаю, может быть, Бах тоже это делал и Гульд

об этом ведал, но афган Глэн — никак не мог этого знать. И, теперь эта собственная песня вырывалась из душ Гульда и афгана одновременно. И, глаза у обоих были одинаково полузакрыты...

С утра позвонил телефон из Одессы. Это был Паша. Макс подскочил над столом, как всегда.

— Папа, ты можешь к следующему воскресенью прилететь в Бостон?

— Нет, Паша, это же другой берег Америки, я же работаю... причем здесь Бостон?

Из трубки долгое время доносилось лишь дыхание, и Максим снова узнал в этом жену, которая могла молча дышать в трубку еще в Союзе по тарифу одно дыхание за час зарплаты Макса, но теперь он вдруг почувствовал, что творится что-то очень важное и начал не на шутку психовать. Макс психовал, но молча, как его научила Америка.

— А почему ты спрашиваешь про Бостон, лети в Калифорнию, я куплю тебе билеты, как только решишь, Пашенька, солнышко, — сказал Максим, но в трубку снова задышали... Дышали довольно долго, Макс устал держать трубку и переключился на speakerphone.

— Папа, how're you doing?

спросили из Одессы, и Макс чуть не сел. Это конечно самая начальная фраза для самого начала Английского обучения, но ... там не было акцента, то есть, совсем не было...

— Sorry, папа, в субботу я даю концерт в "Mechanical Hall" в Бостоне, at six pm. — Какой концерт, Паша? Что ты говоришь? Объясни, я ведь не видел тебя пять лет, я так скучаю по тебе, какой концерт? — говорил Максим, чувствуя, что несет что-то неадекватное...

— Ты играешь? На чем? Почему я об этом не знаю?

— На рояле, — сказали на том конце, и Макс впервые за всю жизнь ощутил сердце, и что пол уплывает у него из-под ног.

— Я буду играть Баха в "Mechanical Hall" в Бостоне.

Макс почувствовал, что пол возвращается и буквально заорал в трубку:

— Ты будешь играть фортепианные концерты Баха?! — Паша вдруг осекся...

— Who told you that? (Кто тебе сказал?) Mama? — спросил недовольно Паша.

— Нет... Глэн! — лишь на секунду задумавшись, ответил Максим и только тут заметил пса, который высоко запрокинув голову, с закрытыми глазами стоял возле спикерфона, и выл тихим голосом, видимо узнав голос друга.

А из телефона тоже раздавался, практически, вой, но уже со словами: "Глен, Гленочка..."

Надежда Малышкина. Ангел и другие



Стихи автора безупречны. Утверждая это, я вовсе не имею в виду ни стихотворный замысел, ни композицию, ни построение и ритмику, ни архетонику — нет. — Это звучание крови, тон предопределённости, ангельское дыхание, уловленное сумерками. Словно жизнь ещё не созрела, но звук лопающейся скорлупы уже передан верно. Надежда Малышкина слепцом идёт по облакам — что она видит? Раскройте её строки — они могут заставить вас взлететь".

Ирина Жураковская

В этих стихах тайное и интимное обнимается с всемирным и повсеместным. Так образуется атмосфера вечности, окутывающая одну отдельно взятую человеческую планету. Сердце не может

без рифм; поэзия — самое естественное состояние человека, писать стихи это как дышать. Таково бытие Надежды Малышкиной. Она дарит нам себя, и ее стихи надлежит не просто читать, наблюдать их или раздумывать над ними — а жить в них, как в природе; как живут и дышат на Земле.

Елена Крюкова

«Есть одна большая иллюзия: считать, что любовь к человеку дает тебе на него больше прав, чем у других людей. Любовь — твоё личное дело. Прекрасно, когда она взаимна. Если нет — она становится личным делом». (с) Елена Касьян.

Мое личное дело — любовь. К отдельному человеку, к людям, окружающим меня, к целому миру и всему, что есть в нем и вне его. Мое личное дело перестало давно быть личным, превратившись в стихи, слова, мысли. Оно не имеет номера, но имеет имя. И, наверное, его рано сдавать в архив, а потому, я делаю из его листков самолетики и запускаю их в небо, которое так похоже на мой выдуманный и желанный мир.

Надежда Малышкина

angel and she

Он почти не звонит ей. Да, никогда не звонит. А приходит под утро. Садится возле плеча. Смотрит, как вздрагивают нежно ресницы. Как птицы поют в ее снах. И начинает считать. Мгновения. Дни. Улыбки. Родинки. Морщинки у самых глаз. Просматривает сны ее. Раздвигает шторы. Записывает расписание, когда она может летать. Рисует маршруты новые. Ставит остановки — флагшки. Поправляет подушку цветную. Прячет смешные сны. В телефоне пишет свой номер, зная что она не будет звонить. И улетает в утром... а она продолжает жить.

ЭНИОЛОГИЯ

мир черно-белый
это если смотреть из окна
на стоящие в одиночном порядке дома
и считать минуты начиная от ста
заканчивать ночь без сна
но стоит закрыть глаза
как мир превратится в тебя или меня
старика выгуливающего себя
и собаку на поводке
поводы еще те
чтобы видеть день
например в зеленом
или вечер в летнем дождливом сезоне
тогда
черно-белый мир останется лишь внутри
давай смотреть из окна
в себя

КАМЛАНИЕ

направо складываю дожди
налево забытые зонтики
подожди
я расскажу
почему внутри так холодно
письма написанные от руки
и не доставленные почтальоном
ветер унес с собой как и сны
в главной роли с тобою
и теперь метель невпопад
и слова без смысла и красок
но я собираю дожди
и небо не плачет

ШЕПТАНИЕ

может быть помолчим
слышишь вселенная стихла
даже ее корабли в позе какой-то застыли
в этой глухой тишине только по венам токи
азбукой точка тире быстро текут как реки
сливаются в океан
северный ледовитый
самое время молчать
и рекам доверить им

СКОРОСШИВАТЕЛЬ

Письма что хранятся в папке «скоросшиватель дел»
Начинают уже желтеть
Как-будто для них наступает осень
И слова собираются в стаи
Теряют первоначальный смысл запятые заглавные буквы
И все обсуждают планы

Лететь

**Время подвешено ценником желтым
На тонкой веревочке чувств
Налетай бери пока не вернулось детство
В котором все по одной цене
И очень дорого**

/Сбитой до крови коленкой мертвым птенцом из гнезда разорванным рукавом и запахом маминой кожи, в которую плачешь уткнувшись ищешь защиту от боли и мира/

**В этих осенних письмах
Спрятана память
Которую время безжалостно превращает в сухие осенние листья
«скоро наступит зима»**

expansion

**раскинуть руки
представить себя самолетиком
бумажным вчерашним ненужным
с оторванным кем-то крылом
представить можно
а вот взлететь невозможно
законы физики непременно утянут на дно
а ты все равно пытаешься
придумываешь new мечты
в небо смотришь ночами
земные отбросив сны
и вопреки тяготению к благам присущим земле
ты поднимаешься в небо
к Богу
тебе
себе**

folium

**дворник гоняет листья
ветер гоняет листья
и только дождь дает им надежду
на временную прописку
в своих каплях
так и в ладонях чьих-то
уютно ноочует сердце
а утром вернется осень
возьми напрокат мой зонт**

тайнопись

**Давно перестали заглядывать в окна сны
В душу — друзья , рифмы в стихи
В комнате одиноко и пусто,
Как и внутри себя.
Старый фонарщик забыл номер дома
Фонарь в беспросветной тьме головой кивает луне.**

Обычная жизнь
Кем-то поделена на утро и ночь
А ты рисуешь на небе стене и бумаге
Слова
В которых кто-то увидит смысл
Но вспомнит ли он твое имя
Как помню я

субтитры
объявлен май
ищу коренные слова
майка маяк маятник маэта
прячу запах черемухи внутрь
а мелочь в карман
звенит колокольно
церковь небо трамвай

дождь рождается в тучах
а кажется что из детстваб
выбросить все зонты
босиком по лужам по небу
остановить бы хоть на мгновение время
остановиться чтобы запомнить мгновенье

улицы в городе
лица случайных прохожих
рельсы трамваи мосты
пешеходы витрины машины
калейдоскоп событий
весенне-летних открытий
а где-то осень пишет свои субтитры

До-ъъ-дь
и дождь на улицах
и в лицах...
на нервах водосточных труб
играет блюз...
а мне б напиться
губами прикоснуться вдруг
к твоим губам...
но выпить небо
стать птицей
вольной...
а потом
дождем стать
и пролиться где-то
чтоб стать цветком или травой
и прорости в тебе случайно
касаясь снова губ твоих
сегодня дождь

**тебе расскажет
мои желанья
сны мои...**

движущееся подобие вечности
не тороплю время
терпеливо дожидаюсь его в прихожей
то оно меняет пальто то примеряет туфли
время как мода
никогда не выйдет на подиум в том
что ему не к лицу
время не любит спешить
у него свое расписание
даже случайность берется временем за руку
и получает имя
ожидая время в прихожей
разглядываю его экспонаты
и следы
которые оно оставляет после себя
задержался взгляд в зеркале
когда-то там было утро

Иллюзия Понцо

луна по кругу а время куда-то вскачъ
то спринтером
то как улитка в домик залезет
и штопает желтыми нитками порванный мяч
который в луну превращается с пятницы по понедельник
лунные краски разлиты по небу
а старый гример
в антракте мечтает о море
о парусе или о чем-то вечном
а луна по небу в разрисованном желтом пальто
медленно движется стрелкой секундной
куда-то в вечность

Work on bugs

У меня не стихи пишутся —
Время прописью пишет жизнь,
Черно белыми красками, синими
И с ошибками, вроде « жи ши»
На полях не заметки —а правила,
А подсказки где-то внутри,
До которых добраться надо бы,
Заучив на память «дыши»!
И опять не стихи пишутся —
Мысли с буквами в чехарду,
Только время, как вольная птица,
В небо красками пишет «люблю»

Sunspots или вращение солнца вокруг своей оси

вот утро...

**опрокинув молоко,
небесный кот довольный лижет пенку,
туман густой разлился карамельно
и был таков,
в июне ночь, как свадебный наряд
сбежавшей с праздника отчаянной невесты,
похожа на последний и уставший снег,
в котором много серости и плана,
а день, по –прежнему, вращает колесо
секунд
и мчится
на цветном велосипеде
туда, где кот небесный лижет пенку и
утро проливается дождем...**

ЭПОНЖ

Старые забытые зонты...

**Что происходит с ними,
Когда их оставляют в метро
В поезде, который поглощает тоннель,
Или на скамейках в парке среди деревьев,
Бывших когда-то большими...
Помнят ли они узоры ладоней
Державших их
Или капли дождя, выступающие свои причудливые мотивы
Помнят ли они карнавалы зонтов,
Устроенные поздним ноябрем
И ту осень,
Когда они были так нужны..
А может быть, они вспоминают танцы
С летним ливнем и улыбаются,
Встречая свою ненужность,
как неизбежность, превращаясь
в комочек эпонжа...**

trigger

мне приснилась зима...

**тополиный пух притворялся то негой ,то снегом.
календарь записал ,что объявлен июнь
и добавил тумана в рассветы.**

**мне приснилось, что небо — большой океан,
тихий—тихий...**

в нем рыбы танцуют.

**мне приснилось, что рай — где кончается боль
мои сны — перелетные птицы**

аэробатика

день плавится

**как хорошая карамель во рту июньского солнца
небо берет в заложники тень**

и становится невозможным
летний плен тягуч
все дожди уходят на запад
вереницы далеких туч
плывут без забот и без капель
оставляют надежды на осень
как приюту бездомных дождей
без которых уже не можешь
плыть без личных потерь
день плавится
солнце объявляет победу
а ты как маленький самолет без крыльев
медленно падаешь в бездну

трюизм

спокойна до нелепости проста
и сшита из ромашкового ситца
моя давнишняя и вечная мечта
лежит закладкой в старой детской книжке
где я то птица то солдат в бою
или матрос в чужом открытом море
поющий песню ветру кораблю
моя мечта как радуга над полем
созвездие яркое
огромный Млечный путь
глоток воды из родника
слова из песни
она как мир
как имя на устах
она во мне однажды
и навечно

декоративно-прикладное искусство

слово не воробей
стихи не бумажный кораблик
мечты сбываются
как новогодние чудеса
знать бы где упадешь
забросил бы в небо мячик
и стал бы вести отсчет
минутам дням и годам
время летит куда-то
на белом воздушном шаре
трогает небо ладонью
растворяется в летних снах
а Бог снова лепит из глины жизнь
но думает — счастье
и раздает имена
как тысячу лет назад

сущность феномена

день постиран
очищен от событий вчерашних ненужных
взят заложником в плен
и спрятан под кальку памяти
на длительный срок
завтра наступит утро
на чистом листе напишет людей имена
их слова и поступки
лишь в песочных часах
вечность
спрячет надежно смысл
обрекая людей на поиск и муки
даря
любовь

кэжуал

примеряю платье на себя...
то сшито не так
то модель устарела
то длинные в пол и широкие рукава
то ткань побелела поблекла истлела
а я все берусь за пошив
подбираю нитки
перебираю пуговицы
меняю фасон и цвет
то ли бегу за модой
то ли теряю след

личное дело

"Есть одна большая иллюзия: считать, что любовь к человеку дает тебе на него больше прав, чем у других людей. Любовь — твоё личное дело. Прекрасно, когда она взаимна. Если нет — она становится личным делом."(с)

Елена Касьян

заведи на меня досье
укажи все даты отметки
где начало пути к тебе
где конец его...
километры дни иль шаги
в чем измерить дорогу к небу
покажи мои шрамы следы
назови меня чьим-то именем
опиши все приметы мои
и дела и поступки и мысли
заведи на меня досье
чтоб потом снова быть нам
не вместе...

Евгений Жироухов. Тяжёлый рок — или "хоррор", по-английски говоря (типа, «святочный рассказ»)



Евгений Жироухов родился в Чернигове 22.12.153, но буквально из роддома был увезён в Ленинград. Отец был военным, и пришлось поменять много городов проживания ещё до того как начал менять их уже в самостоятельном возрасте. По образованию — юрист, но по жизни бродяга. Перепробовал множество профессий и специальностей. В настоящее время работаю инвалидом неходячим (после аварии). Публиковаться начал с 1982 года в областной периодике Магадана. Около сотни публикаций от Магадана до Москвы. Два сборника рассказов и повестей (2003, 2007 г.г.). Член СП России с 1997 г.(без всякой инициативы с моей стороны).

Совершенно потрясающий рассказ про трех проституток, которых шофер Стас развозит по клиентам. Тяжелый рок девчонки слушают в машине. Тяжелый рок — это и их судьба. И, может, из нее не вырвешься. Но они все равно об этом мечтают.

Бунин, Куприн, Мопассан, Куин и сотни других авторов писали о несчастной доле проститутки. Но Евгений Жироухов нашел свою интонацию. Она безупречно чиста, строга, жутка, жестока. Обо всем сказано словами простыми и холодными, как зимний, новогодний снег. Что такое новый миллениум? Путана читает ярко горящую вывеску. Может, миллениум — это сладкий батончик баунти? Как хочется сладкой, детской радости! Одна из шлюх так недавно была учительницей. И она знает английский язык...

Евгений Жироухов рассказом этим говорит нам: да, вот такие мы, люди, и такая наша жизнь. И есть ли в ней на самом деле праздники? И любовь? И счастье? И покой? И воля?

Елена Крюкова

Промозглый вечер, когда снег с дождём так размылил дорогу, что передние ведущие не слушались руля. Но в салоне машины тепло и уютно даже в эту паршивую погодку. Машину поставили на площадке у кинотеатра "имени Моссовета" и ждали сигнала от хозяйки.

Выключи, пожалуйста, эту какофонию, — вежливо попросила Эля.

— Ты что, подруга, — скривив губы, отозвался Стас, постукивая пальцами по рулю. — Это же вещь, мэтал-л, настоящий хардрок бацают. Хаммер поёт. Я просто балдею... А тебе всё бы своего Моцарта слушать.

С переднего сиденья вмешалась Ленка, мощная фигурой гренадёр-баба:

— Нет, правда, Стас, музыка твоя, аж по мозгам бьёт.

Стас пощёлкал клавишами автомагнитолы и поставил слезливую попсовую песенку.

На заднем сиденье «жигули-девятка», положив голову на плечо Эли, дремала, вздрагивая ресницами щупленькая Мариночка. Она могла дремать под любую музыку, умотавшись за день на смене в своём штамповочном цеху. Кулья правой руки, которую Мариночка обычно прятала от взглядов, теперь открыто лежала на коленках в ажурных колготках.

— Вчера работы полно было, — вздохнула, то ли в расстройстве, то ли в удовлетворении, Ленка.

— Да-а, — с какой-то усталостью протянула Эля.

— Тебе, Элька, как всегда больше всех досталось, — с явной завистью произнесла Ленка. Хоть на Доску почёта выставляй — ударница сексуального труда. Когда из нас троих выбирают, сто баксов всегда ты выигрываешь... Вчера, наверное, целую тысчонку домой принесла?

— Я сама клиентам не навязываюсь, — тихо ответила Эля. — Сами выбирают.

— Девчонки! Хватит собачиться опять! — скомандовал Стас. — Всем работы хватит, лишь бы клиентура удовольствий жаждала. Всё вам лучше в тёплой машине сидеть, чем вот в такую погодку на ленинградке мёрзнуть. Мамка у нас жалостливая — сама прошла через эту тяжёлую долю. — Стас поднял лежащий на панели пейджер, посмотрел на тёмное табло. — Сечёте, как Мамка удобненько придумала для вас? Ей клиентура домой позвонит, она мне сюда информацию скинет — и едем в полном комфорте по адресу.

Ленка поелозила на сиденье, поправила двумя движеньями причёску «под горшок», хмыкнула:

— Мамка-то наша — та ещё заботливая мать-начальница. — Эль, сколько она вчера свою долю с твоих денег себе отсчитала?

Эля — блондинка с тонкими чертами лица, похожая на дисциплинированную белочку в клетке, поправила на своём плече голову спящей Марионочки и хотела было ответить бесхитростно, но Стас, как собачий тренер, рявкнул на обеих девушек, и Эля проглотила начало своей фразы.

— Вам, что было сказано: свои заработки не обсуждать. Мамка знает, с кого сколько свой процент брать. Она в вас свои средства вкладывает. И всё она правильно делает — свой бизнес развивает...

— Ну ты, настоящий котяра, — хмыкнула Ленка. — Верно служишь своей хозяйке. Как в сказке про Бабу-ягу.

— Так и должно быть в любом деле, — твёрдо и уверенно сказал Стас. — Я порядок уважаю, армейскую службу прошёл.

— А что ж ты тогда в шестёрки к нашей Мамке простился? — ехидным голоском спросила Ленка.

— А где же сейчас путёвую работу разыщешь? Вон папашка мой — полгода на своём заводе без зарплаты. Только тем и живёт, что самогонкой своей душу себе облегчает и карман наполняет... Умелец он у меня в этом деле, ох, — с восхищением помотал головой Стас. — Ему на его наливочки и настойки за месяц вперёд заказы делают.

— Вот и организовал бы своё производство, — робко предложила Эля. — Сам себе хозяин. Самое милое дело — своим любимым делом заниматься.

— Ты что! Кто же ему такое позволит? — удивился Стас. — В водочной промышленности, знаешь, какая мафия. Хлеще, чем в нашем с вами деле... Ты вот, Эля, думаешь, что я тоже от ваших денег кормлюсь, как эксплуататор какой-то? Ошибаетесь, леди. Я по своему контракту перед Мамкой обязан за вас свою жизнь положить...

Эля не знала, а Ленка, вздохнув, вспомнила прошлую зиму и разбитое в лепёшку лицо Стаса. Поехали по вызову клиента в окраинный городской район. Въехали во двор через кирпичную арку. Только остановили машину — и к ним направилась четвёрка развязных парней. По репликам легко можно было догадаться, что девчонкам предстоит ночь бесплатных мучений. И Стас, пробуксовав машиной на заснеженном дворе, выскоцил с криком «девки, бегите!» — а сам бросился с монтировкой на штану. Его тогда кучно замолотили ногами до сплошной синевы на теле, вспороли колёса на машине. А Мамка за колёса удержала с зарплаты: «Сам виноват, бдительность потерял».

Стас на Мамку был не в претензии. Мамку он уважал, как когда-то в солдатские годы своего первого командира роты: сильного, умного, красивого. Стас в глубине души и хотел себе в жёны к годам тридцати именно такого типа женщину, как Мамка. С такой спутницей по жизни в жизни не затеряешься, в авторитетные люди выйдешь и будешь на всех смотреть с прищуром, покручивая на пальце ключи от «мерседеса». Мамка умеет масть держать: красивая, гордая, как актриса Быстрицкая или Элизабет Тейлор.

По случайности, как-то заглянув в паспорт хозяйки, Стас обомлел: Мамке-то под полтинник лет... Но она иногда и сама клиентов берёт, когда особо щепетильные желания у клиентов, когда добропорядочные семейные пары ищут свежачка в пресной семейной жизни. Какое секс-шоу она им там устраивает — у Стаса даже не хватало фантазии.

На заднем сиденье проснулась Мариничка. И ещё не совсем проснувшись, по-детски захныкала, поводила из стороны в сторону кульяпой рукой. Она всегда по ненастной погоде жаловалась на боль в несуществующей правой кисти. Уже полгода прошло, как ампутировали расплощенную штамповочным прессом кисть, а Мариничка всё хныкала, рассказывая как в больнице, баюкая, точно ребёночка, травмированную руку, умоляя медперсонал сделать укол, чтобы не было так пронзительно больно. Но ей кололи анальгин с димедролом и объясняли сложный порядок получения сильных лекарств от боли. Она и потом, после больницы, однорукая, осталась работать в своём цеху уборщицей.

Приделала к швабре петлю и умудрялась сметать с пола металлическую стружку и окалину. «Если бы мне дали вторую группу инвалидности, — с обидой кивая на кого-то вверху, объясняла она, — я бы не пошла в прости-тутки. А так сказали, что с одной рукой — это третья группа, а с ней вовсю работать можно... А ведь девушке в восемнадцать лет как надо красиво одеваться, чтобы замуж выйти. Тем более — с одной рукой. А я детишек хочу...».

— Эй, гейши мои! — зычно скомандовал Стас, разглядывая засветившееся табло пейджера. — В одну шеренгу становись! Вызов пришёл... Ага, тут рядом на Первомайской. Требуется одна пэ-э.

— Зачем же так вульгарно, цинично, грубо... одна «пэ-э», — обиженно заметила Эля и прикусила нижнюю губу.

— Одна «пэ-э» — это не то, что ты подумала, — ухмыльнулся Стас, включая зажигание. — Это Мамка обозначает, что клиенту нужна одна персона... Кто пойдёт? Чья очередь?

— Пусть вон Мариничка сначала пробуется, лениво заявила Ленка. — Если её забракуют, я пойду.

«Девятка», виляя, юзом по мокрому снегу, выехала с переулка и помчалась по широкому проспекту. Из магнитолы как раз зазвучала песенку про «вишнёвую девятку». Стас весело подсвистывал под мелодию. Вдоль проспекта празднично светились огни новогодней иллюминации.

Посматривая из окна, Ленка лениво спросила:

— А что такое миллениум? Вон вверху на доме большими буквами светится.

— Наверное, какое-нибудь баунти-сникеры, — небрежно отозвался Стас.

— Нет, там написано «счастливого миллениума». Это что ж — счастливого баунти?

Эля тихо прохихикала:

— Миллениум — это новое тысячелетие. С этого нового года начинается новое тысячелетие.

— Да и хрен с ним, с этим миллениумом, — зевнул Стас и пропел: — Твоя вишнёвая девятка, она меня с ума свела...

Прибыли по адресу. Стас с Мариночкой вышли из машины, направились к подъезду. Мариночка в синтетической шубке, накинутой на плечи, в кофте с длинными, как у Арлекино, рукавами. Ленка с гримаской на лице посмотрела вслед Мариночке, потом сказала Эле:

— Учила, учила лохушку — а всё впустую. Говорила же, что жопой замес надо делать, как будто тесто месишь. На замес первый взгляд клиента всегда ложится. И на каблуках — так и не научилась ноги держать, того и гляди, ноги поломает... Эх, калека горемычная. Во-о, судьба проклятущая... — горестно вздохнула Ленка. — Одна радость у неё, что московская прописка, которую её родители-лимита добыли тяжким трудом. Таких теперь из столицы и лопатой не выгонишь... Ты, Эльк, тоже — приезжая?

— Да, — робко отозвалась Эля. — Меня муж замуж взял ещё студенткой. Сама-то я из Саратова.

— Муж — из московских стиляг? С квартиркой был?

— Да-а, — протяжно и грустно отозвалась с заднего сиденья Эля. — хорошая квартира была, в Сокольниках. С его мамой жили... — Эля вздохнула глубоко и замолчала в полумраке салона.

— Да уж. Со свекрушой жить — это смерть семейной жизни, —

сочувствовала Ленка. — А что же сейчас в квартире съёмной живешь?

— Так получилось, — тихо ответила Эля. — Когда мы развелись, муж ушёл к новой своей... жене. А я сыном со своим со свекровью остались жить. Потом поняла, что мне лучше уйти. — Эля опять глубоко завздыхала.

— А за съёмную квартиру, сама знаешь, сколько надо платить. На зарплату школьной учительницы... Эх... Вот и подалась в гейши, как Стас говорит. Получается, что одно унижение сменила на другое... Эх-хе-хе, такая вот жизнь.

— Сплошной миллениум, короче, — бодрым голосом сказала Ленка. — Но ты же английский язык в школе преподаёшь — ушла бы в переводчицы какие-нибудь. Где побольше платят. Чего так?

— Пробовала, конечно. Не получилось.

Ленка помолчала, потом казала со вздохом:

— Ох, дурёха. Я, когда в челночиках была, в Польшу ездила, так там в Гданьске, те девки, которые по-английски шпрехали, какой гешефт имели...

Ленка, как старый кадр в команде Мамки, всех новеньких посвящала в свою «автобиографию». С человеколюбивой целью: чтобы предостеречь и научить «бабьим манёврам». Первый лозунг, которым Ленка встречала новеньких в команде: «Манда не лужа — хватит и мужу». Потом добавляла: «Главная заповедь французских проституток, знаешь, какая? Не суетись под клиентом. Запомни — пригодится». По мере знакомства, в трудовые ночи, Ленка излагала вкратце свой жизненный путь, подчёркивая при этом «пролетарское происхождение с детства». В школьные годы, в сознательном уже возрасте, всегда участвовала в торжественных мероприятиях в родной Костроме. Стишки читала с трибуны. С красным галстуком на белой кофточке.

А когда стала курсантом милицейского училища, уже со второго курса её отправили в «группе поддержки» на Олимпиаду в Москву. И она там «зазепиться изворотилась» и осталась в Москве для дальнейшего прохождения службы, приглянувшись длинными ногами и румяным лицом, вскормленным на молоке костромских коровушек, куратору за откомандированным контингентом.

До лейтенанта дослужилась в инспекции по делам несовершеннолетних. В смутные годы перемен сама решила «скинуть погоны» и уйти, начитавшись брошюрок «Как стать миллионером», из милиционеров в членки. «Деньги, — вспоминала Ленка, сглатывая слону, — в натуре были бешеные». И, ошелев от бешеных денег, захотела ещё большего и влезла в долги «одному противному барыге» — и осталась без всего, даже без того позолоченного электрочайника из Парижа, письменно завещанного у нотариуса своему первому, пока ещё несуществующему в природе сыну.

«Удача, — значительно говорила Ленка тупым новеньkim из провинции, — она, как менструация. Ждёшь, ждёшь — а она, то есть, то нету».

Из подъезда убогой пятиэтажки медленной походкой вышел Стас, на ходу пересчитывая деньги в руке.

— А, рублями расплатились, — сказала презрительно Ленка. — Кажись, лошак дешёвенький Мариночке попался.

Стас уселся за руль и спросил: — Пейджер не маячил? Мамка не звонила?.. А ничего, Мариночка подошла. Ему, видать, хоть вообще без ног, без рук. Видать этот узбек таджикский совсем оголодал без своего гарема.

— А ты проверил? — спросила Ленка. — Там не групповичок намечен?

— Кого учишь! — надменно ответил Стас. — В квартире, кроме тараканов и мышей, никого. Я даже на балкон заглянул. Я же за вас! — Стас потряс вынутым из-за пояса пистолетом: то ли игрушечным пугачом, или настоящим.

— Мамка сказала, чтобы купил, вас охранять.

Дожинаясь окончания тарифного часа, сидели-молчали в тишине тёмного салона машины. Дождь перестал стучать по крыше и сменился сразу густым снегом. Стас широко, зевасто разинул рот, точно дикий лев где-то в африканской саванне среди своего родного прайда.

— Ох, девчонки, спать хочу смертельно. То сна нету пять суток подряд, а то за рулём боюсь уснуть... Это у меня от контузии мозговой, там, в Чечне.

— Так поспи, Стас, — сказала уютненьkim голоском, точно ребёнку, Эля.

— Пока ждём, поспи хоть немножко, подремли.

Опять широко зевнув, Стас резко ответил:

— Ты, что дура? Я же, если усну — хрен меня разбудишь... Я как в обморок падаю. Говорю же, контузия боевая.

— Стас, а в этой Чечне.... Ты людей убивал? — робким голоском, с видом испуганной белочки, спросила Эля. — Это же наши родные люди.

— Ты, Эльк, точно сплошная дура, — грубо высказалась Ленка и погладила Стаса по плечу. — А если приказ! Ты понимаешь, что такое приказ, училка?.. Это стреляй — и не думай. Ферштейн, май беби гёрл?

— Включу-ка я свой тяжёлый рок. А то усну иначе, — Стас помотал головой, как бык от оводов, включил магнитолу.

Сразу, резко, до всей моци аудиосистемы ворвался звук, наполняющий буквально на разрыв пространство салона «девятки». На заднем сиденье пискнула Эля и зажала руками уши, а Стас замер, как в экстазе упоения, уставивший куда-то вдаль неподвижными глазами. Ленка смотрела на Стаса чуть искоса и взглядом самки, признающего своего вожака.

Мелодия в такте удара чугунной сковородкой по рельсе была по барабанным перепонкам, учащала сердечный ритм вскипевшей кровью. В двух ближайших домах сразу на нескольких этажах зажглись окна.

Эля в несдержанности, перегнувшись через передние сиденья, надавила кнопочку на магнитоле. В наступившей тишине послышался далёкий вой милицейской сирены, а где-то, совсем вблизи — тоненький зуммер пейдже-ра.

Стас глазами маньяка посмотрел на Элю. Затем оттянув с горла шарф, дёрнул кадыком и сказал голосом зомби:

— Всё нормально, девчонки... Уже спать не хочется... А мы — где?

Пейджер бери, звонит оно, — со вздохом выговорила Ленка и встряхнула своей причёской.

Протянув медленно руку, Стас взял пейджер и долго смотрел на его экранчик. Потом сказал:

— Вот ещё клиентура обозначилась, какая-то интересная. И совсем недалеко. В измайловский комплекс приглашают. И сразу троих «пэ-э» вызывают.

— Да она что там Мамка наша, — встрепенулась Ленка, — башкой съехала? В Измайловском всё давно в цементе, чужих — нету... Мамка наша что — на смерть нас посыпает? Нам какую там месть заделают. Спидуху прицепят, чтобы неповадно было!.. Всю родню позаражаем и будущее потомство!.. Ты понял, а?! У Мамки, видать, бешенство матки началось с метастазами на мозг...

— Смирно! — сказал Стас громко, но спокойно. — Обсудим манёвр. Я лично, нашей хозяйке доверяю больше, чем нашему президенту. Обсуждать, у кого чего, какие метастазы — обсуждать не будем. Демократию всяческую вырежу собственноручно, — Стас показал присутствующим два растопыренных, как ножницы, пальцы, — все детородные влагалища... Усекли?.. Гейши вы мои полудевственные, — Стас недобро усмехнулся. — С Мамкой не спорить. Я так воспитан: мы — патроны, а кто нами стреляет — тот знает цель...

Уйдя в угрюмо-враждебное молчание, Ленка отвернулась к окну. Эля превратилась в большую ёлочную игрушку, завёрнутую в потёртую дублёнку.

В наступившей тишине Стас включил дворники на залепленном снегом лобовом стекле. Щётки дворников сделали пару натужливых движений и остановились заклиненные тяжёлым мокрым снегом. Стас, находясь в глубоком раздумье, потянулся указательным пальцем к магнитоле.

— Не надо музыки, — пискнула мышкой Эля. — Давайте поедем все к хозяйке. Объясним ситуацию по словам Лены.

Ленка отозвалась хриплым голосом, не отворачиваясь от окна:

— А Ленку к этим разборкам не приспособливай, училка. Ленка в своей жизни уже этих разборок нахлебалась... У меня перед Мамкой кредит за квартиру. Я, может быть, и на амбразуру за неё полезу.

— Вот-вот, — посмеялся Стас. — Зачем же нашей хозяйке своих должников на смерть посыпать. Чего шугаетесь?.. Пойду-ка я из автомата ей позвоню, проясню ситуацию.

Стас выбрался из машины, сгрёб в пригоршню снег с лобового стекла и направился к светящимся вдалеке витринам магазина. По пути он лепил ладонями снежок и бубнил себе под нос: «Ох-хо-хо, своим умом жить не просто... Кому тогда верить... И чего такого натворили. Знал бы такую жизнь, и родиться бы не захотел...».

— А что, правда, так страшно туда ехать? — дрожащим голоском спросила Эля у Ленки.

Ленка, не отвечая, вслух проговорила свои мысли:

— Эх, если бы не этот квартирный кредит, с дуру взятый, да видела бы я эту кобру королевскую на розовом кончике. Я бы сама индивидуально смогла бы клиентов ублажать. Да ещё года два-три запросто. И все бы бабки на свой карман. А потом бы с чистой совестью на свободу — и замуж за тихоню-мужичка...

— Лена-а, ты это о чём? — робко переспросила Эля.

— Ах, да, — встрепенулась Ленка, как очухавшись. — Говорю тебе, училка, что надо на собственный хорасчёт переходить. В смысле — создать собственную клиентуру — и работай на дому. Все деньги к одному месту лягут. Откуда пришли, к тому месту и предназначаются.

— Как это? — опять переспросила Эля.

— Это я так, примерно. Ну, побыла ты с клиентом, видишь, что по смаку ему пришлась — и оставляешь записочку, мол, захочется чего-когда-если, звони по телефончику, договоримся. И дешевле станет, и сласти больше доставлю, чем по казённой надобности. То есть, на своей жилплощади работать. Ферштейн, бамбиночка? Камчугеза, короче.

Ленка бодро встряхнула своей короткой причёской, закурила тоненькую сигаретку. Эля, чуть помолчав на заднем сиденье, будто о чём-то раздумывая, заявила с решительными интонациями:

— Не-е, я так не могу. У меня Лёшенька дома. Как же я так — вот таким образом.

— Какой Лёшенька? Мужик, что ли?

— Мужик, — хихикнула Эля. — Уже три года мужичку. Растёт сынулька.

— Вот дура! — засмеялась искренним смехом Ленка. — Дурам всегда ве-зёт.

Ребёночка вот имеешь... А рожать, правда, больно? Больней, чем аборт? Я ведь ни разу не рожала, а абортов — четыре штуки. Это ж — не то самое?

Эля промолчала. Ленка ещё задавала вопросы по затронутой теме, а Эля, точно отключилась, думая о чём-то своём, очень важном. Затем она сказала с упрёком и, как бы открывая свою личную правду:

— Ох, вам этого не понять.

— Чего не понять-то? — Ленка обернулась порывисто назад. — Ты чего хочешь сказать?

— Вам, не рожавшим... Не так тяжело преодолевать свои чувства.

— Чего, чего? — у Ленки от удивления выдвинулась вперёд челюсть и оскалились зубы.

— Я читала специальную литературу, и я знаю, что только рожавшие женщины испытывают настоящий оргазм в интимных отношениях. Высший уровень проявления чувства. Но он — такой внешний уровень. Ах, как... — Эля захлюпала носом, достала платочек, высморкалась. — И вам этого не понять, как это противно. Лежит на тебе мерзкая, отвратная, вонючая, чужая для тебя туша... А ты... А ты отдаёшь ему высшие чувства своего, так сказать, организма...

Эля проговаривала эти слова, а сама выглядела так, будто эти слова у неё вытаскивают через пытку. И Ленке, перегнувшись через сиденье, захотелось отхлестать Элю по щекам, чтобы вернуть её из обморока.

— Очухайся! Дура ты! — крикнула Ленка в панике. — Чего ты себе навнушала всякой чепуховины! Подумаешь, обычная производственная техника, короче говоря. Ну, как будто физзарядку делаешь, чтобы не толстеть. Через силу — но на пользу. Я всегда так в такие моменты размышляю... Эх, ты, грейbritан инглиш спик.

Из подъезда показалась Мариничка. Постояла, поколебалась, как одуванчик под ветром, сфокусировала свой взгляд на силуэте знакомой машины и двинулась к ней походкой циркового канатоходца.

— Ну, слава богу, — выдохнула Ленка. — Отработала своё — и живая.

Тут подбежал к машине Стас с радостным лицом и запыхавшийся. Протараторил:

— Никакой проблемы нет. Там в измайловском — свои люди, по моей на-водке заказ. Всё схвачено, гейши вы мои целомудренные. Как раз все втро-ём, всей командой отработаете — и на сегодня норма выполнена. Можно по домам, и отдыхай своими гениталиями...

Ленка вмиг подобрела лицом, вскормленным молоком костромских коро-вушек, что-то подсчитала своим практическим умом, сказала одобрительно:

— Давай, гоним в этот комплекс. И по домам, точняк.

«Девятка» Стаса понеслась по шоссе Энтузиастов, подрезая внаглу «деревню» с немосковскими номерами. Стас опять врубил свой тяжёлый рок, отгоняя сонную контузию, и пояснил «гейшам» свой «удачный рас-клад», поначалу так их напугавший.

— Девчонки, я на днях с одним своим бывшим сослуживцем состыкнулся в пивнухе на Новом Арбате. Интересно получилось, скажу вам, вижу — морда знакомая, а что, при каких обстоятельствах — вспомнить не могу... Контузия моя, конечно, изменила восприятие прошедшей жизни. Такое у меня случается, что начинаешь вспоминать сам себя в прошлой жизни — и, будто в зеркало, разбитое на осколки, смотришь. Кусочками себя видишь — такая хренотень получается: то я такой добренький, хорошенький, а то — ублюдок какой-то, аж сам себе противен... Вот так, девчонки.

— Не гони-и-и, — попросила Ленка, подтягивая коленки к подбородку. — Стас, ты так перевозбудишься от своей роковой музыки, что весь народ го-тов передавить на дороге.

— Нет, правда, — ответил Стас, работая обеими подошвами по педалям «газ-тормоз». — Мне по жизни что надо — чтобы эта тачка в моей собст-венности была, а не арендованная у Мамки. Я бы тогда свободным ковбоем себя чувствовал. Я бы...

«Девятка» со свистом колёс, проюзив левым бортом, остановилась перед перекрёстком на красный сигнал светофора. Стас хохотнул хладнокровно, точно Шварценегер в кино, под визг запищавших девчонок и сказал значи-тельно:

— Ша-а! Не ссыте кипятком, подруги боевые. Я вам, может быть, обеспе-чу постоянный плацдарм для ваших трудовых подвигов, что ни вам, ни Мамке нашей и не снилось. Тогда в пивбаре, я со своим корешом обговори-ли наши общие коммерческие интересы в этом деле. Тот, кореш мой бое-вой, мы с ним в одной палате лежали в военном госпитале. Он меня, знае-те, как уважал за моё боевое ранение...

— Стас, — ахнула Эля, — тебя там подстрелили?

— Почти. На растяжку наткнулась наша коробочка, а я снаружи сидел. Ну, меня шандарахнуло взрывной волной, башкой об дерево. Ну так вот: Игорёк, этот кореш — он из интендантских войск, на складе там солдатскую лямку тянул. Короче говоря, каждый по-своему заставлял мятежный народ сохранять конституционный порядок. Игорёк с дизентерией лежал в госпи-тале, понос его замучил. Он теперь тут в охранной фирме работает, в этом комплексе. И может нам очень пригодиться. В дальнейшем, когда контакт наладим. А сегодня его смена себе девчонок заказала. У одного из них день рождения.

В движении по широкой улице мелькали провисшие от снега растяжки с новогодними поздравлениями, мигали ёлочными гирляндами стриженные «под ноль» деревца.

Стас свернул внезапно с широкой магистрали на территорию парка и по-вёл машину по парковым аллеям, чавкая колёсами в расквашенном снегу. Через пять минут «девятка» оказалась прямо у главного подъезда гости-нично-туристического комплекса.

— Вот как мы лихо, — горделиво сказал Стас. — Я пойду, разберусь в конкретике. А вы ждите и не пукайте в испуге. Вам же лучше делаю, подруги мои боевые.

На заднем сиденье встрепенулась от дремоты Мариночка, захлопала глазами-блюдцами и сказала весёленьким голоском:

— Прикиньте, а! А этот Махмудик даже не заметил, что у меня руки нет. Прикольно, да?

— Ещё как прикольно, — хихикнула Ленка. — При твоей смазливой мордашке руки-ноги не важны. Правильно кто-то сказал, красота страшная сила.

Эля вздохнула и с выражением грустной белочки в клетке проговорила задумчиво:

— А мне как-то недавно подумалось, что человек из обезьяны произошёл не оттого, что трудиться начал. А оттого, что его... то есть обезьяну, к красоте потянуло. И он, то есть обезьяна, стал свою жизнь стараться сделать красивее. Так я думаю — красота движет эволюцию.

Шустрой походкой, скользя подошвами по тротуару, вернулся Стас. Обычной своей скороговоркой протораторил:

— Всё нормалёк. Ждут вас. Стол накрыт. Им как раз троих и нужно... А свои местные гетеры — дорогущие сволочи...

Эля с Мариночкой вопросительными взглядами уставились в затылок Ленки: «Что скажет матёрая?». Ленка молчала раздумчиво. Потом она махнула рукой: «Пошли, что ли, девчонки. Где наша не пропадала. Бывало и хуже. Бог в помощь».

В цепочку, как гусята на прогулке, посеменили за Стасом, петляя между множеством машин на автостоянке. На первом этаже во втором корпусе, в дальнем конце длинного коридора у дверей с табличкой «Служба безопасности» Стас оставил свой контингент, а сам вошёл внутрь. В коридор с вальяжным видом работников вышли трое парней в чёрных форменках американских полицейских. Двое щуплых, а третий — «шкаф» с лысой башкой и с выражением физиономии, точно у переднего катка асфальтоукладчика.

Они осмотрели критически притихших дамочек. Ленка по-голливудски скалила зубы. Эля и Мариночка улыбались с жалким видом. Охранники покивали одобряюще. Стас протянул раскрытую ладонь, и один из щуплых вложил в ладонь пачечку купюр. Они обнялись, похлопав друг друга по спине.

— Я жду в машине! — крикнул, уходя Стас. — Счастливой охоты!

Усевшись в машине, Стас, слюнявя пальцы, принялся пересчитывать деньги. Деньги все были однодолларовыми купюрами. «Чаевыми набрали, горемыки, себе на день рождения», — подумал Стас.

Для оговоренной заранее суммы не хватало двенадцати бумажек. «Ох, — хмыкнул Стас, — интенданты неисправимы. Во всём, хоть капельку, но схимичат...». Он вспомнил с чего-то военный госпиталь, комиссию врачебную и как этот крысятник складской завидовал ему, комиссованному по контузии. «Под дурака теперь косить сможешь — в жизни пригодится». От воспоминаний у Стаса в мозгах, как что-то для него обычное, запульсировало — и он для успокоения чувств врубил на полную громкость свой тяжёлый рок. От музыки в салоне завибрировали стёкла — но ослабла пульсация в контуженных мозгах, и Стас в дрёме прикрыл глаза.

Оплаченный охранниками тарифный час закончился, но девчонки не появлялись. Стас подождал ещё десять минут, приплюсовав «льготное время» на прощальные церемонии. Однако ж вышло и льготное время — девчонок

не было. Стас, накручивая в себе праведный гнева, вылез из машины. И тут увидел в свете фар пробирающихся среди машин на автостоянке своих гейш. Впереди, поддерживая под руку Элю, шла Ленка. Намного приотстав — Мариночка, мотая арлекинскими руками и подкашиваясь на каблуках. Стас удовлетворенно хмыкнул, уселся в машину.

Ленка, как тяжело больную, подсадила Элю на заднее сиденье. За Элей протиснулась Мариночка и обняла её левой рукой, а культёй поглаживала напарнику по затылку.

Ленка грузно шлёпнулась на своё место и длинно, от души проматерилась:

— ... Сволочи твои кореша, Стас. Ох, какая мерзкая и паскудная сволота...

Стас поинтересовался с настороженным лицом, что такое, мол, случилось, и Ленка опять излилась длинным вычурным ругательством:

— У этого гада, урода, гоблина... у него шары защиты... Чтоб всё отсохло у него там...

— И чо-о-о? — непонимающе спросил Стас.

— А то! Узнал бы что такое на себе — понял бы «чо-о»... Элька в обморок упала... Визжала поросёнком...

Стас по-нервному дёрнул ключом зажигания, резко сдал назад, разворачивая машину. «Девятка» смахно вдарила капот иномарки своим багажником. Но Стас, ни чуть не среагировав, дал по газам и с пробуксовкой умчался с площадки под обиженное поквакивание иностранной сигнализации.

На заднем сиденье Эля тоже как будто поквакивала в коротких, спазматических всхлипах. Волосы её разметались слипшимися прядками, тело подрагивало. Мариночка гладила культёй её по волосам, А Ленка, продолжая материться, приговаривала молитвенно:

— Тишенько,тишенько, лапулечка. Всё пройдёт, дидяточко. Ко всему привыкнем, ко всему приспособимся. Судьбинушка наша такая. Рок тяжёлый, как крест свой несём. Несём и несём...

И Мариночка тоже добавила:

— Меня такими словами и в больнице одна старенькая нянечка успокаивала. Когда я там от боли хотела в унитазе утопиться. Так, говорила, судьба наша случилась. Рок у нас такой — и терпеть нужно. Мне помогло...

— Жизнь наша — сплошной хер-рор, или хор-рор, по-английски говоря, — авторитетно заявила "матёрая". — Это значит, ужас, кошмар, страсть такая, что уснуть можно... Но мы, бабы всё выдюжим. Детушек понарожаем, в люди их выведем, правильными людьми их сделаем. Назло гадам всяkim...

Стас оглянулся коротким движением на скрючившуюся Элю. И выключил свой любимый тяжёлый рок.

— Эля, — сказал он тихо и пощёлкал по клавишам магнитолы. — Я тебе сейчас Моцарта поищу... И ничего, ничего, на сегодня уже отработали, норму для Мамки сделали. И можно по домам и спатеньки...

Ленка как-то странно, будто с таинственным видом, пригнулась ближе к лицу Стаса и прошептала ему на ухо:

— Ты знаешь, Стас, у нашей дурёхи-училки до нашей работы никогда ни одного мужика не было, кроме её первого мужа. Ты понимаешь?.. Во-о, дурёха... А ещё английский язык знает.

Эля медленно подняла голову, осмотрелась вокруг. Вокруг мелькали весёлые, разноцветные огоньки, обещающие счастливый новый год, новое счастливое тысячелетие.

И Эля, вытянув тонкую шею, пропела каким-то дурашливым, каким-то мультишным голоском, какими-то непонятными словами:

— Джингл бэлс, джингл бэлс... Джингл-джингл... бэлс.

Александра Юнко. Особое предложение. Богатый мальчик. Два рассказа



Александра Юнко — поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Живет в Кишиневе (Молдова). Родилась в 1953 году. Окончила филфак МолдГУ. Работала в школе, Доме-музее А.С.Пушкина, муниципальной еврейской библиотеке имени И. Мангера, различных СМИ. Как литератор и журналист печатается с 1968 года. Начинала в легендарном литературном объединении «Орбита», созданном К.В.Ковальджи еще в 1955 году. Была руководителем «Орбиты» (на общественных началах) с 1976 по 1981, когда литобъединение разогнали местные органы КГБ, возродила его в 90-е, затем, в нулевые годы, создала литобъединение «Черновик». Входила в авангардное литературное движение «Axul Z» («Ось Зет»). Автор нескольких книг стихов и прозы (переводных, оригинальных и в соавторстве с Юлией Семеновой), изданных в Кишиневе и Москве. Автор книги эссе «Гадание на Пушкине» (2011). Стихи, проза, эссе публиковались несколько лет на интернет-портале «Подлинник». Стихи выходили в международных альма-нахах «Связь времен» и «Поэзия — женского рода» «Согласование времен»), в сборнике «Прощай, Молдавия!» (Тель-Авив — Москва), газетах и журналах «Русское слово» (Молдова), «Кстати» (США), «45 параллель», «Дети РА», «Зарубежные записки», «Поэтоград» и др. Проза — в итоговых сборниках конкурса малой прозы «Невидимое море» (2011) и «Пролетая над...» (2012), в антологиях русской прозы Молдовы «Белый Арап» (2015) и «Поиск любви» (2016), в журналах «Русское поле» (Молдова), «Москва», «Городской калейдоскоп» (С-Пб), «Семь искусств», «Артиклъ», «Порт-фолио» и др.

Участница Московского биеннале поэтов (2009) и международных фестивалей «Пушкинская горка», «Бессарабская осень», «Акценты». Лауреат премии журнала «Зарубежные записки» (2015).

Александра Юнко обладает особым даром — даром всецелого перевоплощения.

Когда-то Людвиг ван Бетховен восхитился: «О, как прекрасно тысячу-кратно прожить свою жизнь!» Вот Александра Юнко и проживает множество жизней вместе со своими героями, вселяясь в них; наблюдения и житейский опыт, конечно же, для писателя играют немалую роль, но все же никакой опыт не даст того, что врождено, чем ты благословлен, по чему тебя будут узнавать и любить читатели:

«— Милая, — страстный мужской баритон, — ты взгляни ж на меня лишь один только раз... — Он всегда смешил её до слёз, этот воздушный гимнаст, как же его звали, в жизни у людей не бывает таких имён, псевдоним для афиши, остроумный, весёлый, не-правдоподобно красивый — ах! — золотистая щурка под куполом, перелётная птица, мечта...»

Жизнь драгоценна. Жизнь бесценна. Даже бросовая. Даже мусорная. Без Определенного Места Жительства. Русская литература всегда жалела малых сих, снисходила к ним, пела их.

Да, можно петь царей и королей, писать о высотах социума.

Но вовек благословенны те, кто проживает еще одну жизнь близ отверженных. Кому вняты и людские праздники, и людская нищета.

Это и есть высоты сердца.

Елена Крюкова

Особое предложение

Ну и вонища от этих цветов. И на вид они как вываренные менструальные тряпочки — помнишь, чем пользовались, когда реклама еще не заикалась о прокладках и тампонах? Растения такими не бывают. И запах, тяжёлый, хлороформный. Хуже, чем на свалке. Он подползает, опутывает по ногам и рукам, назойливо лезет в ноздри, готов удушить. И сырость. Просто пронизывает до костей. Влага сочится по стенам, чавкает под ногами, в воздухе водяная взвесь, как над Ниагарой. Но там шумно, а здесь тихо, только слышно, как самоубийственно срываются с потолка увесистые капли.

Как её угораздило сюда попасть? Повелась, как девчонка. Нужно было послать того навязчивого юношу куда подальше.

— Живописно, не правда ли? — раздаётся над самым ухом, и она вздрагивает от неожиданности. Поворачивается и быстрым взглядом окидывает худощавого мужчину, отмечая отличную стрижку, интересную бледность и костюм с иголочки. Подошел незаметно, шагов она не слышала.

— Немного напоминает Венецию, не находите? — продолжает брюнет. — Обратите внимание на конструкцию моста напротив. Наша гордость. Точная копия Ponte di Rialto на Гранд-канале. — Он бессознательно-любовно поглаживает блестящий лацкан пиджака. — Это, знаете ли, в Италии.

Она знает. Бывала там, и не раз, и не одна. Ну и сноб этот провинциальный Мефистофель! Она презрительно щурится, но он не замечает этого и раздвигает губы в профессионально обольстительной улыбке:

— О, простите мои плохие манеры. Позвольте проводить вас в центральный офис.

Минуя служебные помещения и гулкие коридоры, они выходят наружу, к аршинным светящимся буквам «БЮРО НАХОДОК», входят через помпезные двери — врата! — и поднимаются на второй этаж. С каждой ступенью у неё словно гирь на ногах прибавляется, хочется развернуться и броситься наутёк. Но любопытство перевешивает.

Она не ошиблась. Он здешний босс, судя по кабинету, секретарше и крепости кофе. Наконец можно согреться.

— Какой-то розыгрыш, да? — с надеждой спрашивает она, отрываясь от ароматной чашки. — Ну, то, что наобещал ваш менеджер. Это ведь невозможно.

— Для нас ничего нереального нет, — мужчина уже не улыбается, тёмные глаза гипнотически горят под изломанными бровями. — Всё, что вам угодно. Заказали — получите желаемое. Юрий... м-м-м... — он бросает взгляд на монитор, — Рябов, да, Рябов.

— Но я не знакома с вашим Рябовым!

— Неужели?

Она лихорадочно роется в адресной книге мобильника.

— Нет здесь никого такого.

— Начальная, — подсказывает босс, — что? Правильно, школа!

В памяти начинает медленно проявляться портрет: соломенный чубчик, веснушки, тихий голос. Прилежный ученик. Ушёл после третьего класса.

— Да, был такой мальчик, — неохотно подтверждает она. — Его хвалили на уроках труда. Он хорошо вышивал. Но это всё, что я о нём помню!

— Поверьте, — вкрадчиво произносит босс, — в наших файлах ошибок не бывает. И если мы что-либо обещаем, гарантия сто процентов. Вернём вам нечто бесконечно дорогое, но потерянное, что бы это ни было. Или кто. Плюс бонусы...

Долгая пауза. Тут есть двойной смысл. Намёк на то, что именем забытого одноклассника прикрывают кого-то другого. Кого же, кого?

Звонит телефон. Хозяин кабинета, извинившись — «Тёща!», вполголоса, но с отчёtlивым раздражением отвечает:

— Да, Аида Николевна. Нет, Аида Николаевна. Сейчас не могу, занят с клиентами. Мы же договаривались — только в экстренных случаях. Ах, котик ваш отказывается от еды!.. Это не в моей компетенции. Вероятно, пережрал и теперь на диете...

Этот разговор придаёт ему что-то вполне человеческое. И неожиданно для себя она соглашается подписать договор. В конце концов, вызволить бедную душу из залетейской тени — благое дело. Тем более стоит спасти мальчика, который так хорошо вышивал на уроках труда.

Одетая в спецобмундирование — комбинезон камуфляжной расцветки, накомарник и высокие болотные сапоги, она стоит на берегу мелкой загаженной речушки и, чувствуя себя по-дуряцки, взывает в пространство:

— Юра! Юра Рябов! Приди ко мне!

Естественно, никто не отвечает.

— Юра!.. — и вдруг она замечает слабое движение воздуха. Что-то бесплотно скользит поверх мутных вод, оставляя на поверхности слабую рябь. Ушей достигает едва слышный плеск. Она неуклюже разворачивается и, увязая сапогами в грязи, медленнодвигается к выходу. По условиям договора, оглядываться нельзя.

Удушающее пахнут цветы. Вспомнила! Асфодели, вот как они называются. Луговые растения, символ забвения. Произрастают в полях Элизурима.

Тоннель бесконечен. В голове всё мешается. Суставы скрипят от сырости. Она уже почти забыла, зачем согласилась на этот сомнительный эксперимент. Даже надеяться и то страшно. И что он скажет? Привет, мол, мадам, позвольте лелеять ваши увядшие прелести...

Лучше уж Юра Рябов, старательное дитя.

За спиной слышится чьё-то затрудненное дыхание, тепло этого дыхания касается затылка, волоски на шее встают дыбом.

Нет, она не нарушит главного условия. Что ей забытый мальчик, что она ему? Легко не оборачиваться, когда не любишь.

Сзади догоняют гулкие голоса, окликают наперебой.

О величайшее искушение — снова увидеть родное лицо, прикоснуться к нему взглядом, рукой, губами.

— Доченька, родненькая, погоди, — это отец. Он подбрасывает её в воздух, к самому потолку, она вопит от восторга и ни чуточки не боится, потому что папка никогда не уронит свою любимую девочку.

— Ты принесла «Графа Монте-Кристо»? — настойчиво спрашивает брат Женя. После ампутации он совсем ослаб, из катетера в пластиковую бутылку капает моча, она таскает ему бесконечные детективы, он глотает их слишком быстро, и просит, безостановочно просит любимую книгу детства. Где ж его взять, этого графа?!

— Милая, — страстный мужской баритон, — ты взгляни ж на меня лишь один только раз... — Он всегда смешил её до слёз, этот воздушный гимнаст, как же его звали, в жизни у людей не бывает таких имён, псевдоним для афиши, остроумный, весёлый, неправдоподобно красивый — ах! — золотистая щурка под куполом, перелётная птица, мечта.

— Бабушка, бабушка, — испуганный лепет ребёнка, — отведи меня домой.

Ей было шесть, когда погиб пapa. Брат умер в больнице, опоздал благородный мститель Эдмон Данте. Циркач разился. Внуков нет. И детей тоже.

Ибо возлюбленный мой ушёл невозможнo рано и не оставил своего продолжения. Жизнь моя пуста, жалкое, никчёмное существование однокой особы средних лет. Подруги — по телефону. Сослуживцы, м-да. Сиротство, сиротство.

Впереди брезжит свет. Под ногами чавкает. Кружится голова. Зловоние асфоделей, что кляп, забивает рот. Скорей, скорей, почти бегом... Плевать на одышку. Следуй за мной, мой бестелесный мальчик, как бы тебя ни звали. Мы хотя бы попытаемся.

Она скользит, падает на колени, руки по локоть в грязи, а цепкие стебли коварных цветов оплетают до плеч, шипы вонзаются в грудь.

— Да, Аида Николаевна, минут через пятнадцать. Вот закончу дела на сегодня — и выезжаю. Да оставьте в покое вашего котика!.. Накрывайте на стол. Обожаю ваши пироги...

«Я тут подыхаю, а эта сволочь собирается ужинать!» — злость придаёт ей сил, и она — на карачках, с охами и всхлипами — ползёт вперёд. Где ж тот обещанный свет в конце тоннеля? Меркнет в глазах.

Ничего здесь не меняется. Загаженная речушка — курица вброд перейдёт — с горбатым мостом, пожухлая трава вокруг. Рядом деловито роется в отбросах бродячая собака. На откосе сидит враскорячку пьячужка, надрывно кашляет, потом, скривившись, издаёт утробный стон и давится, извергая вонючую жижу. Обыденная мерзость жизни.

Его тоже вот-вот выворотит. И в суставах какие-то странные ощущения. Не заболеть бы гриппом, думает Юрий Владимирович.

Дядька в летах, с кошёлкой на тощем локте, склоняется над бедолагой, поддерживает голову, бормочет участливо:

– Сейчас полегчает, чуток потерпи, голубушка.

Юрий Владимирович с брезгливым изумлением разглядывает одутловатое лицо с набрякшими веками. Действительно, женщина. Но в каком скотском состоянии! Сальные космы висят из-под шапки, заляпанный бесформенный балахон, чёрная кайма под обломанными ногтями, одна нога в сапоге, другая, сизоватая от грязи и холода, даже без носка. А запашок... Типичное амбрэ бомжа.

– Что стал столбом? — сурово зыркает на него стариk. — Видишь, человеку плохо? Вызывай неотложку.

Юрий Владимирович машинально хлопает по карманам дорогого пальто — кашмир, не иначе, находит телефон — или как он теперь называется, — тычет в кнопки, сообщает о происшествии.

– Вызов приняли, — сообщает он с неловким смешком, — правда, не слишком охотно.

– Потерпи, милая, — хлопочет дедок над своей отвратительной подопечной, — доктор вот-вот прибудет.

А ему даже спасибо не сказал. Впрочем, не нужна ему благодарность этой странной публики. И вообще — что он тут делает? По-прежнему набегает волнами тошнота и почему-то тянет в сон.

– Ну, мне пора, — врёт Юрий Владимирович, встряхиваясь, — на работу опаздываю.

Он ждёт хоть какого-то ответа, но не дожидается — не слишком-то приятно быть третьим лишним при этой парочке бояков, потом широкими шагами всходит на мостик, словно бы торопится прочь — знать бы куда.

А на самом горбатом верху, скользнув рукой по перилам, почему-то медлит. Смотрит в низкое, заложенное тяжёлыми тучами небо. И ещё раз, почти против воли, оборачивается. Вся картина как на ладони. Пейзаж из фантастического фильма: мелкие воды поверх отходов цивилизации, такой же засранный бережок. Рваные пластиковые пакеты носит ветер. Пьянчужка, обессиленная, привалилась спиной к старику, а тот обтирает ей лоб не слишком-то свежим платком. Набрякшие веки сомкнуты, губы — несомненно, женские, теперь это очевидно — слабо шевелятся. И срываются с них слова, которые он меньше всего ожидал услышать:

– Ponte di Rialto.

Юрий Владимирович Рябов замирает на мосту. Господи, помоги! Нет, эта убогонькая, вероятно, сказала «мостик деревянный» или что-то в таком же роде, а ему просто послышалось.

– Pon-te di Ri-al-to, — медленно, раздельно, словно по заказу, повторяет женщина и мечтательно улыбается, не разжимая век.

Да что это с ним? Галлюцинации? Озноб, ломота, спутанное сознание... И тоска, тоска во всём теле. Так и есть, подхватил вирус. Немедленно в поликлинику. В какую, кстати? Где он, Юрий Владимирович, в данный момент проживает, на какой улице? И что это за город, в который его занесло так внезапно?..

Дядька с кошёлкой трясётся от смеха, разевая щербатый рот:

– Вот именно, голубушка! И пьяцца Сан-Марко, и набережная Дзаттере, и остров Мурано... Славно мы прокатились. Помнишь, милая, то лето золотое?..

И, перекрывая все звуки, несётся из центра, приближаясь, торжествующе-заунывный вой — скорая помощь.

Богатый мальчик

– Ну те и фартит, — шамкает Беззубый без всякой зависти. На кой завидовать? Все знают, у Лёнчика лёгкая рука. Это как бородавка на роже или ухи на разлёт. — К сентябрю миллион сколотишь. И мы с тобой не пропадём.

Лёнчик торопится постучать по деревяшке, чтобы не сглазить:

– Кончай базар, старый, работы выше крыши.

Не любит он, когда языком чешут про удачу. Бизнес это, бизнес. Когда везёт, когда нет.

Беззубый шарит в контейнерах, ручищи длинные, что грабли. Лёнчик находки сортирует, самое ценное откладывает в сторону. Хромушка фасует добычу по клетчатым сумкам. Управиться бы до жары. Только восемь утра, а вон как уже припекает. Летом самая запарка. Люди в отпусках — делают ремонт, расчищают антресоли и кладовки. А то, что кому-то не нужно, обязательно понадобится кому-нибудь другому. Иногда Лёнчик и его друзья помогают макулатурщику в его сарае, тоже золотое дно. Но самое лучшее — похороны. На поминках раздают, что поновей, остальные вещи выбрасывают. И чего только там не найдёшь!..

Обеденный перерыв они проводят в тенёчке. Беззубый жрёт всё подряд, куриные кости и те перетирает пустыми дёснами. А Лёнчик отбросами брезгует. И Хромушке не разрешает. Заразу какую-нибудь подцепишь — и откинешь копыта на раз-два. Выручку он всегда делит на части: про запас, на текущие расходы, а то, что осталось, тратит на еду.

Поверх обкусанного хот-дога Лёнчик рассматривает своих. Беззубый не всегда был глупым. Его обшмонали, когда возвращался с заработков. Тюкнули ломиком — и отшибли всю соображалку. Вместе с документами исчезли имя и фамилия. Иногда у старого что-то путается в голове, и он рассказывает совсем другое. Воевал, мол, в горячих точках, контузило осколком. Пока валялся в госпиталях, шуряк переписал квартиру на себя... А как оно там было, никто уже не разберёт.

Хромушка пуганая, глаза прячет. Больше помалкивает, но приметливая, нет-нет да и подберёт копеечку. Лёнчик нашёл её в подвале, всю в синя-

ках. И кость неправильно срослась после перелома. Отчим был Хромушку смертным боем, а то и похуже.

— Кушай, Лиза, кушай, — говорит он мягко, как младшей сестрёнке, а ведь ей пятнадцать, не меньше.

Хромушка жуёт, старается. Беззубый налопался, как удав, откинулся лысую башку и дремлет, всхрапывая. Лёнчик смеётся. Хромушка тоже хихикает — тихо-тихо, но как приятно это слышать.

«Дорогая мама! Сейчас каникулы, и мы с одноклассниками рыбачим на речке, купаемся, загораем. Несколько раз катались на машинках в парке развлечений. Его недавно построили на окраине, на месте того пионерского лагеря...».

Лёнчик грызёт хвостик шариковой ручки. Пытается вспомнить, чем занимался летом раньше. Но в голову ничего не приходит. Совсем другая была жизнь.

Мерно тикают часы на стене. Пахнет горячим сургучом. Девушка в окошке — раз в неделю она принимает у Лёнчика письма — встречается с ним взглядом, улыбается, и он растягивает губы в ответ.

Второпях дописывает: «Мы занимаемся полезным делом, собираем всё, что может пригодиться, — макулатуру и металлом, стекло, древесину и пластик». Тут хотя бы ничего не надо выдумывать.

Валя-педик долго изучает в глазок, кто пришёл, и только потом гремит засовами.

— Извини, деточка, мало ли кого чёрт несёт, — с обаятельной улыбкой оправдывается он. — Тебе я всегда рад, сам знаешь.

Валя по-домашнему, шёлковый халат распахнут на бритой груди. В ухе — серьга, дорогая. Ногти подпилены и покрыты бесцветным лаком. Сколько времени и денег ему приходится тратить на собственную внешность, с ума сойти. Ну да кому какое дело.

— Как здоровье-настроение? — и Валя снова запирается на все замки.

— Нормально. Мне бы помыться...

— Выходишь в свет, Лёнечка? — понимающе подмигивает хозяин. — Проходи, проходи. А я пока вкусняшек настрогаю.

Валя никогда не жмотничает. Разрешает тратить шампунь и мыло, вытираясь пушистыми полотенцами, хорошо угощает и даже подпускает к компьютеру. Лёнчик знает, что рано или поздно за всё нужно платить, и не расслабляется. Но до чего кайфово лежать в шикарной ванной, не зная забот! Натянуть потом на себя свежее и быть чистым внутри и снаружи.

Кондиционер гонит свежий воздух, и в доме прохладно. На столе чего только нет. Даже икра. Жаль, думает Лёнчик, нельзя завернуть её в салфетку и взять с собой, пусть бы Хромушка разок попробовала. Валя вечно сидит на диете, но питает слабость к дорогой жратве. К обеду он переоделся, причёска волосок к волоску, хорошо пахнет.

– Ты не пьёшь, Лёнечка, и это правильно. Плесну тебе минералочки. А я злоупотреблю...

Валя баюкает бокал в руке, слегка взбалтывает, нюхает коньяк, делает глоток, закатывает глаза:

– Божественно!

Его быстро развезло, он подпирает лицо ладонью и ласково смотрит на гостя, уплетающего за обе щёки.

– Умный ты человек, деточка, а это в жизни главное. Есть один господин — оченьуважаемый господин, хорошо стоит, всё у него схвачено, и он всегда готов помочь перспективным молодым людям, — и

Наш новый век, век двадцать первый,
И легкомысленный простак,
И мудрый человек, степенный,
Не знали, сложится он как.
От дальних сопок на Курилах,
Вплоть до границ кремлевских стен,
Никто из них не уловил бы
Смысл и характер перемен.

Валя делает долгую паузу, долгую и многозначительную, зря, что ли, учился в театральном.

Лёнчик мычит с набитым ртом, кивает, весь — полное понимание. Он и в самом деле всё понимает. Разговоры такие слышит не в первый раз.

– ...Тебе не придётся вот так вот колотиться изо дня в день, каторжным трудом добывая хлеб свой насущный, — и Валя оттопыривает мизинец, любуясь камушком в перстеньке.

Лёнчик обдумывает предложение. Проще всего было бы отказаться, но как-то неловко срываться из-за стола.

– Поверь, Валентин, — говорит он, тщательно вымеряя слова, — я очень ценю твои советы. Но, понимаешь, сейчас никак. Бизнес сразу не бросишь, и люди от меня зависят. Может быть, немного позже.

– Сколько тебе? Двенадцать? Четырнадцать? — Валя, кажется, ничуть не сердится, скорей, растроган. — Растёшь, растёшь. А юность, деточка, так быстролётна...

«Дорогая мама! Год я закончил с хорошими оценками. Оксана Дмитриевна даже предложила сдать экстерном, сразу седьмой и восьмой класс, и обещала заниматься дополнительно. Сейчас каникулы, и я много читаю. Особенно мне нравятся приключения и фантастика. Помнишь, мы читали тот рассказ, где марсианин для каждого человека то один, то другой? Я помню. Почему ты не пишешь? Давно ничего не получал от тебя и не знаю, к кому обращаться в таких случаях».

Профессор Султановский любит редкие вещи, и Лёнчик таскает ему всякую всячину. Потрёпанные книжки с твёрдыми знаками. Монеты разные и

банкноты. Один раз попалась икона. Не сильно старинная, но всё равно дорогая.

Сегодня он принёс планшетку с советскими марками. Ничего особенного, какие-то двухэтажные самолётики. Но профессор хватает лупу, мычит и ахает. Значит, заинтересовался.

Лёнчик, скучая, оглядывается вокруг. Кабинет, куда неходит даже супруга Султановского, не говоря уж о домработнице, обставлен глухой тёмной мебелью. В литровой банке под обрывком марли — почему-то пиявки: присосались изнутри, висят на стекле, противные, скользкие. Тяжёлый стальной сейф. Нигде не видно даже безделушек, не то что коллекционных экземпляров. Профессор, как же! Скупщик, жучила. Но, по большому счёту, плевать, чем занимается Жора. Главное — он не торгуется и платит сразу.

Султановский откладывает планшетку и — нетерпеливо:

— Что ещё у вас в закромах, коллега?

— Вот, Георгий Васильевич, — мальчик разворачивает скомканные газеты и ставит на письменный стол нефритового дракона.

Глаза у профессора блестят. Он рассматривает каждый зелёнецкий выступ и впадинку, не пропускает ни одной подробности. Из разинутой пасти высовыивается язык, хвост свёрнут прихотливыми кольцами, передняя лапа приподнята, как для игривого шлепка или гибельного удара — всё зависит от драконьего настроения.

— Китай, эпоха Мин, — бормочет Султановский, словно принюхиваясь. И, наконец, прикасается к статуэтке руками.

— Помилуйте, Георгий Васильевич, династия Мин наперечёт и вся в музеях, — протестует Лёнчик. — Это более поздний период — гораздо более поздний.

— С вашими способностями, Леонид, — рассеянно замечает профессор, проводя пальцами по заборчику зубцов на хребте, — нужно учиться, учиться и учиться.

— Я и учусь, — почтительно наклоняет голову Лёнчик. — У вас, например.

— Куда мне! — Султановский, тем не менее, польщён. — Хотите, сведу вас с настоящими знатоками?

Лёнчик мнётся.

— Кто я для них? Мне нравится вести дела с вами.

— Но я не всегда объективен, — пожевав губами, неожиданно признаётся профессор, — и не всегда могу дать настоящую цену.

Такой откровенности Лёнчик не ожидал.

— Ну что за счёты между друзьями! — говорит он со всей возможной искренностью. — А мы ведь друзья, верно? И я доверяю вам целиком и полностью.

— Доверяете? Мне? — удивляется профессор и наводит на мальчика лупу, через которую его глаз кажется угрожающе огромным. — В таком случае, не откажите в любезности — откуда у вас такие сокровища?

Он снова тянется к нефриту, как пьянь к бутылке, и осклабляется, сволочь, во все свои вставные челюсти. Лёнчик тоже выдаёт аккуратное «ха-ха».

Султановский ждёт, нетерпеливо постукивая тапком по ковру. Звук получается такой, будто бьёт хвостом собаки. Но собаки в этом доме нет. Жора терпеть не может животных.

— Боюсь вас шокировать, Георгий Васильевич, — качает головой Лёнчик.
— Согласитесь, для нас обоих лучше не открывать свои источники. Ничего личного — бизнес.

Ему есть что рассказать о музеиных запасниках и квартирах коллекционеров. Жору туда на порог не пустят, а перед вежливым мальчиком, который любит историю, двери всегда открыты. И сколько же там соблазнов! Правда, подтыривать по мелочи Лёнчик пока не решается, всегда что-нибудь да мешает. И уж тем более он не собирается давать наводку старому мошеннику.

Но, профессор он или не профессор, Султановский всегда держит нос по ветру. Как раз этому стоит у него поучиться. Лёнчик так и знал, что Жора клюнет на дракончика. Китайские древности, независимо от времени и места происхождения, — ходовой товар. И ранние марки СССР как раз на волне.

«Дорогая мама! За меня не волнуйся. Я веду здоровый образ жизни, по утрам делаю зарядку, не болею. Готовлю себе сам, питаюсь хорошо. Отношу бельё в прачечную. Раз в неделю хорошенко убираю, прохожусь по углам пылесосом, мою полы, драю ванну, раковины, унитаз, каждый день проветриваю комнаты, так что дома чисто и свежий воздух. За квартиру плачу регулярно, и долгов по коммунальным у нас нет. Почему не отвечаешь на письма? Где ты? Если переехала, пришли новый адрес. Пожалуйста».

По знакомой лестнице Лёнчик поднимается медленно, как пенсионер. Он не привык звонить в эту дверь, но теперь здесь живут другие люди.

Миниатюрная Светлана — кудряшки, глазки, ямочки на щеках, — точь-в-точь маленькая девочка, которая изображает взрослую женщину, всплескивает руками:

— Ой, а мы тебя не ждали! Проходи в кухню, будем пить чай.
— Спасибо, — отказывается Лёнчик, — я ненадолго и по делу.

Здесь всё то же — плита, холодильник, пенал, полки, которые навешивал папа... С подоконника, правда, исчезли цветы, зато появилась микроволновка.

Из-за стола поднимается Олег. Ростом он с Беззубого, разве в плечах по-уже, а поверх тугих джинсов нависает брюшко.

— Чего тебе? — спрашивает без особой приязни, почёсывая клочковатую щетину. — Вроде все вопросы решили.

– Не все, Олег Николаевич, — Лёнчик тоже умеет держать паузу, школа Станиславского и Вали-педика, — не все.

– Я вперёд заплатил? Заплатил. Чего ж ещё?

– То был задаток за три месяца. Но квартиру вы занимаете полгода. Таким образом, ваш долг составляет ту же сумму, которую вы давали авансом. А мы договаривались о ежемесячных платежах.

– Мало что договаривались, — раздражается Олег. — Нет у меня налички. Всё в товар вложено.

Врёт без зазрения. Лёнчик понимает: ругать, кроме себя, некого, связался с дешёвкой, торгашом. А поначалу эта семейная пара казалась вполне надёжной.

– Раз вы не располагаете средствами, — сухо говорит он, — придётся съехать. Иначе...

– Ты мне никак угрожаешь? — давится от смеха квартирант.

– Нет, предупреждаю.

– Да кто ты такой, — выпячивает живот мужчина, — чтобы меня пре-дур-преж-дать? Да я тебя живым в асфальт закатаю!..

– Если желаете продолжать в подобном тоне, Олег Николаевич, мне придётся отказать вам в найме.

– Он будет мне отказывать! — всё больше распаляется мужчина. — Так найма никакого не было. Где документы? Показать нечего, всё устно! Моё слово против твоего. И кто тебя, сопляка, слушать станет? Вот позвоню в органы опеки, а у них с этим строго, и упекут тебя как миленького в сиротский приют. Дойдёт до суда, вообще площадь свою потеряешь!..

Лучше бы этот тип про детдом не вспоминал. В ушах у Лёнчика шумит, во рту — железный вкус крови. Он цедит сквозь зубы:

– Поверь, Олежка, до суда не дойдёт. Не вынуждай меня обращаться к моим партнёрам — а они реально очень крутые мэны...

Этот язык квартирант понимает сразу. Натужливо морщит лоб: пацан берёт на понт или — без балды — у него есть выход на серьёзных людей? Хрен разберёт, но — от греха подальше — лучше сбавить обороты:

– Вертишься на рынке день-деньской... Приползёшь домой — и в койку без задних ног. Из головы как-то вылетело...

Но Лёнчик тоже завёлся.

– У моих партнёров, Олежка, — шипит он, — есть отличное средство от твоего склероза. Сразу всё вспомнишь, обещаю.

Мужчина по-рыбы открыывает рот, но не издаёт ни звука. Майка темнеет подмышками и на груди. Какое же гнусное удовольствие — чуять, как от здоровенного мужика разит липким запахом страха.

Тут в разговор вмешивается — и очень вовремя — Светлана.

— Ой, — говорит она, роняя тарелку, и та с грохотом разбивается, осколки летят по углам, — ой, мальчики, это я виновата, совсем забыла про дежнеки, — снимает с полки жестянку из-под кофе и, пока супруг трясущимися руками прикуривает на балконе, отсчитывает купюры.

Закрыв за собой дверь, Лёнчик без сил прислоняется к косяку. Нервное это занятие — квартиру сдавать.

«Дорогая мама! У нас всё по-прежнему. А у тебя как дела? Может, ты заболела или потеряла работу? Я записался в посольство, но там сказали, что справок по этим вопросам не дают и лучше мне прийти с кем-то из взрослых. Один знакомый обещал что-нибудь разузнать по своим каналам. Мама, возвращайся скорей или хотя бы пришли письмо. Мне иногда кажется, что мы с тобой (зачёркнуто), что ты (зачёркнуто), что я больше никогда (зачёркнуто)».

— Ох, Лёха, Лёха, мне без тебя так плёхо, — дурным бабьим голосом звздывает Эдька. — Слыши, Лёха, одолжи червончик до поминок.

— Его поминок, что ли? — киснет от смеха Малой.

— Ну не наших же, — хмыкает Витька Фомин, конченный нарик.

Возбухать у Лёнчика нет ни сил, ни настроения. Он протягивает десятку:

— Привет, ребята. Извините, что мало. Сейчас больше не могу. В другой раз.

— Нет-нет, нет-нет, мы хотим сегодня, — продолжает свои вокальные упражнения Эдька, — нет-нет, нет-нет, мы хотим сейчас.

— Не прибедняйся, — подхватывает Малой. — Мамаша небось баксы мешками шлёт. Буратина богатенький.

— За дебилов нас держишь, да? — оскаливается Фома. — В другой раз принесёшь с процентами. Счётчик включён.

— Ладно, принесу, — соглашается Лёнчик. — Завтра мне долг вернут, и я тебе подкину сотню-другую.

— Вот это разговор, — расплывается Малой. — С паршивой овцы...

— Он с детства каждому знаком! — радостно орёт Эдька. — Он сказкой входит в наш дурдом! Бу! Ра! Ти! На!

Но от Фомы так легко не отделаться. Он уже на взводе и врезает Лёнчику в нос:

— Это чтоб не забыл.

— Зарубка на память, — тут же подскаивает Малой.

— Бу! Ра! Ти! На! — проводит серию ударов Эдька. — На! На! На тебе!

Под весёленький мотивчик гоп-компания дружными тычками гонит Лёнчика вниз. Он не понимает, что пошло не так, тормозит, цепляется за перила, роняя кровавые кляксы..

Соседи попрятались от греха подальше. Опрокидывается трёхколёсный велосипед, испуганно взвизгнув звонком. Грохается об пол глиняный горшок с полуиздохшим фикусом. Из почтовых ящиков выпархивают газеты и рекламные листовки. За дверью Сафоновых заливаются лаем все три шоколадные таксы.

На выходе из подъезда Малой наносит решающий пинок каблуком по голени. Лёнчик опрокидывается и затихает.

Фома проворно шарит по его карманам и разочарованно сплёвывает:

- Полный пролёт. Пусто-голо.
- Выходит, не врал, — присвистывает Малой. — Всего и навару, что червонец.
- Вроде не дышит, — с интересом замечает Эдька, пнув тело ногой. — Ты даром что квёлый, а до смерти его зашиб.
- Чуть что, так сразу я, — обиженно вскидывается Малой. — Все веселились, а мне одному икать?
- Где бабла раздобудем? — мается Фома. — Чтоб уж наверняка.
- Это был несчастный случай, в морге так и скажут, зуб даю.
- Нон-стоп, может, взять, а? На остановке. Кто там сегодня в ночь? Сучий потрох или Варька-шалава?
- Да что в том нон-стопе, одни медяки.
- Ломает, Фома? Аж колотишься весь. В аптеку надо.
- Ага, и дадут без рецепта! Разбежались...
- В том дворе, на крайняк, Хрумыч травкой делится...

Лёнчик лежит, оглушённый, среди окурков и подсолнечной шелухи. Его выворачивает от вони — блевотина, шприцы, кошачья моча. В глотке комом застывает кровь, но откашляться не получается. Он видит над собой три перевёрнутые фигуры, слышит их странно искажённые голоса. Скользит взглядом выше, туда, где солнце пробивается сквозь разлапистые виноградные листья, а по блёклому от зноя небу проплывает облачный завиток. И думает: сейчас я умру.

Со второго этажа выглядывает красавица Стелла, смотрит вниз, накрашенные губы округляются в малиновое колечко — о, о-о-о, О-О-О, — которое она прикрывает пухлой ручкой с малиновым же маникюром, после чего торопливо скрывается в окне.

- Хватит тряндеть, — обрывает корешков Фома, выбивая зубами дробь,
- надо рвать когти. Там баба в ментовку называет.

Но не успевает и шагу ступить — сзади на него напрыгивает разъярённое чудовище. Оно виснет у Фомы на спине, визжит нечеловеческим голосом, пропахивает клешнями кожу, оставляя саднившие полосы.

Малой и Эдька, на некоторое время замерев, бросаются врассыпную.

Фома, серый от ужаса, остаётся с вражиной один на один. Клонится, изворачивается, мотается из стороны в сторону. Крупные капли пота веером летят с прыщеватого лба. Но голодный зомби продолжает вгрызаться ему в холку.

Отчаянным рывком бедняга сбрасывает с себя смертоносный груз, некоторое время стоит, покачиваясь и тоже ретириуется — на полусогнутых, с кровавыми бороздами на щеках и шее.

— Лиза? — слабым голосом говорит Лёнчик. — Не знал, что ты... владеешь приёмами...

Хромушка всё ещё тяжело дышит. Голова всклокочена, футболка порвана, кулаки сжаты. Вдруг он замечает, какие у неё глаза, — горящие, зелёные, как первый крыжовник.

— Ты как, ничё? — склоняется над Лёнчиком Беззубый. По морщинистой морде текут слёзы, кривой шрам поперёк черепа побагровел на припёке.

— Скоро оклемаюсь, — Лёнчик пытается приподняться, стонет и снова падает. — Уходите, уходите, соседи милицию вызвали, зачем светиться.

Беззубый его не слушает. Подхватывает на руки, несёт по долгой-долгой окраинной улице. Она постепенно вливается в пригород. Лёнчик проплывает над стайками кур и гусей, под низкими ветками ореха и черешни, мимо заслуженных развалюх и новых построек с блестящими жестяными крышами. Уже виден вдали зелёный забор и дом о три окна, где они живут, пока хозяйка, заплатив за присмотр, совершает круиз, отдыхает на лайнере с лёгким сердцем.

— Лёнь-лёнь-лёнь-лёнь, — встревоженно частит Хромушка, с трудом поспевая за старым.

— Деньги, — вспоминает Лёнчик. — Деньги в кроссовке. И за бачком в туалете. Вам пригодятся...

Беззубый опускает его на траву, нежно придерживает лапищами. Улыбается через силу, обнажая голые дёсны:

— Ну те и фартит. Девка у нас шустрая. Я бы с ней в разведку...

Голова сильно кружится и накатывает усталость. Садится солнце, африканскими красками растекается во всё небо, строит и снова рушит прекрасные замки. Спадает дневная жара, начинают стрекотать сверчки. А в дальней перспективе, там, где дорога уходит под холмы и после каждой машины долго висит в воздухе мягкая пыль, ткётся в вечернем мареве сказочный силуэт — мама. Идёт налегке, в красивом платье, машет рукой: привет!

Пыль оседает, скрипит на зубах, набивается в поры, в глаза, всё покрывает мучнистым слоем, и следа не найдёшь тех давних лет. Автобус увозит сколоченный наскоро гроб, вынесли хлам из квартиры, и втоптана в грязь разорванная наискосок фотография: улыбчивый мальчик, домашний ребёнок с ясным взглядом, вся жизнь впереди.

Лариса Петрашевич. В моем недетском доме. (Дневник Кати.)



Лариса Петрашевич. Родилась в 1967 г. во Львове. В возрасте 8 лет вместе с семьёй переехала в Москву. В 1990 г. окончила филологический факультет Московского Государственного Университета по специальности "Славянские языки и литература". Работала переводчиком с македонского и сербскохорватского языков, сотрудничала с издательством "Иностранная литература". С 2010 живёт в г.Монреаль, Канада. Выпускница Литературной школы "Хороший текст" и Литературных мастерских Creative Writing School (курсы прозы и драматургии). Работает автором-фрилансером в русскоязычной газете «Место Встречи Монреаль», публикует художественные тексты, культурологические и литературоведческие статьи.

Женщина хочет ребенка.

В автокатастрофе погибает взрослый сын ее любимого мужа.

Мужу, охваченному горем, прежде любимая жена постепенно становится не нужна; и случайно жена узнает, что у мужа есть другая женщина и, о ужас, дочка.

Где ее беременность? Где ее роды? Где ее ребенок?

Да, где ее счастье? Нет его.

Обо всем этом она, глотая слезы, пишет в своем дневнике.

Дневник — вечный жанр, особенно востребован он девушками и женщинами: кто не записывал свои девические грэзы, кто не плакал, фиксируя в дневнике свои женские ужасы?

Печальные раздумья охватывают над этой непрятзательной и тоже вечной, как мир, историей двоих.

Что есть счастье и что есть несчастье, по сути, не знает никто. Даже Бог.

Однако мы все повторяем из века в век: «Чего хочет женщина, того хочет Бог...»

Елена Крюкова

26 декабря 1999 г.

Кого ни спроси про надвигающийся миллениум — сразу начинают рассуждать о цикличности, неизбежности и прочей ерунде. А я прямо в лоб: а вы, вы-то чего ожидаете от нового тысячелетия? И в ответ зазубренное ежегодное: чтобы все здоровы, чтобы не было войны, чтобы мир во всем мире, ну и прочее. Какие-то сплошные обобщения, и никто ни слова о том, чего он хочет для себя в новом тысячелетии. Чтобы только для себя.

Вчера была у Илоны. Ей в Москве грустно, так она пригласила меня к себе на католическое Рождество. Сделала гуся с яблоками и апельсинами, имбирного печенья напекла — умопомрачительно вкусно. Я, конечно, хоть и не литовка и не католичка, но обожаю нарядный стол, чтобы щами не пахло.

Илона мне янтарный кулон подарила, сказала, как буду первый раз надевать, надо желание загадать, и оно сбудется.

Я и говорю: Хочу, чтобы окружающие меня видели такой, какой я сама себя вижу. Чтобы никаких смешков в спину.

Илонка удивилась: какое нетерпимое желание (так и сказала: «нетерпимое»).

А я как вспомню мать, цепляющуюся за отцово пальто, ползущую за ним на брюхе в халате и фартуке на глазах у всего двора... дичайший позор. Я бы лучше умерла.

Правильно, что он к ней больше никогда не вернулся.

30 декабря 1999 г.

Сегодня ездила в ГУМ. Думала, куплю себе что-нибудь к Новому Году, да какое там! Моих денег только на мороженое и хватило. Купила его, чтобы настроение чуть-чуть поднять: типа не нищенка.

Только откусила — как толкнула меня со всей дури бабища какая-то необъятная. Даже не извинилась, хамка, а мороженое у меня из руки вылетело и шлёпнулось на пол. Я было хотела догнать её и морду набить, и сразу подумала, что надо уборщицу позвать — чистота там невероятная, а теперь из-за этой слонихи...

И тут подошёл мужчина. Говорит: Давайте я вам другое мороженое куплю, не надо расстраиваться.

Я ему: А с какой такой стати? Я и сама себе куплю.

Он: Я не здесь хочу вас угостить, а там, где не бегают бешеные покупатели.

И засмеялся.

И я пошла с ним в кафе, потом подумала, что он просто пожалел меня — 24 года девице, а она всё мороженое покупает. Но нет! Сказал, что я поразительно похожа на Кейт Мосс, она ему кажется наиболее интересной из всех моделей. И это особый знак (для него), что меня Катей зовут. Мне, конечно, не нравится, что он во мне увидел кого-то, но я готова потерпеть. А зовут его Андрей, как папу. И он обещал мне позвонить.

30 апреля 2001 г.

Сегодня ровно шестнадцать месяцев как я познакомилась с Андреем. Какое счастье, что я тогда в ГУМе мороженое ела. Ну разве встретила бы я Андрея на улице, или на оптовке (ржу) или в институте своём, где все у всех сигареты стреляют и деньги занимают?

Вот Илона говорит, что внешность у него обыкновенная. Ну, может, у них там в Литве какие-то другие критерии, а по мне так он очень интересный. От природы чуть смуглый, волосы «соль-перец» (чуть жидкозваты), глаза льдистые, искрящиеся, северные. Южное лицо с холодными глазами, это же уникально! Кожа, правда, неровная: в юности, видать, прыщавый был. Да, фигура чуть оплывшая, животик нависает, но не сильно. Ну а что в этом странного? Ему в мае, извините, 47 будет, а выглядит он для своего возраста совсем неплохо.

Да и во внешности ли дело? Главное, что он уже 5 лет как разведён и (слава богу) не умудрился повторно жениться до встречи со своей «Кейт

Мосс". Хотя мне это сравнение по-прежнему неприятно: во-первых, я худая от природы, а она анорексичка, во-вторых, она наркоманка (где-то я об этом читала), а я даже не курю, ну а в-третьих, я есть я!

Мне кажется, он скоро сделает мне предложение. И даже не потому, что не скучится на подарки (наконец-то я одеваюсь в приличных магазинах), а потому что познакомил меня со своим сыном, Иваном. Небедные мужчины своих подруг просто так с детьми не знакомят.

Он ужасно противный, этот Ваня. Ему только 18 исполнилось, а у него есть всё: и квартира на Ленинском, и машина Вольво, и деньги всегда. Балует его Андрей, конечно, но я молчу. Я, кажется, Ване тоже не понравилась. Он зачем-то обронил, что мама у него была "породистая". То есть, получается, я — деревня? Ха-ха, английская деревня, где рождаются супермодели! Дурак он, короче. Или просто не хочет, чтобы Андрей на мне женился, и у него появились "конкуренты"? Братик или сестричка, допустим (рисую рожицу).

26 июня 2003 г.

Сегодня исполнилось два года как мы поженились. ТВ-передача "Зазеркалье" (из моего детства). Я как вспоминаю какой он меня встретил — так сжимаюсь: в китайском пуховике, убогих джинсах и российских (!) сапогах из кожзама. Жуть. И с мороженым — жуть в квадрате.

Теперь я выгляжу иначе. Илона говорит, у меня появился свой стиль, а она уж в этом как никто другой разбирается: вкус у неё прибалтийский, а неsovковый. Она, к слову, окончила институт, а я — нет. Ну, а какой мне смысл было получать этот диплом, если я никогда не стала бы работать по специальности? Только вообразить: Андрей — финансовый консультант одной из крупнейших энергетических компаний и его супруга Екатерина, технолог бродильных производств. Здрасьте. Хотя с таким дипломом можно поехать за границу и доучиться. Например, виноделию, а затем поставлять в Россию элитные вина. Вот Илонка во Францию намылилась, выбила себе невероятными усилиями грант, но не здесь, а в Литве. Ужасно целеустремлённая, да, но мне-то работать не надо. Я могу на какие-нибудь интересные курсы пойти — дизайн интерьера, допустим. Или выучить испанский язык — красивый, нет, лучше итальянский — он вообще роскошный, и к тому же лёгкий (говорят).

Но это всё потом, потом. Сейчас я больше всего хотела бы родить Андрею ребёнка. Он бы тогда наверняка переключился с сыночка своего, Ивана, на маленького. Как же он его балует, прямо преступно! Отправил учиться в Англию — тот вернулся через два месяца: скучно, и по-английски он плохо понимает. Проглотили, ладно. Потом его папик в Финансовый институт "поступил" на какой-то модный факультет. С тем, чтобы потом его сразу в банк пристроить на хорошую должность — у Андрея связи в мире финансов ого-го.

А он и его бросил! Сейчас, типа, готовится в МГИМО поступать на журналистику, тянет из папаши деньги на преподов. А сам, я уверена, ни черта не делает и только с дружками и поблядушками своими по клубам тусуется.

А на двадцатилетие он ему Ауди с форсированным двигателем подарил, совсем сбрендил!

Я говорю: Андрей, ты рехнулся, он же сопляк!

А он мне: Это мой сын и я выбираю ему подарки. Не обсуждается (вот первый раз он со мной так резко разговаривал, я была в шоке).

Вывод такой: чтобы всё встало на свои места — нужно забеременеть. Иг-

рушки маленькому будет полезнее дарить, чем большому.

У Андрея какое-то сложное чувство вины, что сына бросил в подростковом возрасте, когда тот в отце нуждался. А рядом была только мать, которая вскоре спилась и в окно сиганула (вот тебе и "породистая").

18 апреля 2004 г.

Я только-только начинаю приходить в себя после того ужаса, случившегося три дня назад. Начну с главного:

Каждый месяц хожу на консультацию к какому-нибудь очередному гинекологу, который ещё большее "светило", чем предыдущий. Всякий раз обещания, что вот-вот я забеременею, потому что противопоказаний нет — у меня всё в порядке, у Андрея тоже. Идут месяцы, уже три года как мы вместе (а предохранялась я только до свадьбы) — и ничего. Последний врач сказал, никаких таблеток не надо, только температуру мерить, следить за овуляцией и заниматься сексом по определённой схеме.

15 апреля моя схема "велела" иметь половой контакт с мужем во что бы то ни стало.

В результате чего я затащила Андрея в спальню в 6 часов вечера, а он только и пошутил: дескать, всегда не против "утреннего" секса.

И вот уже когда дело близилось к концу, его телефон завибрировал. Зажужжал противно, и громко (вот вам и бесшумный режим). Он — сразу к трубке. Я даже обидеться не успела: через какое-то мгновение после "алё" Андрей вдруг вскочил с кровати и стал носиться по комнате и рычать, с каким-то хрустом и свистом.

Затем отбросил трубку и давай биться головой о стену, прямо по настоящему. И уже не рычит, а только ухает от ударов. Дикое зрелище.

Я его за голову схватила посильнее, чтоб череп не расколол — а у него щёки мокрые и подбородок мелко дрожит: "Ваня, Ваня..."

Это уже чуть погодя мне стало понятно, что разбился Иван на Ауди на своей. Шёл с огромным превышением скорости, в подпитии — девкам всё мастерство своё демонстрировал — вот и итог. Выскочил на встречную, а там бронированный Мерседес.

Говорила я Андрюше, не надо было Ваньке такую машину!

30 августа 2005 г.

Больше года прошло со дня похорон Вани, а мы как будто с кладбища и не уходим.

Да, поначалу было тяжко. Смерть сына подкосила Андрея, да так, что он не только перестал в офис ездить, а просто бревном слёг. Мои попытки вторгнуться в его пространство (хоть в прямом, хоть в переносном смысле) не принимал ни в какую.

Спасибо Илонке: она психотерапевта нашла хорошего, Веру Адольфовну. Та на дом к нам приезжала вначале каждый день, потом пореже. Вытаскивала Андрюшу в первое время разговорами часа по полтора за закрытой дверью, затем комбинацией транквилизаторов и антидепрессантов. Позже постепенно снимала его с препаратов и всё время говорила, говорила с ним. И ведь вытащила: уже месяца три как он ходит на работу, начал нормально спать, даже чувство юмора восстановилось.

Но кое-что, тем не менее, не восстанавливается.

Ещё весной, когда началось озеленение-цветение и прочие радости, я стала его заманивать в супружескую спальню. Вначале деликатно — тишина. Затем расхрабрилась и уже напрямую: белья себе всякого накупила красивого, приставать стала — нет реакции. В июле настояла на отдыхе в Испании в отеле, где шампанское можно уже на завтрак пить. Моя ошибка, потому что помимо спальни в номере была гостиная с диваном. Там он и обосновался. Я отважилась спросить, почему он меня не хочет.

А он мне прямым текстом, словно готов был к тому: Ты должна понять, любимая, что мне трудно оправиться от травмы, полученной во время нашего с тобой соития (вот прямо это дикое слово). Я не могу не то что заниматься этим, я думать даже не могу — сразу в голове начинает вибрировать телефон — и опять мысли о том, что это я его к смерти подтолкнул. Так что, Катя, ты либо поверь мне и прости, либо уходи и начинай другую жизнь. Бедствовать не будешь, обещаю (это я подсократила текст, понятно).

Конечно, я поверила, приняла и простила — так это наверно выглядит сегодня.

А на деле я — и в этом надо признаться хотя бы себе — возненавидела мёртвого Ваньку ещё больше, чем живого. Тогда меня бесило, что он для Андрея — единственный (как будто последний) любимый сын. Я думала, всё утрясётся, как забеременею. А теперь, из-за потери **того** сына он не желает иметь **этого**, моего.

И вот что это? Он меня любит, но не хочет, разве это нормально? Как порча.

18 февраля 2007 г.

Очень странный у нас брак: мне чуть за тридцать, ему — за пятьдесят, а живём как старики. Такие близкие, но стремительно состарившиеся люди. Андрей уже не называет меня «Кейт Мосс», и меня это задевает (в сущности, мне приятно было быть ею). Сегодня встала на весы: я поправилась на 17 кг с того момента как мы с Андреем познакомились (уплотнилась девочка-тростинка, ого-го). Андрей на днях сказал, что я «толковая и рассудительная». Раньше я о таком и мечтать не могла, раньше был просто секс. Теперь — всё, кроме секса, о котором я мечтаю.

Но мой муж — импотент, и у каждого из нас своя спальня.

А мне очень не хватает ребёнка. Сегодня я заикнулась Андрею, мол, не взять ли из детдома, на что он: Кота в мешке? Зачем такой риск?

И рассказал ужасную историю о том, как родители усыновили мальчика, любили его как родного, а он вырос и убил и их, и бабушку с дедушкой. Потом сказал, что ему их квартиры были нужны — и ни капли раскаяния, лыбился в камеру. Нет, не стоит рисковать, конечно.

А вчера Илона прилетела из Франции со своими двумя детьми-погодками, Гийомом и Полиной. Хоть и холод собачий, но мы всё равно пошли гулять в Сокольники — зимой там хорошо, спокойно (летом сплошные «народные гуляния», фу).

Смешные они, детки, лопочут что-то, то по-французски, то по-литовски. Илонка им по-литовски отвечает — я ни слова не понимаю, зато вижу, что это — семья. И я чувствую, что терпеть их не могу, этих детей. Просто за то, что они есть. Просто за то, что они были зачленены в результате удачного «соития» (спасибо тебе, муж Андрюша, за это слово).

А вечером, когда я только-только засыпал начала, мне вдруг привиделось, что стою я в парке с Илонкиными детьми, они послушно так, доверчи-

во меня за руку держат. К нам машина подъезжает, а за рулём — Ваня. Я их сажаю на задние сиденья, пристёгиваю ремнями и машу рукой. Машу долго, пока машина не исчезает. А сама знаю, что они сейчас все разобьются, но мне хорошо, потому что сразу после этого у меня рождаются дети.

То есть они для меня вроде как препятствие, которое надо устраниить.

Кошмарнее снов у меня не было.

15 июня 2008 г.

Наконец-то меня стало отпускать это чудовищное состояние, когда тоска и слезливость чередуются с гневом и желанием убить кого-нибудь. А кого? Не себя же. И не Андрюшу.

Опять вызывалась помочь Илонка. Заезжала, рассказала, что они с Жаком (мужем) организовывают в Москве Школу сомелье — это сейчас в тренде. Обучение там стоит больших денег, но Андрей заплатит, я уверена. Он давно говорит, что мне надо из дома выходить для "социализации".

Ну да, в Москве сейчас столько круtyх ресторанов открывается, что с этой школой перспектива очень даже реальна. Не зря я училась на факультете "брожения": раньше мне в этом стыдно было признаться, а теперь это козырь — меня сразу в продвинутую группу возьмут. Вот поучусь, а потом на стажировку в Бургундию (скорее всего) поеду — класс!

И Андрей со мной поедет. Ничего не случится с этим его новым банком, где он пропадает по 20 часов в сутки.

8 сентября 2008 г.

Я постараюсь просто написать о том, что произошло. Просто зафиксировать.

Вера Адольфовна, когда работала с Андреем, советовала описывать страшное — ослабляет "зажимы".

Вчера у нас было собрание в Школе касательно поездки во Францию, а занятий не было. Поэтому вместо положенных 3-х часов я провела там только час. Андрея я не предупредила (он всё равно в банке, думала я).

Мы с Илонкой договорились выпить кофе и поболтать о том, чем будем заниматься в Франции, помимо прогулок по винодельням.

Приехали в ГУМ, мой любимый магазин (до вчерашнего дня).

Мы сидели на втором этаже в Кофе Хаус на удобном диванчике, откуда просматривается и первый этаж. Я заказала капучино, сделал первый глоток... дальше я только помню, как у меня дёрнулась рука и пена залепила мне ноздри и тут же стекла к губам вместе с соплями.

Там, на первом этаже я увидела Андрея с какой-то женщиной. А на руках у него была девочка, года полтора, может. Я поняла, что это девочка, потому что она была в ярко-розовом пальто. И со мной как припадок: я стала задыхаться и схватила Илонку за руку. Она вначале не поняла (я мычу), а потом, увидев их внизу, выдернула свою руку и тут же схватила обе мои. Крепко-крепко, как наручниками.

Успокойся, говорит, только успокойся. Сейчас нам надо срочно отсюда уйти, так будет лучше, поверь.

Ушли, сели в её машину. Я в ступоре: понимаю, что случилось что-то чудовищное, только вот что?

Приехали к ней, а она и говорит: Давно надо было тебе сказать, но я всё не хотела не в своё дело лезть. А теперь уж придётся.

Оказывается, все об этом знали, кроме меня, недогадливой кретинки!

Он начал встречаться с этой женщиной примерно через год после смерти Вани. Илона сказала, просто чтобы иметь секс, который он не мог себе позволить (!) со мной. Она забеременела и родила ему дочку.

Больше ничего она не знает. Сказала, что мне лучше самой у него спросить

А я-то! Андрюша — импотент. Андрюша — день и ночь на посту в банке. Андрюша — безутешный отец, навеки виноватый перед Ваней.

Как-будто не со мной. Вся жизнь обваляна в дерме.

15 сентября 2008 г.

Я целую неделю думала о том, как без истерики рассказать Андрею о своём "прозрении". Варианты: принять транквилизаторы (они в аптечке валяются со времён лечения А., просроченные) или позвонить А.Ф., психологу, которая Андрея вытаскивала.

Вытащила, ага. Сука просто, я её за это ненавижу.

Я сама. Я смогу разобраться во всём сама. Главное — не спешить, а то поползу на пузе, как мамаша: Ах, Андрюша, только не бросай меня! (и в ноги папе, как убогая).

Среди уродов я жила, среди них же и продолжаю жить.

19 августа 2009 г.

Сегодня осознала, как долго я ничего не писала. Боялась разговаривать сама с собой. Но я знаю, что спасло меня тогда, той осенью, когда я погрузилась в этот дьявольский мир, где Андрей принадлежит не только мне, но и своим детям — живым и мёртвым.

Это он, мой "Турнесоль", мой любимый "Подсолнух" (если по-русски), где мое существование имеет смысл. Мой ресторанчик, моя отдушина.

Да, мы тогда сделку заключили: я свой бизнес открываю, а Андрей обещается с ребёнком. И мы не разводимся, потому что так удобно. Живём под одной крышей в разных спальнях (дивная привычка).

Такие наши увечные отношения у многих вызывают вопросы. Но никто мне их не задаёт. Не смеет, вернее.

Андрей говорит, у него никого на свете кроме меня и Машки (дочки) нет. Про мать ребёнка я никогда не спрашиваю — табу. Мой муж сказал, что никогда не обещал ей уйти от меня. И этому я верю, это в духе Андрея.

Илону я простила за молчание. Что и как могла бы она изменить? Принести мне сокрушительную новость на хвосте сороки-сплетницы? У меня таких подруг, к счастью, нет.

13 мая 2010 г.

Разговорилась со своим инструктором по йоге. Олег — нормальный мужик, но малость зациклен на йоге с аюрведой. Сидели в ресторане — веганском, тут же, в студии йоги — еда отвратительная, алкоголя нет. Я исправно давилась соей и пила тошнотный овощной сок, как будто и не ресторатор. Он мне разъяснял всё про доши, а я расспрашивала о карме.

Именно это сподвигло меня заняться йогой — моя испорченная карма. Моя вынужденная бездействие, моя жизнь с человеком, от которого я не решаюсь уйти, потому что, как это ни прискорбно, только с ним я себя чувствую Кейт Мосс, а не той несуразной девочкой с мороженым.

Пускай он мне и дальше рассказывает про карму, а я уж разберусь, какой метлой мне свою вычистить.

10 июля 2010 г.

Сегодня решилась и предложила Олегу встретиться у меня (он уловил сигнал: потрахаться). Я не боюсь его впустить в свой дом, потому что там есть всё, кроме супружеской спальни, чистоту которой запрещается нарушать случайным людям. Двери на распашку, бьянвеню!

Андрей уехал на неделю в Париж. Сказал, на переговоры с европейскими финансистами.

Не исключаю, что просто повез Машку в Диснейленд.

Про Олега: я поняла, что хотела бы забеременеть от него. Он отличный "материал" во всех смыслах — здоров, умён и наверняка плодовит.

Андрюша, как выяснилось, плодовит избирательно, но это за кадром.

Вот мой план коррекции кармы: я трахаюсь с Олегом, пока не забеременею (он женат, но мне плевать). Как только это произойдёт — моя губительная привязанность к Андрею должна оборваться. Это будет и моя радость, и моя месть, и моя жизнь, и моя свобода. Такое у меня предчувствие.

15 июля 2010 г.

Я сижу уже наверно час и тереблю янтарный кулон, который мне Илона подарила на Новый 2000 Год. Я не поленилась, пролистала дневник и прочла, какую чушь я тогда загадала — быть на высоте в глазах окружающих, чтобы ни одного смешка в спину (примерно так). И это вместо того, что пожелать себе любви, семьи и детей, непробиваемая дура!

Олег позвонил. Я подумала, что он в пробке или заблудился — бывает.

Но нет. Он сказал, что вынужден отменить нашу встречу, потому что у него попал в больницу ребёнок и ему срочно нужно туда ехать. Коротко извинился — спешил, понятно. Отсоединение.

Конец истории, которая даже не началась. Зато повторилась прежняя: снова чужой ребёнок, который не даёт жизни моему.

Их ужасно много, этих маленьких монстров, которые бегают вокруг меня, как ртутные шарики — маленькие, скользкие, юркие, но я не могу ухватить ни одного. А они глумятся надо мной: мы чужие, мы хитрые, мы есть, а твоих — нет и не будет, ты пропала!

И корчат мне отвратительные, злые морды, эти маленькие оборотни в роскошных машинах и розовых пальто.

И хохочут за моей спиной, всё время хохочут.

Редактор:
Е. Жмурко (Германия)

Редакционная коллегия:
Владимир Порудоминский (Германия), Инна Иохвидович (Германия),
Светлана Лось (Канада)

Рецензенты: Ирина Жураковская (Украина), Елена Крюкова (Россия), Олеся Янгол
(Латвия), Татьяна Шеглова, Наталья Борисова (Германия).

Художник: Ольга Федорчук (Украина)

Copyright © 2013–2017 Зарубежные Задворки

*ZA-ZA Verlag: www.za-za.net
Düsseldorf, сентябрь 2017 — 255 с.
Гарнитура «Verdana»; кегль «11»*

*Печать: LULU, USA
Распространение в России и СНГ —
издательство «КАРАМЗИН»*